

# ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

МАРК АЗОВ

В. АКС

АЛЕКСАНДР БАРАШ

АЛЕКСАНДР ВАРАКИН

АМИРАМ ГРИГОРОВ

ЛОРИНА ДЫМОВА

ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ

АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВ

БОРИС КАМЯНОВ

ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ

ЮЛИЙ КИМ

ВЕНИАМИН КЛЕЦЕЛЬ

ДАНИЭЛЬ КЛУГЕР

МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ

БОРИС КРУТИЕР

ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН

ИРИНА РУВИНСКАЯ

ГРИГОРИЙ ТРЕСТМАН

МАРК ХАРИТОНОВ

СОФИЯ ШЕГЕЛЬ

РАФАЭЛЬ ШУСТЕРОВИЧ

МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ

И ДРУГИЕ

№37



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2011' 37

2011

37

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

Творческое объединение  
«Иерусалимская Антология»  
сердечно благодарит  
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА  
и Юрия Исааковича КАННЕРА  
за поддержку «Иерусалимского Журнала».

От всей души поздравляем авторов «ИЖ»

**Наталью Горбаневскую,**

**Леонида Левинзона**

**и Александра Любинского**

с присуждением им званий лауреатов  
международного литературного конкурса «Русская Премия»

Редколлегия «Иерусалимского Журнала»

9283

# ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

37 2011

# Иерусалимский журнал, № 37, 2011

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: [magazines.russ.ru/ier/](http://magazines.russ.ru/ier/) а также [antho.net/jr/index.html](http://antho.net/jr/index.html)

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: Игорь Бяльский (главный редактор),

Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина,

Роман Тименчик, Алекс Гарн, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь: Евгений Минин

Художник: Сусанна Черноброва; Веб-дизайн: Карина Пастернак

Корректура: Бина Смехова, Люба Лейбзон, Галина Культиасова

Организационное и техническое обеспечение номера: Ольга Аксютина,

Борис Бронштейн, Даниил Буриштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин,

Вит Гуткин, Светлана Мойбер, Илан Рисс

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Российский Еврейский Конгресс



Фонд  
«Русский мир»



Совет по литературе и искусству  
при Управлении национальной лотереи  
«Мифаль а-паис»



Министерство культуры и спорта



9283

Иерусалимский муниципалитет



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2011. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322

E-mail: [jerusalemreview@gmail.com](mailto:jerusalemreview@gmail.com) Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,  
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства  
по рецензированию и возвращению рукописей*

# ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

---

*Ирина Рувинская*

## СОСТРАДАНИЯ НЕ МЕСТНАЯ СКРИПКА

\* \* \*

Памяти О. Д. А.

вдруг он спрашивает как звали мою первую учительницу  
в ту же секунду отвечаю Ольга  
а он «нет»

эй постой-ка

я что же не помню свою первую учительницу

кареглазая было ей немного за сорок  
короткая стрижка

на лбу слева маленький шрам  
отглаженные сарафаны

блузки светлые без оборок

всё-всё в ней нравилось нам

а девятого надевала два ордена и медали

за что они все мы гадали

говорила тихо

добрая была

и всегда защищала самую странную девочку в 1-ом «а»

папа ты ведь Ольгу Дмитриевну помнишь

конечно а что такое

её Алик учился у нашей мамы в шестнадцатой школе

он на мотоцикле разбился потом

а муж её татарин играл на баяне

и ошивался среди всякой пьяни

а когда мы уже собирались

она пришла в разорённый наш дом

и всё говорила что-то говорила

остановить не мог никто

и мама незаметно сто рублей положила

в карман её рваного пальто

по отцу была она вроде бы полька

это же надо вспомнилось сколько

твержу повторяю шёпотом Ольга

но он равнодушен и туп

а может на транслите вот так «Olga»

и он тут же соглашается

и регистрирует меня на YouTube



и всё предсказуемо как в хроматической гамме  
и я еду к другу

или глаза у меня карие с голубыми белками  
волосы длинные рыжие  
на крепкой шее «куриный бог»  
молодое худое тело  
с загорелыми ногами и руками  
уши маленькие с розовыми мочками без серёг  
и я еду к мужу

да нет  
вообще-то я пожилая тётка  
глаза у меня цвета пыли  
и без очков уже видят нечётко  
волосы редкие цвет свой давно забыли  
рыхлое белое тело  
со старыми руками и ногами  
голова замороченная долгами  
а еду я в больницу к старичку-соседу  
у него  
никого больше нету

## РУКОВОДСТВО ПО БЕЗБИЛЕТНОМУ ПРОЕЗДУ В ИЗРАИЛЕ

это как говорят наши дети *калей калюта*<sup>1</sup>  
вот вы вошли в автобус а кошелька почему-то  
нет  
оставлен потерян украден или в нём пять агорот  
а ехать вам надо ну скажем до Яффских ворот  
круто?

тут главное не тушеваться и пробиваться назад то есть вперёд  
(желательно чтобы за вами шли один или два человека)  
шофёру бестрепетно бросьте *рак рэга*<sup>2</sup>  
и невидимкой езжайте до самых до Яффских ворот

фишка в том чтобы сесть или стать к кабине спиной  
неслабо?  
в дар примите от ездящей так пятнадцатый год  
но лишь когда кошелек оставлен потерян украден  
или в нём пять агорот  
как говорят наши дети *сабаба*<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Проще простого! (*иврит, детск.*).

<sup>2</sup> Минутку! (*иврит*).

<sup>3</sup> Замечательно! (*арабск., иврит*).

\* \* \*

Т. Ф.

господи  
                    что ж такое  
а может она права  
отстать  
                    оставить его в покое  
пускай растёт как трава-мурава  
бедный мой муравей  
с чёлкою до бровей  
может она права  
а может  
                    я правей

\* \* \*

шарфов мешок и кофт полдюжины  
а дом не дом хоть волком вой  
и ты не ряженный не суженый  
а муж чужой  
и ночь не ночь  
                                    одна бессонница  
не видно дна  
и что теперь уж церемониться  
страна не страна

\* \* \*

сто раз уже слышанные эти майсы  
с бородой анекдоты  
в сто первый слушай как в первый и притворяйся  
что это круто  
                                    и смейся как будто  
смешнее не слышала ничего ты  
  
вот и поверил и рад  
                                    и ты рада  
что поверил  
                                    что в этих глазах улыбка  
мелькнула (а ведь жила в них когда-то)  
вдруг посмотрел озорно как сын  
  и чуть виновато  
маленьким счастьем зажглась минута  
состраданья запела неместная скрипка

*Феликс Кандель*

## *МОЖЕТ, ОНО И ТАК...\**

*Хотел написать как можно лучше, но не сумел, не справился с этим. Потому что состарился и устал и перестал быть ребенком. Но ты сможешь узнать мир лучше меня и сделать так, как надо.*

Януш Корчак

### **БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК НА МАЛЫЕ ДЕЛА**

1

Телефон вскрикивает посреди ночи.

Ребенком, пробудившимся от сна.

Заливистый звонок во мраке – трескучим мотоциклом под окнами, криком о помощи в тумане, пугающим знаком бедствия.

– Что вы молчите?

Спросонья:

– Я не молчу. Я просыпаюсь...

Женский голос. Приглушенный, издалека:

– Вы меня растревожили.

– Кто говорит?

– Ваш читатель.

Он уже раздражается:

– Что вы хотите?

– Поговорить.

– Почему со мной?

– Больше не с кем.

– Ночью?

– Ночью. Дочитала вашу книгу и не могу уснуть.

– Замечательно. Но причем тут я?

– Вы написали. Вам отвечать.

Вздыхает: теперь не задремать. Говорит без симпатии в голосе:

– Я много чего написал. Всего не упомнить.

Отвечает. Чуть даже мстительно:

– А я напомню. Я вам напомню.

Слышно, как листает страницы:

– Сказано. В самом начале: «А одинокие льют слезы в подушку...»

– И что?

– Это из личного опыта?

Молчит.

– Я так и думала...

---

\* Главы из романа.

## 2

Весна приходит, когда ей вздумается.

Шальная и проказливая.

Еще с зимы перебирая наряды, охорашиваясь в зеркале снеговых вод, чтобы очаровать на выходе прихотливым многоцветьем под горестное «ах!» завистливых несовершенств. У каждой весны свои вздыхания и свои любимчики: кому жить, а кому оживать, кому в плод, кому в пустоцвет – и несказанное буйство апельсинового цветения после стылых ночей и зябких проливных дождей.

Километры садов.

Неисчислимость плодоносных деревьев.

Неизбывность желаний – вывести на свет, как на выданье, гроздья соцветий, бело-розовую их кипень, упрятавшую в глубине желтизну тычинок.

Неуемность воскурений, густотой обволакивающих просторы, – птицы наталкиваются на них в полете, одолевая с трудом и затаенным восторгом. Даже пассажиры на трапе самолета – в аэропорту, за многие дали – вдыхают дурманящие наваждения иных краев, словно приземлились в гуще апельсиновых садов. Даже новорожденные вдыхают их с первым глотком воздуха, отчего не плачут – изумляются.

Не кричит петух, до изнеможения околдованный благоуханиями. Не мычит корова в обильных изливаниях молока, впитывающего весеннее колдовство, чтобы донести его до больших и малых детей, опьянить-растревожить. Жители окрестных поселений не спят по ночам, уносимые на крыльях дымных чувственных благовоний, которые навевают беспричинную печаль или излечивают ее до утраты памяти.

А одинокие льют слезы в подушку.

## 3

В городе, на малом газоне, растет апельсиновое дерево. Пробуждаясь по всякой весне, вспениваясь без оглядки свадебной белизной, наливая соками неприметные поначалу плоды, затерявшиеся в листве, напивая их эфирными маслами, раскрашивая по осени в оранжевое великолепие. Апельсины с нижних ветвей обирают жильцы; верхние, недоступные вожделениям, висят долго, очень долго, опадая по одному, догнивая в сохлой траве. В редкие зимние холода выпадает снег, покрывает ветви, и апельсины – гномиками под пушистой шапочкой – восторженно сверкают среди недолговечной крупчатой белизны.

В прошлом году весна запоздала, проявившись в поздние сроки.

Природа истомилась в ожидании, и когда подступили наконец жаркие дни, растительный мир начал стремительно наверстывать упущенное.

Проснулся лавр в кадучке на балконе, вывел – детишками на прогулку – малые листочки светлой зелени. Фиалка на подоконнике застенчиво приоткрыла серые клубочки, выказав нечто крошечное, нежно фиолетовое. Амариллис, подремав всю зиму, выпустил

пару тугих стеблей, на концах которых упрятались до срока граммофончики густо-карминного окраса. Розы на газоне распустились кучно, стремительно, отпихивая соседей, поспешая вырваться наружу из вынужденного сокрытия, обвиснуть в красе онемения, тяжести которой не снести.

Пробудилось и апельсиновое дерево на газоне, зацвело, оглашенное, бесстыдно, бесшабашно, ненасытно и напоказ, истекая призывными ароматами, всю свою мощь, всю неутолимость желаний пытаюсь обратить в цветение. И добилось своего. Надорвалось от восторга. Не выдало ни единого апельсина, которые в иные времена обвисали на ветвях, как упрятало их в земле от завистливого глаза, подобно расчетливым картошкам-морковкам. Зашумело, бесплодное, на ветру, размахалось налегке листвой – лишь творение, отягощенное плодами, качается степенно, достойно, с пониманием. Финкель собрал соцветия того безумства, высушил, уложил в шкатулку, намереваясь сохранить неодолимый призыв для пробуждения ощущений, которые угасают с годами.

Одно цитрусовое – еще не пардес. Два – тоже. Знатоки уверяли, что во время того цветения подступил жгучий хамсин, опалил нежные завязи, лишив дерево будущего материнства, но Финкель не поверил знатокам, ибо и ему были знакомы несбыточные мечтания, неразумные восторги, нерасчетливые буйства молодости, которые не приносили плодов. Финкель огорчился безмерно, по живости своей натуры, и цитрусовое создание, сконфуженное необузданным порывом, утешило пожилого подростка. Дотянулось ветвями до верхних этажей, вырастило – ему на усладу – семь крупных апельсинов, которые перезимовали под ветрами-ливнями и продержались до нынешней весны к радости-беспокойству.

Прошел слух, будто рыщет по округе тусклый человек, с лица смытый, мстительный и высокомерный, лживый и двоедушный, кровопивец и человекоядец, подпугивает ненароком животный и растительный мир: «Вы меня огорчаете», но скрытых намерений пока не проявляет. Одежды на нем чистые, уши мытые, ногти ухоженные, а нутро грязное от недержания с невоздержанием, словно прополоскали его в сточных водах; от недоброго прищуря вянют соцветия, опадают с ветвей апельсины, ибо глаз человека чёрен, оранжевому нестерпимый. Дерево беззащитно, плоды его беззащитны, и после каждого пробуждения Финкель пересчитывает привычно: семь, всё еще семь, которых не уберечь.

По утрам спускается по лестнице реб Шулим, садится на скамейку под апельсинами, замирает надолго.

– Чего он ждет? – спрашивает девочка Ая.

Финкель отвечает:

– Перед нами человек, который не верит на слово. Никому. Даже Ньютону. А потому проверяет закон всемирного тяготения. Ньютон проверял на яблоках, реб Шулим – на апельсинах.

– Де-душ-ка, расскажи...

Начинается день первый, когда родители улетят на Мальту, а дедушка с внучкой, воспользовавшись их отсутствием, отправятся в путешествие по собственной квартире, рассуждая о том, кому что заблагорассудится...

Он засыпает за полночь в своей постели.

Всякий раз за полночь, как навсегда, на краю Средиземноморья, посреди беспокойного земного взгорья, в краю смоковниц, виноградных лоз, финикового меда, и на цыпочках, чтобы не спугнуть, подступают к изголовью тревожные сны, заманивая в призрачные обманы, – так затерянные лесные озера утягивают замечтавшегося странника в бездонность своих глубин.

Казалось, всё пересмотрел за долгую жизнь, но прошлое неотвязчиво, от прошлого невозможно отлипнуть, ибо транслируют ему картины на беленом экране потолка, полночные сериалы, смонтированные случайным образом, в неразгаданном замысле неведомого постановщика. Жизнь завершается, из мозаики осыпаются близкие ему лица, которых не счесть, из записных книжек – адреса-телефоны. Они сдружились – камушек к камушку – в те благодатные времена, когда день уходил на покой без прекословия, а ночь покорно подчинялась рассвету; они пришли и прошли, их деяния позабыты, память о них проявляется в сновидениях или в натужливом вздохе.

Вот и теперь привиделась мама, тихая, деликатная мамамиротворица в неснимаемой шерстяной кофте, словно ей знобко на свете; мамина рука с узким запястьем, невидное колечко на пальце с капелькой аметиста, ломоть серого хлеба на ладони, негусто посыпанный сахаром, лакомство скудного послевоенного детства. Даже сладость ощутил во сне – пробуждаться не захотелось, а она окликает негромко, по-прежнему, ласково поднимая по утрам: «Вставай, сыночка. Радость упустишь». – «Всё, – отвечает. – Встаю», – и просыпается в потрясении.

У Финкеля есть свои, привычные ему шумы, которые не мешают сном. Шепоток за окном, смешок, тихий призывный возглас – звуки-видения наполняют комнату, толпятся у его кровати, касаются руки, головы, плеча, приглядываются, перемигиваются, перешептываются взглядами. «Кто вы?» – спрашивает. «Кто ты?..» Будит его незнакомый перестук за стеной, глухая тишина – слышнее грохота, а на рассвете пробуждает беспокойство. Беспокойство накапливается за ночь, как подпирают излишки влаги, требуя скорейшего опростания, и Финкель открывает глаза.

Темнота нехотя сползает по черепицам, утекает водосточными трубами к земле, в землю, цепляется за ветви деревьев, где ночуют пернатые, и те начинают предутренние беседы, не наговорившись за прошлый день. Гульканьем голубя. Наглым карканьем вороны. Легкомысленным чириканьем воробья, хрипатым вскриком сойки-красавицы, который не заглушить подушкой на ухе, призывным теньканьем крохотного цофита-медососа, в горле которого запрятана свистулька, – гортани неподвластны такие высвисты.

– Цлиль... Цлиль...

– Длиль... Длиль...

– Циф-цуф, Пинкель... Циф-цуф...

Утренний урок птичьих наставников: неугомонный зарзир, стремительная снунит, хлопотливая нахлизли – при пересечении границ и климатических поясов они обретают иные наименования:

скворец, ласточка, трясогузка. И не отнекивайтесь, не надо: не выучишь их язык – не познаешь притчи пернатых, завлекательнее которых нет на свете, не разгадаешь предвечерние восторги в небесах, стремительные развороты с набором высоты, показательные групповые выступления воздушных акробатов.

Учите птичий язык – не прогадаете.

– Не Пинкель, – бурчит всяким утром. – Финкель. Фин-кель! Могли бы запомнить...

Бабушка Хая поведала внуку: если полыхает крыша синагоги, огонь подбирается к бесценным свиткам, птицы налетают стаями, машут крыльями, пока не отведут беду. «Деточка, – попросила бабушка, – не обижай пернатых», и он не обижает, хоть на рассвете очень этого хочется.

– Мац-хик, Пинкель, мац-хик... – это уже духифат, суетливый удод в полосатом окрасе, с тонким удлинненным клювом, хохолком над головой, изумленный видом своим, прозванием и незаслуженной славой.

Отвечает ему, отвечает всем, не желая откидывать одеяло:

– Ваши «цилум-цилум» – не на наше разумение... Говорил мой незабвенный друг: кто рано встает, тот много тратит.

А они за свое, призывая к подъему:

– Шум-клум, Пин-кель... Шум-клум...

– Кум, Пин-кель... Кум-кум...

Но встать не так просто, оторвать голову от подушки, ноги опустить на пол. Обнаружились части обжитого тела, не согласные с образом жизни своего владельца, стали тому противиться, а точнее, болеть. Они начинают с пробуждения, на все голоса – нытьем в пояснице, покалыванием в груди, молоточками в висках: «Хватит, дорогой. Нароботались. Иссякает число наших дней».

Финкель с этим не согласен. Возражает наперекор всему, одолевая утреннюю немочь:

– Прожить бы еще лет двести – двести пятьдесят, но станут ли так долго платить пенсию?..

К старости Финкель изменил фамилию, самую ее малость. Стал Гур-Финкель, Детеныш-Финкель на языке здешнего проживания, чтобы оправданно оставаться в младенческой ненасытности, – вот только силы где взять, силы?!.. На стене висят часы. Батарейка давно скисла, стрелки зависли в неподвижности, а может, завис он сам в ожидании последних чудес. Подкапливается заряд в батарейке, пробуждаются от спячки ионы с электронами, минутная стрелка немощно подергивается на месте – на большее не достаёт усилий. Слышит слабые ее щелчки, видит упорные попытки: «Не всё потеряно. Еще не всё...», но батарейку в часах не меняет. Годы катятся чередом, уловляя в нехоженые дали, и вот молитва старого человека на исходе ночи:

– Господи, не прошу у Тебя многого, я не такой нахал, как некоторые! Прошу самую малость, Повелитель Вселенной: не сгнуть от натуги в непригожем месте, в непотребном виде. Проложи путь без помех, Господи, дай ощутить облегчение всяким утром, после завтрака, часам к восьми-девяти, радующую безмерно пустоту кишечника. Ибо голова наполняется, когда желудок пустеет, становится годной для размышлений и изысканий. Согласись, Госпо-

ди, я не прошу невозможного. Самое необходимое в мои годы, самое важное и нужное...

Разговорился – не расслышал звонка на входе. Спасибо – птицы надоумили:

– Циль-цуйль, Пинкель... Циль-цуйль...

А в дверь уже забарабанили: кому-то невтерпеж. Идет открывать, приговаривая на ходу:

– Вот он шагает. Легко и размашисто. Широко и неспешно. Не шмыгает, не шаркает. Приближается неумолимо – надвигается неотвратно...

На лестничной площадке ожидает верзила головой под притолоку. Обеспокоенный и встревоженный. Кладет руки на плечи Финкелю, глядит сверху вниз, высматривая прогалы в его шевелюре:

– Врач сказал, что я ничем не страдаю, а оттого вылечить меня непросто...

## 5

Он объявился на свет, чтобы сразу же умереть, а его сосед по палате – чтобы жить, и жить замечательно.

Они проклюнулись в один час, под одной крышей, и лежали в кроватках, отмытые от родовой нечистоты. Первый глядел на мир иссиня-ясным взором, с доверием, симпатией, как попал в обжитой дом, где тепло, покойно, необидчиво. У второго были глухие, лаком покрытые глаза; всматривался он, казалось, внутрь себя, точнее, внутрь утробы, из которой вышел.

Каждому было минут за сорок, и врач сообщил:

– Тот, синеглазый, станет жить. А этот... Кормить нельзя. Не кормить – тоже нельзя. Ото-то, граждане, ото-то...

– Имя ему давать? – засуматошились родичи. – Имя? Зачем ему имя?..

– Дайте, пока не поздно.

На восьмой день лишили его крайней плоти и назвали по имени, которое издавна дождалось в бездетной семье; мозль прокричал положенное: «Этот малыш станет великим в Израиле...», родители пролили слезу. Его рожали на исходе материнства – утешиться наконец наследником, и вынести скорбь было невозможно. Всклипывали возле детской кроватки, ожидая горестного прощания. Расставались навсегда, отправляясь на работу, всматривались с удивлением, возвращаясь к вечеру. Судьба человека записана на оборотной стороне лба, прочесть ее не дано никому, даже знатокам.

– Ото-то, – повторили через пару месяцев не так уверенно. – Неделя-две, не больше... Наглядитесь, пока живой.

Он лежал в коляске на балконе, птицы прилетали к младенцу, опавнув крыльями, сообщали о том, где побывали, что видели, а он тянул к ним руки, смотрел и слушал, внимал и вникал с гуканьем, пуканьем, первые слова произнес на птичьем языке, сначала на птичьем: «Бик-бук... Бик-бук...», слюнку пуская от восторга, озадачивая взрослых людей, что скорбно закатывали глаза и затыкали рот соской.

Все вокруг были наслышаны о неизлечимой участи ребенка, которому не познать смеха юности, прикладывали палец к губам при его появлении: «Ото-то... Ото-то...», но он жил себе и жил, рос и рос, голод не отпускал его, тарелки с кастрюлями пустели, не насыщая, нескладное тело укрупнялось несообразно в ошеломленности души и тела.

Слабогрудый, узкоплечий и длинношей, с головой, вздернутой к небесам, словно весь пошел в позвоночник, в «трубку», а на прочее не хватило материала. Рост – под два метра. Ботинки – пятьдесят невозможного размера. Шапка на макушке – мельче не бывает. Губы вздутые, руки короткопалые, зубы крупные, лошадиного покроя, волосат не в меру на голове и под рубашкой, в тревогах ума, неспособного распознать причины этих тревог с высоты своей малости. В глазах вечное удивление, застывший навсегда вопрос: «Отчего оно так?..»

Его будят по утрам постельные неудобства. Кровать коротка для такого роста, согнутые ноги сводит судорогой, огромные ступни высовываются из-под одеяла и коченеют. Затерявшийся в сомнениях, доверчивый и забывчивый, встает столбом посреди комнаты, недоумевает по поводу:

– Пока сплю, вещи меняют свои места. Утром нахожу их не там, где оставил вечером, или не нахожу совсем...

В квартире живет муха, давняя его сожительница, что летает за ним как привязанная, из комнаты на кухню и обратно, пристраивается за столом – пообедать за компанию, в фасеточном ее глазу отражается во множестве друг-кормилец. Ото-то ее бережет, окна держит закрытыми даже в жаркие дни, иначе объедаются чужие мухи, среди которых его подруга способна затеряться. «Зим-зум... – погуживает ему на радость. – Зим-зум, Ото-то, зим-зум...»

– Финкель, – говорит, – пошли ко мне. Муха пропала.

– Гур, – поправляет. – Гур-Финкель.

И идет на розыски. Не в первый раз. Имя мухе Зу-зу – совершенное создание с множеством удивительных органов, запрятанных в крохотном тельце, с недолгим сроком проживания на свете, что является одним из признаков недопустимого расточительства природы. Затихает порой в укрытии, вгоняя в панику владельца квартиры, – ее следует разыскать и успокоить соседа, что не так-то просто.

– Ей скучно одной, – сказал Финкель. – Заведи для Зу-зу муху-приятеля.

Надулся. Губы распустил обиженным ребенком:

– Со мной не скучно...

Руки его провисают, обвитые набухшими жилами, будто натружены от затяжной работы, но ему не обтесывать камни, не стругать доски рубанком, не вгрызаться фрезой в железо. Ноги заплетаются в хилости и хворости. Язык запинается. Ладони роняют чашки с тарелками. Большой телом и слабый разумом, он живет в колыханиях путаных чувств и плотских содроганий, ибо не утихает инстинкт сохранения вида. Посреди ночи вскакивает с кровати, мечется спросонья по комнате, потому что там, в сновидении, скапливаются облака, способные помешать свиданию, накапывает легкий, прохладный дождик – хватает зонтик, ныряет под одеяло,

но не заснуть, уже не заснуть, а там затяжной дождь, ливень, все-ленский потоп, там стоят лицом к небу возле садовой скамейки, раскинув в восторге руки, подставив тело, истомившееся от зноя, там ожидают его возвращения, готовые полюбить и принять таким, каков есть...

– Де-душ-ка, что с ним?

Дедушка разъясняет обстоятельно, не спеша:

– Сердце у него. Расширено от рождения. Для здоровья плохо – не побегаешь, не попрыгаешь, а для жизни хорошо; расширенное сердце способно вместить немало любви, радости, желаний.

– И горестей, – добавляет девочка Ая, сердобольно отзывчивая.

– И горестей, моя умница.

Раз в месяц они идут в банк, старый и молодой. Ото-то опасается, что его деньги перемешаются с чужими – потом не распознать, снимает со счета очередное пособие, отдает Финкелю для сохранности и берет понемногу по неотложной потребности. Имя ему – Реувен. Реувену сорок без малого, но кто считал его годы? Велик размерами, диковат видом, устрашает девушек на вечерней улице, плюхая башмаками по тротуару, – повод для сокрушения. Подходит к прохожему, руки кладет на плечи, нависает, выказывая зубы:

– Ты меня ищешь? Меня никто не ищет.

Финкель его утешает:

– Тебя ищут, но пока не находят. Ото-то, друг мой, ото-то...

И сочиняет на досуге поучительную историю:

«...из горных краев, из скальных пещер и непролазных ледяных глубин взглядывает на мир одичалое существо, состарившийся Снежный человек, который принарядился в ненадеванную шкуру, расчесал космы волос на груди в безуспешной надежде, что его наконец-то обнаружат, включают в туристские маршруты нехоженых гималайских вершин.

Косматость отшельника изумит народы, неохватная мужская стать восхитит женский пол, и набегут стайками молодящиеся дамы с подтянутыми за уши морщинами, похлопают по могучей груди, кинокамерой запечатлят на память. Сидит в снеговой тиши, печальный и неухоженный: "Никто меня не ищет. Никто!..", а мода на него прошла, интерес завял, никому нет дела до истосковавшегося создания. Мир решил, что Снежного человека нет на свете, и он дряхлеет в холоде стылых чащоб, вмерзая в оледенелые воды в тоске-томлениях...»

– Приходи к обеду, – зовёт Финкель. – Отправляемся в путешествие.

Это иное дело. Ото-то рад приглашению, ибо живет негусто, жует нечасто. Обедать он любит, путешествовать – тоже.

– Де-душ-ка, – спрашивает девочка Ая, – чем же ему помочь?

Дедушка рассказывает:

– Тело у него большое. А в нем человеку просторно, как в нетопленном сарае, зыбко, зябко, дует во все щели. Подвернуть бы одеяло под бок, но нет там одеяла. Требуется теплота снаружи – твоя, моя, всякая – его отогреть. Много теплоты.

## 6

Качается на ветру вишенка на черенке, качаются-позванивают ягодки-смородинки; апельсины на ветке – елочными оранжевыми колокольцами – наигрывают неспешный полонез, словно приоткрыли музыкальную шкатулку, которую мама с папой привезли из Сан-Паулу. Ступают степенно, парами, в учтивых поклонах, некрупные звереныши и непуганые насекомыши, – во сне обычно ничему не удивляешься, а если удивляешься, значит, уже не спишь.

Утром ее будят пернатые. Скандал на балконе. Птичья свара с оскорблениями и проклятиями. Три хулигана, не поделив добычу, гоняют по балкону усохшее, неподдающееся клюву семечко, чествуют обидным словом:

- Тип-пеш...
- Пиш-пеш...
- Тум-тум... Тум-ту-ту-тум...
- М-тум-там... М-тум, м-там...

На окне, на тонкой леске, висит стеклянный шарик размером с перепелиное яйцо. Дедушка подвесил его в комнате внучки, и ранний рассветный луч проходит через граненое стекло, раскидывая цветные побеги всяким погожим утром. Ветерок раскручивает шарик, затевает радужные игры на стенах: первая радость – она к пробуждению, так должно быть. Чтобы утро раскрыло двери, заманило в свои глубины; чтобы жил в ребенке праздник, вечное его ожидание, тогда и девочка Ая распахнет со временем чью-то дверь, раскидает по жизни радужные побеги, удивление, чудо, восторг.

– Кем же я буду? – интересуется Ая, которая растет во сне, растет на прогулке, когда ест суп, прыгает на одной ножке, льет тихие слезы.

– Кем буду я? – повторяет Ото-то, хотя расти ему некуда и незачем.

Финкелю тоже некуда, но он до сих пор вздрагивает по ночам, что является признаком неуклонного роста – вниз, должно быть, вниз так вниз.

Ая выходит на балкон, видит хулиганов-опустошителей в беспокойном насыщении, черноголовых и лупоглазых, тощих, вертких, задиристых, согласных на дружные пакости. Они налетают с разбойным посвистом, двое остаются на стрёме, третий заглатывает в нетерпении любимые мамины насаждения и уступает место товарищу. Бульбули-хулиганы изводят великолепие глиняных горшков, оставляя лысые пробелы, – на них не напасешься.

Ая насыпает им зернышки, каждому по горстке. Опускается на балкон голубь, гулькает призывно в надежде на угощение, а девочка бежит в комнату:

- Мама, слышишь? Голубь горло полощет...

Папе с мамой некогда. Папа с мамой улетают на Мальту – рассмотреть в подробностях старинный город Ла-Валлетту, пристанище пиратов и масонов, соседний остров Гаудеш с городом Виктория, он же Витториуса, а также крохотный островок Коминотто, невидный на карте, где непременно следует побывать и по возвращении посрамить приятелей. Одних гонит по свету флаг на мачте, других прыщ на седалище, тоска едущая: бежать от нее – не убежать;

папа с мамой используют отпускные недели к обновлению впечатлений и гардероба. Туристские маршруты обследованы и затоптаны, но мир неохватный – есть на что посмотреть; они собираются дружной компанией, разглядывают снимки на экране, перечисляют со вкусом: «Подплываем мы к Лас-Пальмасу...» – «Не успели приземлиться в Катманду...» – «А в Гвадалахаре... – ко всеобщей зависти. – Вы не поверите, что приключилось в Гвадалахаре...»

Удача – она всякому к лицу. Папа Додик – глава семьи, знаток компьютерных утех, которые хорошо оплачивают; мама Кира – финансовый работник, восседает за окошком банка в щедротах зрелости. Оберегают гены, доставшиеся по наследству, ублажают полезным питанием, выводят вечерами на прогулки для получения максимальных удовольствий от жизни, которые кому-то покажутся минимальными.

– Что я ем? – сокрушается мама Кира. – Чашечка кофе, лепесток сыра на завтрак – разносит как на дрожжах.

Глаза у мамы голубеют в минуты наслаждений и зеленеют от приступов гнева, суживаясь по-кошачьи. Мама вздыхает перед зеркалом: куда подевалась девушка Кира, тоненький стебелек, озорная непоседа, которой не коснулся еще мужчина, не оросил ее недра? Мама раздобрела от устойчивой семейной жизни и признаёт с печалью:

– Отпустила себя – теперь не догнать...

В Лувре, в зале Рубенса, разлеглись без стеснения на огромных полотнах пышнотелые, пышногрудые мамы кыры. «Через этот зал не пойдём, – сказала мама. – Незачем». – «Я пойду, – заупрямился папа, – через этот зал». – «Не смотри по сторонам. Зажмурься». Но он смотрел. Даже останавливался с видом знатока, смакуя подробности. «Ты лучше», – сказал без обмана, но похвала ее не утешила.

Подруги, умудренные опытом, шепчут:

– Зачем тебе диета? Для чего мучить себя? Прежде было нужно привлечь мужчину, выйти поскорее замуж – у тебя семья, слава Богу, ребенок: ешь-пей, погуливай, пока доведется.

Мама Кира в сомнениях. На маму заглядываются состоятельные клиенты, которых притягивает ее бюст, вяжущее дуновение духов густо-розового, будуарного колера, влекущее к обострению ощущений. Клиенты склоняются к ее окошку, намекают ненавязчиво, и, говоря откровенно, было у мамы приключение, что бы ему не быть? В гостинице. После работы. На двуспальном ложе. С поклонником, которому под пятьдесят. Опасение глушило желания. Любопытство пересиливало боязнь. Шампанское исходило пузырьками нетерпения. Мама была хороша в свои затридцать, голубели ее глаза, да и мужчина не оплошал, разносторонне умелый, оставив на теле волнующие прикосновения.

Подруги всё видят, обо всем наслышаны.

– Тебе легкомыслия не хватает, – выговаривают с укоризной, но мама Кира опасается необратимых поступков, которые приведут к разладу в семье, на уговоры клиентов больше не поддается.

– Полчаса удовольствий, а затем развод? Нет уж, увольте... Снова следить за весом, ограничивать себя в еде, чтобы найти дурака и выйти замуж? Такое не для меня.

Папа Додик согласен с мамой, но для себя, возможно, просчитывает иные варианты. Раз в году папу призывают в армию на пару недель – сторожить базу с винтовкой на плече, валяться на матрасе в пыльной палатке, дуряя от жары и скуки. На соседней кровати непробудно спит Габи, шофер десятитонного грузовика, который грузят цементом, бетонными плитами, камнем для облицовки зданий. Габи – анархист по природе, хоть и не обучен такому понятию; небритый в синеву, звероватый под сицилианского мафиози, он не способен подчиняться, послушание не приемля. Вечерами уходит в город, снимает номер в гостинице, выбирает на улице девушку, лютует до рассвета, чтобы к утру вернуться на базу, завалиться на матрас после трудовой ночи – пузо наружу. К вечеру на стрельбищах затихают выстрелы; мужчины молятся лицом к востоку, затем ставят плошки возле мишеней, поджигают мазут, и начинается стрельба из положения лёжа. Папа Додик преуспел, ко всеобщему изумлению пару раз попадая в десятку; анархист Габи – в знак признания – пригласил его на совместную ночную вылазку, но он не использовал такую возможность, о чем, возможно, сожалеет.

Папа Додик подвержен проблескам чувствительности, которые проявляются раз в году. В день рождения жены встает спозаранку, готовит завтрак, будит ее и поздравляет, подает кофе в постель. В остальные дни завтрак готовит мама Кира.

Папа с мамой гордятся тем, что заработали на квартиру с балконом, с видом на горы, с комнатами для всех; есть даже место для хундородной собачки по кличке Бублик. Притихшие после работы, немногословные, наговорившиеся с заказчиками-клиентами. И девочка у них тихая. Дедушка тихий. Собачка. Радио, пылесос, стиральная машина – очень тихие.

## 7

Девочка Ая – поздний ребенок, которого не ожидали.

Финкель тревожился, себя не выдавая, папа Додик стоял на смерть, усматривая помеху безмятежному благополучию, но мама Кира обхитрила в постели недогадливого мужчину.

– Дорогая, – намекали клиенты, на что-то еще надеясь, – вам надо всегда быть беременной. Вам это идет.

Дедушке показали внучку на исходе первого дня. Она прихватила в кулачок его палец, подержала, не отпуская, и Финкель, вдовец Финкель, дни проводящий в печали, душу распахнул настезь и переехал к дочери – купать ребенка, кормить с ложечки, брякать погремушкой. В один из дней мама Кира прибежала в поликлинику: «Доктор, девочке восемь месяцев – и ни единого зуба!..» Доктор сказал: «Вам попался ребенок без зубов? Вырастут и у нее». А Финкель подумал: «Мне попался ребенок, который не сможет ходить. Никогда», – но вслух о том не сказал.

Наконец зубик проклюнулся. Его простукали серебряной ложечкой, на радостях мама Кира запекла в духовке баранью ногу, папа Додик откупорил бутылки, друзья привезли салаты, заливную рыбу на блюде, пироги скорого приготовления из коробочной смеси муки-

шоколада, которые Финкелю не по вкусу, – то ли дело «Чудо», пирог его мамы, желтый на разрез, запашистый, с изюмом, корицей, сахарной пудрой. После еды гости заговорили разом: «Подлетали мы к Каракасу...» – «Катались на рикше по Бангкоку...» – «Купались в Лигурийском море...» – «Кормили крокодилов в Кении-Танганьике...»

Мама Кира хотела еще мальчика, круглоглазого, кудрявого, ручки в перевязочках, но папа Додик воспротивился – до вечерних скандалов и ночного уваливания. На карнавальный Пурим мама подговорила женщин, молодых и в солидном возрасте, напихали подушки под одежды и явились в банк беременными, на последнем месяце, отработав день на глазах изумленных клиентов.

– Сели, – командует мама Кира.

Садятся перед дорогой.

– Встали, – командует. – Хаим, отдыхаем!

Папа относит в лифт чемоданы. Мама просит в дверях:

– Отведи ее в садик.

– Отведу, – обещает дедушка.

– Присмотри за ней.

– Присмотрю.

Дверь закрывается. Остается стойкий аромат маминых духов, свидетельствующий о ее незримом надзоре.

Дедушка с внучкой переглядываются заговорщиками: куда она сегодня не пойдет, не пойдет в садик и завтра; впереди неделя свободы, которой надо распорядиться со смыслом. Осенью ей идти в школу, начнутся иные интересы – опять он останется один, в пожилом младенчестве, проводив внучку в подростковую жизнь. Мама Кира ушла от него в свой срок, лишь наскучило быть ребенком, и теперь, глядя на эту щедротелую женщину, можно поражаться тому, что они вытворяли с хохотом-кувырканиями, когда оба были маленькими. Будто не она, крохотная, бесстрашная, отчаянно кидалась с высоты в надежные отцовские руки, которые подхватят, не упустят, прижмут к себе, уловят биение ее сердца, средоточие любви и восторга. Глядела на эти безобразия строгая дама с поджатыми губами, разъясняла своему воспитаннику: «Разве можно себя так вести?» Тихий мальчик отвечал с грустной покорностью: «Я тоже прыгаю с высоты. Только во сне».

Комнаты дедушки и внучки расположены рядом, у каждой выход на балкон, и они оберегают от родителей свою тайну. Папа с мамой усаживаются вечерами у телевизора, а она перебегает к нему в пижаме, залезает под одеяло и просит:

– Де-душ-ка, расскажи...

Носом утыкается во впадинку над его ключицей, ресницами щекочет щеку, палец дедушки прихватывая в кулачок, – трепетание ее ресниц, как трепетание души, а Финкель рассказывает без скидок на малолетство, передает внучке способность удивляться, не упускать по жизни невероятные происшествия, поражающие воображение.

– В лесу объявилось необычное создание, переполошившее птиц и зверей. Нет у него ушей – слышит оно пяткой. Нет глаз – видит носом. Не углядеть даже рта – куда же закладывает еду?.. Собралось в кружок лесное население, спросило с пристрастием: «Как звать?» – «Как назовете». – «Откуда пришло?» – «Откуда

скажете». – «Чего умеешь?» – «К чему приставите. Жуков пасти. Муравьев стеречь. Гусениц щекотать». – «Еще чего?» – «С черепахой ползать. С кузнечиком прыгать. С лягушкой квакать». Решили неуступчиво: «Прогнать!» А оно доброе-доброе, косматое-косматое, облохматилось, по кустам бегучи; виляет ногой за неимением хвоста, каждому заглядывает в глаза. Ростом, между прочим, с валенок... Подумай и скажи: что бы ты сделала?

– Возьмем, – отвечает внучка. – Пусть у нас поживет.

И он уносит ее, сонную, в кровать.

– Де-душ-ка, – шепчет в дрёме, – что такое валенок?..

Поутру открывает глаза – девочка стоит, ждет пробуждения. Отпахнуть одеяло, впустить в теплоту постели, чтобы зашептала на ухо, обдавая легким дыханием:

– Давай тайничать. Ты пишешь мне, я тебе, и кладем под подушки. Разговариваем с помощью под-подушек: никому не догадаться.

– Давай, – соглашается дедушка и после очередного пробуждения находит в изголовье записку. Буквы расползаются по бумаге, большие, кривые и помельче: «Хочется сказать неправду, хоть разочек!» Финкель отвечает коротко, под-подушечной почтой: «Разочек можно».

В тишине расцветает миндаль в горах. В тишине подрастает девочка Ая, большеглазый щелкунчик, задумчивая не по возрасту, душа приоткрыта чудесам. Порой затихает в полумраке комнаты, глаза смотрят – не видят, голубенькая жилка набухает на лбу. Дедушку это беспокоит, дедушка спрашивает – таков их пароль:

– Отчего ты грустный, пирожок капустный?

Внучка отвечает:

– Оттого я грустный, что ужасно вкусный.

И оба тихо радуются.

У Аи живет в комнате огромный зверь. Белый пушистый медведь сидит на полу, привалившись к стене; девочка пристраивается у него на коленях, спиной к теплому животу, зверь обхватывает ее лапами, черным кожаным носом утыкается в затылок, дышит неслышно в обе ноздри. Финкель усаживается рядом на коврик, вытягивая ноги; Ая читает по складам книжку, разглядывает картинки на страницах, дедушка млеет в теплоте существования.

Сказал однажды:

– Такой медведь не может быть игрушкой, очень уж он велик. Его место в лесу или в зоопарке.

– Он не игрушка, – ответила. – И он это знает.

В руках у девочки книга. Про патриархов Авраама, Ицхака, Якова. Про Сарру, Ривку, Лею, Рахель. Книга открыта на той странице, где Якову привиделся сон и сказано скупым словом: «Вот лестница поставлена на землю, верх ее достигает неба, и вот ангелы Божьи восходят и спускаются по ней...», ибо там, наверху, расположены Врата Небес.

У Аи глаза вопрошающие, требующие немедленного разрешения:

– Де-душ-ка... У ангелов есть крылья. Отчего же они не летают, а поднимаются и опускаются по лестнице?

Финкель не готов к ответу и размышляет в постели немалое время, разглядывая по привычке белизну потолка. Посреди ночи

спрашивает себя: «Возможно, они не ангелы, но люди? Поднимаются в последний свой путь». – «А опускаются? Кто же опускается по лестнице?» – «Они же и опускаются. В наши сны...»

– Де-душ-ка... – с паузами и придыханием восторга. – Муравей ползет по строчке... Де-ду... – на «шка» недостает воздуха, – он читает!..

У Ото-то – муха Зу-зу. У них – муравей в квартире. Иногда их два, иногда нашествие, но этот выделен среди прочих, хоть распознать его невозможно. Мама Кира смахнула муравья со стола, и он шлепнулся на пол. «Ах, до чего грубо, – сказал, отряхиваясь, – до чего безжалостно!..» – дедушка уловил жалобу крохотного существа, страдающего от унижения, пересказал внучке, но мама не слышала или сделала вид, что ничего не случилось.

Потом они поют на два голоса: «В далекий край товарищ улетает. Родные ветры вслед за ним летят...» Финкель научил, Гур-Финкель, больше некому. Папа с мамой улетели на Мальту, и после обеда они отправятся в путешествие. Одних привлекает город Ла-Валлетта, других – необследованные окрестности обитания для осмотра, обмера, нанесения на карту.

Ая интересуется: «Тебе сколько лет?» – «Двадцать семь», – отвечает Финкель, позаимствовав ответ из давнего своего сочинения. «Неправда. Тебе за семьдесят». Искушает ребенка: «Решай сама. Двадцать семь – могу с тобой путешествовать. За семьдесят – нет больше сил». Подумала, сказала: «Ладно уж, тогда двадцать семь».

– Я девчонка еще молодая, – напевает дедушка в полноте чувств, – но душе моей тысяча лет...

## 8

– Когда приедешь? – прохрипел через границы незабвенный друг, а голос надтреснутый, скрипучий, из обожженного горла.

– В мае, наверно.

– Я дождусь.

Не удержался, пропел-просипел на прощание:

– Жизнь коротка. Ждут облака. Я лежу у Него на ладони... – выдох прервался, вдоху не насытить бессильные легкие.

Он был счастливым, не иначе, его незабвенный друг. Которого одарили при рождении дивным свойством, чтобы не прозевал значительные события на своем пути. Не проспал. Не проглядел мимоходом. Не провел годы в соблазнах упущений. Чтобы тревожило и подталкивало ненасытно, ибо удивительное случалось непрерывно, требуя непременно его присутствия, прикосновения с переживанием.

Говорил, смакуя каждое слово:

– Девиз рода Коновницыных: «Желаю только бессмертного». Девиз рода Кочубеев: «Погибая, возвышаюсь». Девиз рода Кутайсовых: «Живу одним и для одного». Девиз графов Дибичей-Забалканских: «Всякому свое». Наш девиз: «Ограничимся большим».

Годы прожил запойные, хозяином застолья, в охмеляющем задоре-кураже, в усладу себе и каждому, но к рюмке прикасался не часто, пьяноватый без вина.

– Люблю кормить, – говаривал с удовольствием. – Чтобы досыта. Этих обжор.

– Он любит... – ворчала жена его Маша. – А мне готовить полдня.

– А посуду? – ревел в ответ. – Кто потом посуду моет?..

Жена его Маша подносила из кухни блюдо за блюдом, он подливал гостям, бурливо говорлив, спорил до неистовства, перескакивая с разговора на разговор, громил собеседников неоспоримыми доводами.

– Гоша, – кричали в подпитии, – кормилец ты наш! Теперь докажи обратное!

И он доказывал блистательно, с той же яростью и восторгом победителя.

– Загустеете, – грозил, – забуреете, станете фиглярничать, кунштюками пробавляться, полезет из вас актерство, игра на публику – заскучаю, отлучу от своего стола.

Возле него было шумно, дымно, сытно и надежно. Если дружба, так на разрыв рубахи, на распахнутость двери и кармана; если несогласие, так до конца спора.

– Недостаточно, чтобы тебя любили. Надо, чтобы страстно ненавидели.

Запевал, поигрывая жгучими цыганистыми глазами: «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шу-утку...» Мечтал выдумать историю повеселее, споро изложить на бумаге, не удушая авторским мудрствованием; пусть каждый, кого гнетет тоска, прочтает ее и улыбается затем день-два, припоминая подробности, – до последнего часа мечтал об этом.

– И если где-то там, в горних высотах, ведется отсчет достоинств и прегрешений, такую заслугу припомнят всякому сочинителю.

На печке лежу,

Похохатываю,

Каждый день трудовень

Зарабатываю...

Когда становилось тошно, муторно, непокойно, надевал лучшие свои одежды, подкатывал на такси – сигара в зубах, шляпа на затылке, кидал деньги без сдачи: завистники полагали, что успех цепляется у него за успех, и им тоже становилось тошно. Но выпали удачливые деньки, напяливал старые штаны, мятую рубаху, приходил небритый, пешком, прихрамывая, просил займы на бутылку – завистники думали, что ему не продохнуть от неудач, чему радовались безмерно, суетные и склонные к раздорам, с лживыми измышлениями и затасканной речью.

– Мне плохо – и им плохо. Мне замечательно – и им, обделенным, услада. Я не жадный.

Было ли это? Совсем вроде недавно. Сидели на одной парте, дети войны и раздельного обучения, вороватые от несытости, грубо проказливые, недополучившие хлеба, масла, девичьего утешающего соседства, смягчающего подростковую дурь. Макали ручки-вставочки в одну чернильницу, списывая на контрольных, бублик разламывали на двоих, вопили радостно: «Училка заболела!..», мчались по Большой Молчановке или Собачьей площадке, пиная ногами консервную банку, – дети коммунального обитания, из семей со скудным достатком и бескорыстной заботой родителей,

с младенчества избавленные от будущего зазнайства и холодной расчетливости.

Забегали на кухню, в ее колготное многолюдье с керосиновым чадом, глядели – облизывались, как соседки обмакивали гусиное перо в блюдечко с растительным маслом, обмазывали сковородку, черпали поварешкой опару – каждому доставалось по блину, пышному, пупырчатому, пахучему. Ездили на стадион «Метрострой», гоняли с оглядкой мяч за воротами – лишь ловкачам-умельцам дозволялось топтать траву на поле, белесые полосы разметки. Подросли – вторглись в большой мир в превосходстве добрых намерений, в спешное его познание, ничего не имея и всем обладая; прорастили по молодости грибницы, раскинули усики по свету, прикоснулись неприметными отростками к себе подобным; впереди ожидала глыба лет: не осилить, казалось, не своротить, но также играли за воротами – правдоискатели во вред себе, с совестливыми душами, в отличие от пролазников, ушлых и дошлых на размеченном поле бытия, а кто-то уже поскуливал в ночи, неустанно бормочущий, оплакивающий долю свою: петушком не пройти по жизни.

Говорил незабвенный друг:

– Мне хорошо. Я обделен памятью. Ничего не запоминаю: ни прозу, ни стихи. Открываю книгу, давно читанную, – восторг, изумление, невозможная удача! Так оно и с любовью – заново, всякий раз заново: волнения, страдания, бессонные ночи. «Ноет сердце, изнывает, страсть мучительну тая...»

– Счастливцев! – шумели за столом приятели. – Поделись опытом!..

Рассказывал без утайки, специалистом по грехопадению:

– Мужчины делятся на два вида: одни обрывают дамские пуговицы, другие их пришивают.

– Кто же ты?

– Я обрыватель дамских пуговиц, заодно и крючочков. Чувствования мои безбрежны. Желания переменчивы. Волокитство неудержимо. Дети мои – плоды непомерных излишеств.

– Угомонись, – говорила ненавистно жена его Маша, губы поджимая в обиде. – Нет у тебя детей. И не было.

– Тебе откуда знать?.. Станете хоронить, набегут вприпрыжку худенькие с пухленькими, свеженькие и привядшие, зареванные, засморканные, с разодранными одеждами, исцарапанными лицами, увядшими враз прелестями. Слезы по асфальту, оханье-гореванье: для кого теперь, для чего теперь, как?.. Скорбно возопят вослед, цокая от желания остренькими каблучками: «Спасибо тебе, Гоша!..»

А Финкелю признавался, одному ему: «Думаешь, я гуляка? Да мне кроме Машки никого не надо. Бывали, правда, увлечения на две-три встречи, потом как из колодца выныривал: оболящать случайную дуру, таиться, врать напропалую – не царское это дело».

– Не спеши, – уговаривала Маша. – Поживи еще. Подумай о том, ради чего стоит продержаться.

– Ради тебя, – прикидывал. – Еврея Финкеля. Пива с воблой. Ради первенства мира по футболу. Очень уж к жизни привык, отвыкать не хочется...

Он опережал всех и всегда, опередил и тут. Пылкость натуры, ее увлеченность пронес по жизни и забрал с собой, чтобы и там, в

горних высотах, взбудорить-взбудоражить снулых небожителей. «Гоша! Это же Гоша! Для забав-размышлений...»

Наказывал на прощание:

– Вы хороните достойного человека, а это не часто случается. Усердствуйте, погребая, наймите плакальщиков-профессионалов, профессионалов-могильщиков в сюртуках, не пьянь кладбищенскую в драных ватниках. Всплакните у могилы. Пригорюньтесь. Не обделите цветочком. Таким похоронам можно позавидовать.

– Что ты мелешь, Гоша? Какие плакальщики?

Оглядывал грустное застолье:

– Эх ты, доля моя недожитая!.. Пишите, ребята, не ленитесь: Сушевский вал, 21, Миусское кладбище. Положите возле уха телефон. Звоните почаще, сообщайте новости: кто с кем, кто без кого. Слухами поделитесь, анекдотами. О книгах моих расскажите: читают или позабыли.

– Какой телефон, Гоша? Батарейка разрядится.

– Господи! – возопил. – С кем жизнь провел? Не люди – таблицы умножения! Дважды два, трижды восемь...

Не постучит в дверь, не встанет на пороге – белозубый, остроглазый, искрометный:

– Вам повезло. В ваш мир пришел я с неожиданностью чувств и поступков. Уйду, кто меня заменит?

Не наговорит потешку:

– У попа была собака. У бабуси – гуси. А у Анны у Иванны мужики на пузе.

Не захохочет первым...

– Закройте, – приказала Маша. – Это уже не он.

И крышку опустили на гроб.

## 9

Обедают они втроем.

Ото-то усаживается за стол надолго, словно укладывается в постель, ест много, напористо, вознесенный над супом, постанывает от наслаждения, высасывая с ложки, торопится, обжигается, стараясь первым опорожнить тарелку и получить добавку.

– Там, – косит глазом. – В кастрюле. На всех не хватит...

Дома он ест со сковородки, орудуя гнutoй вилкой, пьет из носика чайника, забитого накипью, а здесь потребляет пищу наравне со всеми, цветными каплями орошая рубашку, кашу заедая хлебом, мясо обмазывая горчицей, пищей наполняя живот, обширный и поместительный. Аппетит у него отменный, всякая еда на столе вкуснее вчерашней, всякая на подходе желанней сегодняшней.

– Больше всего люблю обедать. Никто так не любит...

Кусает щеку в азарте насыщения, разевает рот в горестном вопле, проливая крупные слезы:

– Финкель!.. Почему оно так?

– Изменения, – разъясняет. – Необратимые. Мне ли не знать?

С годами Финкель стал подглядывать за собой, шпионить, изыскивать способы для выявления истинного нутра. Заметил вдруг, что говорит короче, отбросив придаточные предложения, скуп

пользуясь причастиями-деепричастиями. Еще заметил, что кладет вещи на те места, откуда их взял, – отчего бы так? А оттого, что жизни осталось мало, жизни не впопыхах, и началась неосознанная экономия времени, чтобы не тратить его на липучее многословие, на поиски ключей, кошелька, ножниц или головной щетки. Решился даже – да простят великие писатели – читать в непотребном месте на исходе дней: сбережение времени при затрудненной работе кишечника, однако недочитанное не оставляет в туалете до очередного посещения из уважения к тем же сочинителям.

Изменений много, от них не избавиться, успевай только отмечать. Говорит себе в осуждение:

– Всё на свете на что-то указывает, а нам, дуракам, без понимания.

Слабому разуму такое недоступно, но Ото-то доверяет опытному человеку и вновь склоняется над тарелкой, вымакивая соус до крайней капельки, озабоченно перечисляет между глотками:

– У них много всего, сразу не осилить. Картошка, морковь, кабачки. Хумус с тхиной. Яблоки с мандаринами. Фасоль. Крупа-макаронны. Изюм с орехами. Яйца. Молоко в пакетах. Хлеб белый, хлеб черный...

Волнуется, машет рукой, брызгает соусом с вилки:

– Морозильник забит сосисками – я проверял. Даже консервы для Бублика имеются, но мне их не дают...

Друг-муравей ползает по скатерти в поисках угощения, Ая ему выговаривает:

– Что ж ты, дурачок, в солонку лезешь? Обопьешься потом.

Затем они разговаривают, сытые, убаженные. К прояснению ближайших намерений. Ото-то утрамбовался по горло, глаза его слипаются, но Финкель приоткрывает заветную шкатулку с засушенными лепестками, с их апельсиновым призывом к пробуждению воображения.

Последние наставления:

– Отправляемся туда, куда надобность укажет. Делаем то, что желания подскажут. Вопросы есть?

Вопросов нет. Рюкзаки за спину, компас в руки – и пошли.

Дедушка. За ним внучка. Ото-то замыкающим.

Пересекают кухню, коридор, спальню родителей. Осматривают туалет, ванную комнату, кладовку. Пережидают бурю в укрытии за диваном. Выходят с опаской на балкон, открытый ветрам-приключениям.

– На нас не нападут пираты? – пугается Ото-то. – Как в тот раз...

В тот раз они шли с попутным ветром через бурную Адриатику, спасаясь от морских разбойников; Финкель стоял у штурвала в застиранной тельняшке, Ая кричала: «Земля!», Ото-то бросал якорь. Высадились на пустынный остров без воды и провизии, кинули с балкона бутылку из-под яблочного сока с отчаянным призывом: «Спасите наши души!» – «Де-душ-ка, – спросила тогда Ая. – Зачем души спасать? Они же не умирают...»

Посреди балкона Финкель прикладывает палец к губам:

– Тихо! Не оборачиваться. Кто-то крадется за нами...

Рты открываются. Глаза округляются. Ото-то не дышит, подверженный опасениям:

- Слышу. Я слышу... Риш-руш... Риш-руш...
- Ришруш, – подтверждает Ая и разъясняет по-русски дедушке, несведущему в тонкостях обретенного языка: – Шорох. Шуршание. Финкеля это устраивает. Гур-Финкель шепотом нагнетает страхи:
  - Два брата. Риш и Руш. С озера Ньяса.
  - Че-е-го?..
  - Оранжевые карлики. Из африканских глубин. С луком и отравленными стрелами.

Страх накатывает волной от нижних конечностей. Заплетаются ноги у Ото-то, слабеют его колени. Спазмой прихватывает внутренности, взывающие к скорейшему извержению излишков. Колотится в тисках сердце, готовое выпрыгнуть из горла. Шерстится кожа на спине, жуть подступает к языку, лишая речи, к носу и глазам, из которых сочится влага, к голове, взывающей к немедленному отступлению. Ото-то не выносит подобных переживаний, терпение его коротко:

– Я пойду... У меня дела...

– Это Бублик! – кричат вослед. – Наш Бублик!

Но он бежит к себе, на спасительницу-кровать, которая не по размеру, под мамино пуховое одеяло, поспешая в сон, в тепло, где покойно и недоговорено с той, что ожидает его на садовой скамейке. Укрывается с головой, поджав ноги, огородившись от подступивших волнений, но они проникают в укрытие, отгоняя сон-утешение. Сказано тому, кто пожелает услышать и принять к сведению: «Дурак не ложится спать с прежней бедой».

## 10

Привал в комнате. Возле шкафа. Где хранится шуба мамы-модницы, которой не попользуешься в здешнем климате. Шуба – повод для размышлений, и дедушка начинает:

– Убили зверя лесного, шерстистого, загубили зверя полевого, ворсистого, уловили капканом жителя скальных высот, клочковатого и косматого, сняли с них разномастные шкуры, пошили шубы – отдельно из шерстистого зверя, отдельно из ворсистого, но в выделанных шкурках теплится память о вольной жизни, снится шерстинкам снег, бег по следу, жар погони, трепетание жертвы, первый глоток живой еще плоти... Шкурки от разных зверей, обреченные скорняком на совместное проживание, не ладят с соседями, отторгают и отторгаются, отчего расползаются швы на шубе, их соединяющие, подступают конечные дни мехового изделия.

Ая предлагает:

– Можно распороть швы, отделить шкурку от шкурки. Пусть отдохнут от соседства.

Но мама Кира не разрешит. Папа Додик насупится и вычислит убытки. Когда девочку отчитывают, она кривит губы в полуулыбке – в глазах накапливается влага, потом уходит к себе, расставляет стоймя многоцветную книжку-картинку, надежным укрытием из картона, усаживается внутри убежища, тихо льет слезы, надрывая дедушкино сердце. А с картинок смотрят на нее принцы с принцессами, чародеи в остроконечных шапках, звери-приятели, увлекая в те края, где нет и не будет огорчений.

– Де-душ-ка... А шкаф? Доски, наверно, из разных деревьев. Они тоже не ладят с соседями, отчего он скрипит и рассыхается.

– Дерево недвижно, – отвечает дедушка, – в покое его мудрость. Живет достойно, уживаясь с иными деревьями, уживутся и здесь. А шкаф разохся, состарившись, всякий бы закряхтел на его месте.

Идут дальше, видят больше. В комнате Финкеля разворачивают старинную пиратскую карту: «Три шага на север от тапочек дедушки, семь шагов на восток, шаг назад, шаг вбок...» Проходят указанный путь, обнаруживают в ящичке стола позабытую мягкую игрушку, припрятанную до случая.

– Пони! – восторгается Ая. – Ну, де-душ-ка... Мой пони...

...на которого надевают по утрам цветную попону с кисточками, легкую сбрую с бубенцами, запрягают в двухколесную тележку, и он бегаёт в зоопарке по кругу, тоненько позванивая, катает детишек, страдая от малого роста, мечтает стать верховой лошастью, участвовать в скачках с барьерами, которые не одолеть и во сне. По вольеру прогуливается без спешки друг-жираф, покачивая головой на пятнистой гуттаперчевой шее; мог бы работать подъемным краном на стройке, мыть окна в высотных этажах, доставать воду из глубоких колодцев для полива садов-огородов, – если на зоопарк наплывает туман, голова скрывается в белесой мути, откуда опускаются до земли ломкие его конечности. Звери из соседних клеток дразнят его: «Эй ты, небо не загораживай!..», дразнят лошадку за карликовую малость: «Пони в попоне!..», и только вдвоем им покойно, уступчиво, необидчиво – со слов Финкеля, которому всё известно...

На привале он достает из рюкзака блокнот, выписывает заглавие, повторяя вслух: «Дневник путешествий по малоисследованным землям. С приложением карт и замеров». И далее: «Самая северная точка на краю балкона. Самая южная у входной двери. Рек нет. Нет и озер с родниками. Водопад в унитазе. Ледник в холодильнике. Вулканы пробуждаются в кастрюле, где выкипает суп. Высочайшая вершина – платяной шкаф, покрытый пылью, не снегом».

– Де-душ-ка... Погляди!

На полке стоит глобус. По Австралии ползет друг-муравей, неотличимый от прочих созданий того же рода.

– Он тоже путешествует!..

Финкель согласно кивает и продолжает запись: «На юго-востоке коридора выявлено логово неизвестного зверя. Настроен дружелюбно. Машет хвостом. Откликается на кличку Бублик. На западе ванной комнаты, за стиральной машиной, высмотрено шустрое существо, подлежащее искоренению. Проведен обмен мнениями по поводу его дальнейшей судьбы...»

Загнали существо в угол, накрыли банкой из-под варенья, чтобы в прозрачном своем узилище задумалось о трагической участи, которая ожидает нежелательного пришельца.

– Что будем делать? – спрашивает Ая. – Не убивать же...

У дедушки готов ответ:

– Вынесем на улицу, скажем: «Вот мы тебя отпускаем, гибели не предавая. Пойди к своему племени, попроси каждого уйти из дома». И тараканы у нас переведутся.

Ночь застает их на юго-юго-востоке кухонного пола.

Вскипятили на спиртовке воду, приготовили чай, поужинали крекерами с сыром, пропели на два голоса: «Любимый город, синий дым Китая, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...» Дедушка переиначил строку, дедушка Гур-Финкель: «Любимый город в синей дымке тает...», и Ая не возражает, так ей по душе. Все соседи знают эту песню. Всем известно про синий, иссиня-синий дым поднебесного Китая, куда улетает, в котором растекается, растворяется, истаявает единственный, неповторимый, неотменимый друг.

Заползают в спальные мешки, укладываются на плиточном полу голова к голове: старому и малому одна утеха. Что бы сказала мама Кира? Что бы подумал папа Додик?.. «Пора тебе повзрослеть», – выговаривает мама, оглаживая крутобокие прелести, а папа хмыкает неуважительно, и остается предположить, что Додик слишком рано вышел из детства, а может, никогда там не был. «Оставьте меня таким, каков получился, – спрашивает Финкель невесть кого. – Так от меня больше пользы. Или меньше вреда».

Потенькивает капельный источник из подтекающего крана, наполняет лужицу в кухонной раковине, куда придут на водопой звери, обитающие в окрестностях. Газель. Лисица. Горный барсук. Кабан – опустошитель виноградников. Шакал с полосатой гиеной. Мышь-прыгунчик. Увилистая змея эфа.

– Не надо эфу, – пугается внучка.

– Она не придет, – обещает Гур-Финкель. – Ее мы не пустим.

Лежат. Смотрят в потолок. Ая просит:

– Расскажи про бабушку. Которая меня не дождалась.

– Она хотела. Но у нее не получилось.

Рассказывает:

– Мы учились в одном классе. Она сидела за первой партой, я – за второй и макал кончик ее косички в чернильницу. Бабушка возвращалась из школы, родители ахали, отрезали запачканный хвостик, а я ждал, пока косичка отрастет, снова обмакивал в чернила.

– У меня тоже косичка... – вздыхает Ая и тут же засыпает, утомившись от впечатлений.

Всё было, конечно, не так. В школах раздельного обучения девочки не попадались, но Ая запомнит эту историю, перескажет своим детям – образ бабушки с косичкой, перепачканной чернилами, и дедушки-озорника продержится пару поколений.

В выходные дни Финкель просыпался позднее обычного, потягивался в блаженстве, слушая шорохи на кухне, просил: «Посиди со мной...» Клал руку на колено, ощущая дуновения ее духов, теплоту округлости, – где то колено? куда подевалось? кому они мешали? Не вселенской же зависти, которую не избыть... Бледное лицо, опрокинутое на подушку, вопрошающие взгляды, волосы отросли ежиком после безжалостной терапии – такая желанная, уже недоступная. Приходила служительница, веселая, румяная, присадистая, подхватывала пушинкой, усаживала в кресло возле кровати, а вокруг шприцы, капельницы, кислородные трубки, вены на руках исколоты иглками. Целовал глаза, сухие, бесслезные, полные мольбы и скорби: «Удержи меня, Финкель! Хоть на ниточке...»

Бежал под дождем к больничному корпусу, упрашивал в голос: «Не забирай ее! Не забирай!..» А дождик лил прямыми струйками, как через ситечко, каплями-слезками стекал по лицу.

Она объявлялась поначалу – ответом во снах, в очертаниях и теплоте тела, потревожив и вновь опечалив; садилась рядом, даже ложилась головой на его плечо, томила близостью, но с годами стала отдаляться, не обретая четкого облика, освобождая от своего присутствия, словно отвлекали ее иные обязанности, отвлекали и увлекали туда, откуда нет и не будет возврата. Никто не дышит возле него, только запах ее подушки, неприметный запах через долгие годы, платье в шкафу, зубная щетка в ванной комнате, бутылка воды с соломинкой – последний ее глоток, плач по лунному календарю, плач по солнечному...

Она опекала его при жизни, опекала, казалось, и после смерти. Чистые носки на стуле – кто положил? Сходить к врачу – кто настоял? Принять лекарство – кто подсказал?.. По ночам ему чудился шорох за входной дверью, легкое поскрёбывание, сумасшедшая надежда. Вскакивал. Бежал босиком. Отпирал непослушной рукой... «Сосуды играют, – поясняли разумные дураки. – Слабые ваши сосуды».

Финкель глядит в потолок, заложив руки за голову, слушая потенькивания подтекающего крана. Говорит негромко, растревоженный разговором:

– Косичку в чернила – ей бы это понравилось...

## 12

«Кто этот человек, что так хорошо улыбается? Так приветливо? Так по-доброму?» – «Но не каждому. Нет, не каждому».

Некрупного роста.

Редкого умения.

Большой человек на малые дела, наделенный даром сравнения и догадок, чувством времени и его утекания, способный развязывать узелки по жизни, чем интересен многим, чем и необходим.

«Ты, Финкель, окликнутый, – удивлялись вокруг. – Легкий и светлый. Как такой состоялся, можно еще понять, но как таким сохранился?» Искренне изумился: «Я-то?..» – «Ты, конечно, ты. Мы тут прикинули и решили, что ты единственный среди нас. Который в согласии с самим собой». Это его озадачило: «Вы знакомы со мной застольным, в гуляниях-увеселениях. Вам недоступен я в сомнениях и мечтаниях». Это его насторожило, даже напугало: «Быть может, вы льстите или принимаете меня всерьез».

Выяснилось с возрастом, что проклюнулся в нем опечаленный старик, который радуется без охоты, ублажая себя горестными играми. Проклюнулся и ликующий старик, задумчивый весельчак, который сокрушается нечасто, но с видимым удовольствием, по незначительным, казалось, поводам. Когда один из них огорчается, другой не ликует чрезмерно, пытаясь не обидеть сожителя, и, наоборот, когда другой радуется, сосед не добавляет ему горечи, вроде космонавтов в долгом совместном полете, выдержавших проверку на совместимость.

Над холодильником висят часы, показывая утекающее время, старые-престарые ходики с гирькой на цепочке. Дергается стрелка, отпахивается дверца под слабое щелканье, высовывается наружу деревянная кукушка на костылике. Неодобрительно взглядывает на мир, разевает рот под невысказанное «ку-ку», молча убирается внутрь. Тихая забава Гур-Финкеля: ликующий старик купил по случаю часы с кукушкой – потешить душу, опечаленный приделал к ней костылик и лишил призывного кукования, что соответствует ее возрасту и его настроению.

Первый задает вопрос: «Подумай хорошенько и ответь сам себе: чем тебя устраивает подавленное состояние?» Второй отвечает: «Ах ты, старенький, никудышненький, пенсионеренький! Взгляни лучше в зеркало, там ответ на твой дурацкий вопрос». – «Эх ты, глупенький-неразумненький! Морщины на лице – тропки по жизни, следы радости-огорчений. Я ими горжусь, без них вроде не существовал».

Ликующий старик жизнь прожил в удивлении от самого себя, уловляемый в мечтательные крайности; опечаленный не заметил, куда она, эта жизнь, подевалась. Финкель не вмешивается в их споры, не утишает словом неслышимым, но терпеливо ожидает примирения, когда вновь потянет к столу, к бумаге с карандашом: перелистывать страницы, как перелистывать судьбы, дотошно перебирать слова, как повариха перебирает рис или гречку, чтобы сотворить еду, крупинка к крупинке.

Под балконом разрастается гранатовое дерево. Его плоды зревают, бурея к осени, лопаются от непереносимой мощи, догнивают на высоте в укоризне на нерасторопный люд. Ради чего дерево трудилось, для кого напивало их соками, отказывая себе во всем, провисая ветвями от тяжести? Дереву обидно, Финкелю обидно тоже.

«Вот оно, твое подобие, – вступает опечаленный старик, пылив и докучлив. – Вспоил своего героя, вскормил, жить бы ему да жить – зачем губить понапрасну, на потребу увлекательной развязке? Героев следует уважать, особенно пожилых, не посягать на их достоинство, уязвимую немощь. Оберегай престарелый люд, Финкель, не раздевай перед читателем в дерзости и бесстыдстве, не выказывай вздутых варикозных вен, дряблых ягодиц, скрюченных подагрой пальцев – их стриптиз отвратителен». – «А если того требует сюжет? – кричит ликующий старик, простодушен и отходчив. – Законы литературные!» – «Дурак ты», – отзывается старик опечаленный. «И правда, дурак», – соглашается Финкель.

Сил не стало на долгий прозаический марафон с гулками толчками сердца, болью в затылке, скачками кровяного давления – и без того насочинял немало: не выходило меньше, не получалось лучше. Переписать бы заново, но не имеет смысла: жизнь заново не перепишешь, как не обежишь вокруг себя; подобрать бы остатки, рассеянные в листьях и блокнотах, не обрывать их на выброс.

Предмет его нынешнего изучения – реб Шулим под деревом, упорный молчальник, затаившийся в темнице тела, откуда не желает выныривать. Берет бутылку с водой, которая всегда при нем, делает большой глоток, смывает неосторожное слово, намеревавшееся вырваться на волю.

У реб Шулима есть жена, дети, что не подлежит сомнению. Иногда он им улыбается – это подмечено, но слышат ли они хоть один его звук? Реб Шулима следует разгадать, и Финкель не жалеет усилий, прикладывая к молчальнику и отбрасывая за ненадобностью разные судьбы, ему посвящает «Грустные размышления, невеселые фантазии реб Шулима, сына реб Гершля, внука реб Ноте, родившегося на иерусалимской улице Ор а-Хаим, она же Свет жизни, возле дома номер шесть, где объявился на свет Ари, великий каббалист, что само по себе достойно упоминания. И вот слово реб Шулима, заслуживающее убережения, которому не дано выйти наружу...»

«Кому оно интересно, его слово?» – вздыхает опечаленный старик, утонувший в сомнениях. «Мне интересно, мне! – возражает его сожитель в надежде на поздние ликования. – Нет слова – нет и меня». Но возражает неубедительно.

## 13

«...реб Шулим сидит на скамейке, затаившись под апельсинами. Бутылка с водой наготове.

Выходит из дома Ото-то, выходит девочка Ая с Бубликом. Собачка убегает по неотложным делам, обнюхивая окрестности; Ая взлетает на качелях в поднебесье, Ото-то раскачивает ее, не жалея сил. Затем они меняются местами, но взлетать ему неподъемно из-за большого веса и огромных ног, которые цепляются за землю.

Садятся на скамейку возле реб Шулима, затихают за компанию. Ветерок навевает уксусную пахучесть тела, нестерпимую до удушения; надвигается тусклый человек в слухах-опасениях, сосуд нечестия, источник мрака, вместилище яда в тоске по злому помыслу – глаз его чёрен, оранжевому нестерпимый.

– Почки-цветочки, глупости-тычинки... Пускай Тот, Который над вами, сотворит прежде чудо, нарушающее законы природы, тогда и я поверю в Его таинства. Пускай уделит мне, лично мне хоть одно откровение.

Скажет в ответ реб Шулим, излечившись от молчания:

– Оскорбительно для Него – творить великие чудеса, дабы некий тум-тум признал Божье присутствие в мире.

Скажет Ото-то, сподобившись разума:

– Он гордый, но Он и доступный: пойдя и прикоснись.

Скажет девочка Ая:

– Разве апельсины – не чудо?..»

И снова звонок. Посреди ночи.

– Это опять я. Из Хадеры.

– Можно догадаться.

– У меня бессонница.

– Чем же я виноват?

Нервно. Чуть агрессивно:

– Растревожили – и в кусты?

– Поговорим лучше днем.

Обидчиво и напористо:

– Поговорим сейчас!.. Косичку в чернила – это вы выдумали. Или услышали от кого-то.

Признаёт без охоты:

– Услышал.

– Так было со мной. С нами. Сидела на первой парте, он на второй... Что вы наделали, чертов сочинитель!..

Завершается день первый, который не принес каких-либо изменений и не проявил истинных намерений...

## ЧЕТЫРЕ ВЗМАХА КРЫЛА

### 1

Ночью спят дети.

И птицы спят, усталые к вечеру.

Воробьи-ласточки, зарзиры и нахлизли.

Ветер опадает без сил, набегавшись до упаду. Затихает живность в надежных укрытиях после дня взаимного пожирания. Спит Ая в спальном мешке, и навещают ее сновидения, светлые, прозрачные, отлетными караванами в синеве, словно аисты отмахивают неспешно могучими крыльями, выкликая с высоты:

– Гаа-гуа, Ая, гаа-гуа...

Слеза скатывается по щеке. Слеза расставания.

Не спит во мраке птица оах, сова серой окраски с глазками-блюдцами, вздернутыми ушами и приплюснутым клювом, будто от удара кулаком. Днем прячется без движения невесть по каким сокровищам, ночами летает бесшумно меж холмов и деревьев, отлавливает сонную пичужку, полуночицу-мышь, прочую мелюзгу, скармливая их прожорливым птенцам; любимое ее лакомство – неподступный еж, которого свежует ловко, умело, сдергивая кожу с иголками. Она-то и нашептывает у изголовья, слов не разобрать: «Ты знаешь больше, чем полагаешь, Пинкель. Память умножает видения, уводит в такие дали, куда бодрствующему нет доступа». – «Гур. Гур-Финкель...»

Человек дня и человек ночи – они разные.

Сберечь бы в себе полуденный свет, уберечься к старости от омрачения разума, чтобы войти в мир через светлые ворота, через светлые его покинуть.

Финкель лежит в спальном мешке, на кухонном полу, оглядывает беленый потолок, каждую выбоинку на нем, каждую щербинку. Сон старого человека по-лошадиному чуток, в сторожкой забывчивости; минуты бодрствования населяют потолок ликами и событиями прошлого в причудливых сочетаниях, с завлекательными подробностями, которых высветлит под утро первый рассветный луч. Истаяли голоса, истлели люди и их поступки; они проявляются эхом в полночных видениях, каждый на месте своем, из расщелин жизни и затененных уголков минувшего, едва видимые, смутно различимые, порадовать, огорчить или утешить.

Задувает за окном ветер, тени вздыбленных ветвей разметывают видения по стенам комнаты, перемешивают в путанице лиц,

мест и событий, когда невозможно разобраться, что к чему, да и нужно ли разбираться? В холодные ночи руки прячутся под одеялом, в жаркие – они поверху, ладонями взмывая к небесам, подталкивая к догадкам, которые в простоте и ясности попросятся на бумагу...

...как выходили поутру из временного пристанища в Мевасерете, окунались в рассветные сиреневые туманы, и за оградой сразу же начиналась перевозданность, откуда забредали косули, залетали куропатки, напоззали черепахи и прочая живность. Шли молча, в согласии огибая валуны, оглядывая цикламены на камне, стойкие к холоду ночей; над головой кучились облака прилетные и облака отлетные, под ногой таились воды подземные, себя не выдавая. Остановливались, вслушиваясь в тишину, в ее весомую громоздкость, которую хотелось разгадать, чтобы пробудилось шорохом змеи по камню, шелестом распускающегося бутона, отдаленным рокотом пролетевшего некогда самолета, легкой поступью околдованных путников, которые оставили тень на валунах и затерялись в пространствах... Шли дальше в тиши, насыщенной звуками, выходили к рожковому дереву, провисшему над склоном, чьи корни выдирались из скальной расщелины в жилистом, натруженном переплетении, опускались донизу и вновь уходили в каменные глубины. Усаживались в тени под деревом, разминали его стручки, высыпали на ладонь зерна-караты, пробовали их на разгрыз, наполняясь покоем возле неспешного капельного источника, веками наполнявшего углубление в скале; капли – медлительной кукушкой – отсчитывали срок, который завершился для нее так рано. Многоголосая тишина сберегает ее умолчания, которым не утихнуть; в ветвях рожкового дерева теплятся ароматы ее летучих духов, цвет их дуновения блекло лимонный, радужно жемчужный, возвышающий и очищающий: хоть сейчас под свадебный балдахин...

Спит в спальном мешке, лицом к потолку, старый человек. Бублик спит рядом.

Часа не прошло – снова звонок.

Тот же голос:

– Извините. Погорячилась.

– С извинениями можно повременить. До утра.

– Можно. Только ночь не переждать.

Он молчит. Она молчит. Потом говорит:

– «Что ж не приходишь на могилу? Поздороваться?» – «Далеко живу, бабушка. В другой стране». – «А ты самолетом...»

– Это я написал.

– Вы. Всё вы. Из вашей книжки.

Срывается в крик:

– А если нет денег на билет?..

В доме напротив мигает фонарь над подъездом, лихорадочно, тревожно, отблеск на потолке беспокоит и отвлекает; так и хочется выскочить на улицу, стукнуть по фонарю палкой – пусть засветится в полную силу или замрет навсегда. Посреди ночи Финкель запишет:

«...въезжать надо в новое жилье, недавно отстроенное, с окнами ко всем ветрам, откуда ушли штукатуры с малярами, первыми

освоиться в нем, напитать дыханием, теплотой, доверительным взглядом. Чтобы не оставалось в доме присутствия прежних владельцев: не от запаха табака или немытого тела – от застарелых отголосков ругани, мелочных препирательств, ненавистных взглядов, лживых примирений совместного существования, которые насторожат, беспокоят, внесут разлад в вашу жизнь. И не обновляйте его, чей-то дом, не зазывайте каменщиков-столяров-электриков: выдохи сохранятся, липучие выдохи прежних постояльцев, их будет достаточно, чтобы по ночам вскидываться в некое. Въезжать следует в новое жилье, только в новое, что не всегда по карману...»

– Деточка, – поучала бабушка Хая, – солнце после дождя – дважды дождь. Дом с согласием в нем – дважды удача.

Ночью она проявится среди прочих видений, меленькая, субтильная, в шляпке со стеклярусом: бабушка, которой давно нет на свете. Скажет без укоризны: «Кольцо у тебя на пальце – оно мое, внучек. Обручальное». – «Твое, бабушка». – «Что ж не приходишь на могилу? Поздороваться?» – «Далеко живу, бабушка. В другой стране». – «А ты самолетом...»

## 2

Строг. Суров. Взыскателен к самому себе. Неподкупен соблазнам, которые осаждают, не прощает собственных промахов, сотворенных по дурости, упрямству или неразумению.

Встает перед зеркалом, говорит в назидание: «Не гоняйся за фактами, подтверждающими твою правоту, они ее ослабят. Подбирай факты, ее опровергающие, в борьбе с ними правота окрепнет. Понятно теперь?» – «Не совсем». Разъясняет: «Сначала подступает сомнение. Вслед за сомнением приходит оправдание. Бойся его. Не насыщай душу посулами». Из зеркала ему отвечают: «Я твое сомнение, и я твое оправдание».

Высвобождает Аю из спального мешка, переносит в постель, чтобы проснулась под птички пересуды, радужные искры по стенам от граненого шарика. «Обучу сына бесстыдству, – пообещала, похохатывая, ластоногая, наголо обритая особь, залитая по горло несокрушимой сытостью, с глазами честно блудливыми. – Толку чему легче прожить». И Финкель беспокоится теперь за Аю, доверчивую посреди недоверчивых, ибо на одного нахала на свете будет больше. Которого на порог непустишь. С дочкой не оставишь наедине. С внучкой – упаси Господь!

Стареет тело. Дряхлеют чувства. Молодеют сны – к стыду или изумлению. Ликующий старик прикидывает, какие события взять с собой в подступающий сон, где прошлое сплетётся с настоящим в прихотливом сюжете. Опечаленный его сожитель собирает по крупицам самое памятное в главное посмертное сновидение, до воскрешения из мертвых, – благословенна та жизнь, которая накапливает воспоминания. Один из них говорит: «Я пожилой человек и мучаюсь оттого, что обижал людей, встречавшихся мне по жизни». Второй добавляет свое: «А я утешаюсь тем, что количество обиженных было невелико. Если этим, конечно, можно утешиться».

На исходе ночи глушит его дремотная усталость, и Финкель засыпает со слабой улыбкой на губах, которой не продержаться до рассвета. Видение наплывает по порыжелым рельсам, неспешно, неотвратно, пригородным составом с немощным паровичком, где молочницы гремят бидонами по душным вагонам, молодняк подпугивает в тамбуре, дерзостно сплевывая под ноги, гнусавит под гармошку стародавний пропойца на деревянной ноге, вымаливая подаяние скорбными песнопениями: «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россию ответчик...»

Вагоны укатываются за поворот – не удержать. Финкель бежит следом по шпалам – вспрыгнуть на подножку своего детства, но сон утекает, пыхая паром, песня утекает следом в угольном дыму, под лязг буферов, нестерпимую фистулу паровозного гудка: «...а он жил... с моею... же-е... ноо-ой...» Не твоя остановка там, в отдалении, не тебе сходить на ней под приветственные вопли незабвенного друга – они все теперь незабвенные, кого ни позови; не тебе добежать до затерянной платформы в березняке, срывая дыхание под комариный стон, и эха нет, нет эха во снах, поезд уходит, пощелкивая по стыкам, затихая на закруглении путей: «Ах, Кла-ва, лю-би-мая Кла-ва...»

– Ты проснулся, но сон не просыпается, – полагает девочка Ая. – Ему и так хорошо.

– Ты встаешь, – подхватывает бабушка, – мокнешь под душем, ешь за столом кашу, ты одеваешься, обуваешься, бежишь на улицу...

...а сон живет сам по себе, сон не прерывается; не он для тебя – ты для него, подплывая его видения из настоя памяти. Сном не овладеть и сна не пожелать, у него неведомая дневная жизнь без прилипчивых обыкновений, чтобы в подступившей ночи выказать по прихоти отрывок – обрывок? – сновидений, тебе недоступных и неподступных, в которых не запрятаться, не пересидеть пуганные годы. Сны не подлежат наказанию и не умирают вместе с людьми; они утекают вслед за ушедшими в те края, где нет бранных криков, ненавистных взглядов, там они и остаются, оплакивая тех, к кому навевывались по ночам – от этого и человек бы заплакал...

Уверяют знающие люди: сон – шестидесятая часть смертного состояния; уверяют не менее сведущие: истинный сон – шестидесятая часть пророчества.

Неразгаданный сон – распечатанным письмом.

### 3

Говорил незабвенный друг:

– Если переполнюсь добродетелью, на кого ее изливать? Назовите поименно. Наиболее достойных.

– Ты не переполнишься.

– А вдруг... Стоит подготовиться заранее.

Поучал по-дружески:

– Запомни, Финкель: скорость не важна по жизни, важно ускорение. Первым ухожу от светофора, всегда первым: они еще не шелохнулись, а я вон уже где! Пускай потом пыжатся, догоняют-

обгоняют – я же никуда не спешу. И ты не спеши, Финкель. Никогда. Нигде. Нет на свете того, что требовало бы твоей спешки. В нашей профессии это смерть.

– А к женщине?

– К женщине – непременно.

Проходят дни. Утекают недели. Подступает час жизни, заранее неугаданный, чудом явленным на потолке:

– Забери меня...

И он выскакивает из дома. Бежит. Едет. Снова бежит. «Утолите мое нетерпение!» – взывает ликующий старик. «Не утоляйте, не надо!» – старик опечаленный. К старости всё меньше нежданностей на пороге обитания, даже смерть не вызывает удивления, но вот, но теперь – кто бы мог подумать, кто?!..

– Де-душ-ка... Ты куда уходишь?

– Разве я ухожу?

– По вечерам. Надолго.

– На прогулки, моя милая.

– А мама говорит...

– Что говорит мама?

– Ничего...

Она ожидает на скамейке, тайная его подруга.

Когда бы ни пришел, она там.

Полная луна выкатывается над головами. Небо бездонное, темнее синего. Стена Старого города, подсвеченная к вечеру. Покой и безлюдье.

Садится возле нее на скамейку.

Ладонь кладет на ладонь.

Молчат. Обвыкают после разлуки. На газоне напротив французского консульства, где гул ветра в вышине, следы человеческого обитания за спиной и запахи, нежданные запахи позабытого маминого кушанья: рассыпчатая картошка с укропом всяким воскресным утром, селедка, политая подсолнечным маслом, лучок кружочками, бородинский хлеб с тмином, в пахучую мякоть которого хотелось уткнуться носом.

Сосны вокруг – прямоствольны, высокомерны – гордо вскинули головы, будто ничто не интересует их на земле, но так только кажется. Кора в рыже-коричневом окрасе, высвеченная изнутри нежарким пламенем, не обезображена лишаем, сколом, потертостями долгого существования; сосны неспешно покачивают верхушками, разглядывая пришельцев, переговариваются степенно, с пониманием, без излишнего любопытства и наговоров, склоняя к соседям метелки игл.

Сосны многое повидали на веку и многих, радуются иначе, иначе огорчаются – двое на скамейке им по душе. Седоголовый, светлоглазый, подростковый на вид, в растерянности от позднего счастья, нахлынувшего нежданно, и женщина иного возраста – глаза бездонные, нараспашку, вспышкой над объективом в пробой чувств, оставляя навеки в ослеплении. Хочется ее защитить – так она раскрыта! Хочется уберечь – от кого?..

«Отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые...»

Две собаки, черная и пегая, не бегут – пластаются по траве. Пара шагает следом, рюкзак с ребенком за спиной, понизу обви-

сают голые ножки. Проходят мимо, взглядывают с интересом, всё понимая и принимая, – что тут можно понять?.. Старый человек выволакивает себя на свет Божий, пробиваясь через немоту, выплескивает наружу запрянтанный в глубинах, позабытый, казалось, восторг:

– Не войти в новый день, не подумав о тебе. Не услышав слово твое. Не наполнившись надеждой... Невместимо! – в отчаянии: – Невместима! Дана на додумывание, разгадывать тайны твоего умолчания...

Отвечает односложно. С отсутствующей, казалось, улыбкой:

– Нет от тебя тайны.

И опять затихает. Слушает. Смотрит неотрывно в своей затаённости и ждет, молчанием поощряя многословие, ждет и смотрит, не смаргивая. А ветер погуживает и погуживает, сосны пошумливают и пошумливают, раскланиваясь верхушками; кажется, отпало ее внимание – ладонь вздрагивает в его ладони:

– Я с тобой.

Как тронули бережно колокольчик, и он отозвался спросонья, но не умолк, нет, не умолк, затаившись в глубинах, не может, не желает утихнуть: зачем-то его обеспокоили?..

...она незримо присутствует у скамейки, ушедшая до срока, затрудняя признания, рвущиеся на волю. Шепчет слова, светлые и печальные: «Тоску по мне не растеряешь, Финкель, и оттого не затворяй порывы, не утаивай важное и нужное, что недополучила от тебя за жизнь. Мне ты говоришь, Финкель, мне тоже, только не называй ее так, как называл меня в минуты откровений. Дай ей иные слова, иные междометия, остальное – по обстоятельствам...» Она произносит ли эти слова, его оправдание их нашептывает?..

– Не уйду отсюда. Не желаю. От неба – темнее синего. От сосен. Скамейки. От глаз твоих. Почему я должен уходить, да еще навечно?.. Пусть силой вытолкнут за дверь, пусть! Вернусь с черного хода.

– Постучись. Я открою.

Прислушиваются к тому, кто говорит тихо. Приглядываются. Ищут разгадку, побуждаемые к пониманию, и он торопится, прерывая себя, струна дрожит в груди истонченной жилкой, ибо времени у него мало, а поведать надо о многом, пока дыхание наполнено воздухом, обещание – недолговечной льдинкой – не истаяло в ее глазах.

– Перехаживаю свои сроки. В надеждах. Восторгах. Опасениях... Смешно сказать, но я помолодел, старый дурак. Глаза помолодели, тебя высматривающие. Руки, тебя ожидающие. Ноги, к тебе бегущие...

Хочется повиниться перед ней из-за сроков, ему отпущенных. Хочется ей что-нибудь подарить, хочется ей всё подарить, начиная с самого себя, – но куда, куда отнесет щедрые дары, требующие разъяснения своим появлением? Где-то надышано возле нее, кем-то населено: плащ на вешалке, чай в чашке, голова на подушке, тапочки на полу – «в ночи шепчется женщина с мужем своим», в ночи хрупкого согласия... Так и тянет позвонить в неурочный час: руки поверх одеяла, глаза в потолок, отблеск фонаря в лихорадочном нетерпении, чтобы окатило холодным безразличием: «Абонент временно недоступен».

Когда же он доступен? Кому?..

Любовь неподвластна прокурорам. Осуждать надо ненависть. Они встречаются, расставаясь, не первый день. Они прощаются, не простившись ни разу. Такой захлёб! Таких чувств! Старому человеку не под силу.

Запах ее духов – дымный, тревожащий, легкого касания крыло – притягивает и не отпускает. Принюхивается Бублик к непривычным ароматам, поглядывает внимательно девочка Ая, чуткое создание, обеспокоенная благоуханиями, задумывается ликующий старик, озадачен сверх меры старик опечаленный.

– Дедушка, – в молчании спрашивает Ая, – ты ее выдумал, дедушка?..

Начинается новый день, в котором Финкель взлетит в заманчивые эмпиреи, а возвратившись оттуда, сообщит соседям об увиденном, дабы удивились, позавидовали, примерили к себе кому что покажется...

#### 4

Пробуждаясь, он расслышал под утро натужливый храп, который его огорчил.

– Кум, Пин-кель... – призывают птицы. – Кум-кум...

Легко сказать: «Вставай, Финкель, вставай...» Пройти бы в легком касании до последнего часа, посреди цветов и колосющихся трав, в наваждениях апельсинового дурмана, – усталость обвисает поутру мягкой неодолимой рухлядью, словно напялили на него драповое пальто до пола на стеганой подкладке, застегнули по горло на костяные пуговицы, вздернули воротник выше ушей, нахлобучили по брови тесную шапку-ушанку, тесемки затянув удавкой, руки засунули в ватные рукавицы, ноги – в тугие, неразношенные ботинки с галошами.

Голову не поднять, пальцем не пошевелить, день не отбыть до вечера. Туман в мозгах, вялость мысли, омерзительное ощущение тупости. «Не люблю себя, тугодумного...» – стонет ликующий старик. «Не терплю себя, неподъемного...» – кряхтит старик опечаленный. В этом они единодушны.

Пошел к врачу, пожаловался:

– Перехожу на зимнее время жизни.

Тот взглянул без особого интереса:

– Разъясните.

– Всяким утром. Нет давления крови. У кого-то оно есть, у меня нет. Ощущение такое, что подняли с постели, а разбудить забыли.

Врач сказал:

– Пошлем вас на обследование, но оно ничего не покажет. Просто вы устали. Не вы один.

Отправили его на проверку, поставили на движущуюся ленту, и Финкель зашагал, обклеенный датчиками. Шел, дышал, потел помаленьку, получал удовольствие.

– Стоп! – скомандовала женщина в халате и остановила ленту. – Пульс – сто сорок два. Больше нельзя.

– Еще... – взмолился в задыхе, на частом дыхании. – Давайте еще... У меня, между прочим, молочный зуб сохранился. Даже два. Учтите непременно...

Но женщина была неумолима. «Мотек, – сказала, – сладкий ты наш! Дофек – сто сорок два, не больше». – «Мотек, – повторил на выходе, – у тебя дофек», и смирился с ограничением, которое не одолеть. Выписали ему витамины к уменьшению умственной усталости, посоветовали: «Дышите дальше», и Финкель стал осторожничать, стараясь не спугнуть малые силы, которые ненадолго притекают после чашечки кофе.

Пошел к другому знатоку. В клинику «Порхания души и тела». Заплатил денежку.

– Какой-то я никакой, доктор... Ложусь старенький, встаю не молоденький. Зачем тогда спать?

Знаток выслушал его, тяжело вздохнул:

– Вам надо взмывать. Воспламеняться духом. Витать в эмпиреях – полезно для самочувствия.

И записал на бланке: «Один взлет, одна посадка. Раз в две недели».

Финкель повертел в руках рецепт, сказал задумчиво:

– Знал я такого летуна. В прошлой жизни. Кричал после второго стакана: «Порхать! Желая порхать!.. » Вышагнул в окно с девятого этажа.

– Это не ваш случай, – успокоил специалист. – Не ваш. Стремление в небеса – его следует пробудить.

В дверях Финкель замешкался:

– Если честно... – признался, – во сне я взмывал.

– Вот видите! Верный тому признак.

– Давно было. Очень давно.

– Неважно. Навыки быстро восстанавливаются. Стоит начать.

– Вы так убедительно говорите. Вам хочется верить.

– Верьте, верьте! Разбежался, набрал высоту – и в полет. Над морем. Над горами Моава. Преодолевая силы притяжения и государственные границы.

Финкель пошел из кабинета, но сейчас же вернулся:

– Давай вместе. В те самые эмпиреи. Вместе не боязно.

– Рад бы, – ответил исцелитель душевных недугов, – да некогда. Двадцать человек на порхание. Следующий!

На выходе Финкель углядел объявление: «Добавлены вечерние часы приема. Для экстренных случаев». Порадовался. Сказал себе:

– Жизнь стала лучше для экстренных случаев. Для экстренных случаев жизнь стала веселее.

## 5

Хамсин беспокоит еще на подходе.

Природное изменение стихий, которого не избежать.

Нечто жаркое, неодолимое натекает из Аравийской пустыни, заряжает беспокойством воздух, людей, животных и растения, накапливает в них заряды, требующие немедленной облегчающей разрядки, – каждому достается свое.

Девочка Ая затихает на коленях у медведя.

Ото-то впадает в тихое неповиновение.

Птичьи хулиганы безобразничают на балконе, не унять зернышками.

Приблудная собачка Бублик распластывается на плиточном полу, мордой на лапах, не желая шевелить хвостом.

Папа и мама препираются без смысла, дотошно, придирчиво и зло:

– Что я? Ну что?.. Что опять не так?

– Всё не так. Всё!

– Что всё? Ну что?..

Мама Кира молчит в затаенной обиде, долго, упорно, неподступно – это у нее хорошо получается, а папе Додиду ее молчание нестерпимо, папа начинает бегать по комнатам, пинать ногой мебель, выговаривать негожие слова, каких не найти в порядочных словарях.

Хамсин тревожит и Финкеля. Берет книгу, подкладывает подушку под голову, но всё-то ему неладно, не сидится в постели, не читается, не думается. Ноют его локти. Ноют колени. Мысли створаживаются в голове, настроение становится похухлым без видимых на то причин, небо провисает над домом заношенное, занавешенное половыми тряпками, серыми, посекашимися, годными лишь на выброс. Что это означает? Это означает: пора готовиться к полету. В те высоты, куда не терпится вознестись.

Воображение – его утеха.

Устремления неизбывные.

Ограниченный в средствах не ограничен в фантазиях.

С этим не согласен папа Додик, не согласна мама Кира, но Финкель упрям, его не переспоришь: кому много дано, тот, как известно, обходится малым. Встает с постели, пьет кофе, набираясь сил на дорогу, укладывает пару рубашек в чемодан на колесиках, выясняет сводку погоды на подступающий день.

– Простите, – говорит. – Я прослушал. Повторите еще раз.

Диктор отвечает с охотой:

– Для Гур-Финкеля повторяем: день безоблачный, видимость прекрасная. Самое время на взлет.

Под апельсиновым деревом – под оранжевыми его плодами – стынет реб Шулим, выглядывая наружу из сокровенных глубин. Уединился, чтобы не растратить остатки чувств? Замолчал, их уберегая? Глокает и глокает воду из бутылки, смывая не слово – крик, рвущийся на волю...

«...реб Шулим закрыт на переучет эмоций. Сколько потрачено за жизнь радости и ликований, сколько уберег предвкушений и страданий, на что пошли гордость с доверием, что делать с остатками стыда, злорадства, чувства неудовлетворенной мести, на кого излить последний восторг, нежность, умиление...»

Реб Шулим не верит в закон всемирного тяготения.

Финкель тоже не верит. Поверишь – не взлетишь.

Птицы суматошатся на деревьях, не желая расставаться: «Киш-куш, Пинкель, киш-куш...» Опечаленный старик остерегает: «Не поддавайся игре, дурень, не заигрывайся! Уведет в такие дали, откуда нет выхода, заморочит и бросит». Но ликующий старик с

ним не согласен, Финкель не согласен тоже. Шагает к автобусной остановке, вызывает к каждому напористо, без звука:

– Посмотрите в эти глаза, не знающие помутнения. Приглядитесь к этому мужчине, который чуток, пытлив, восприимчив. Прислушайтесь к биению его сердца, мышца которого сильна и неутомима. Спина прогнута. Ноги упруги. Живот подобран. Походка легка, широка, можно сказать, летуча, ибо подошвам незачем касаться земли. Заговорите – он ответит улыбкой, шуткой, легкой необидной иронией. И не уступайте место в автобусах, не надо: этот человек может еще постоять. А теперь скажите, положи руку на сердце: разве можно предавать земле столь удачный экземпляр, которому доступны вздыхания с возлияниями? Разве это не потеря для человечества? И вам придется признать со вздохом: потеря, конечно, потеря, недостача, которую не восполнить. Такому экземпляру – только взлетать...

Женщина разместилась в будке возле автобусной остановки, заполонив ее могучими формами, торгует лотерейными билетами, грудь уложив на прилавок. Не умолкает радио на доступном ей языке; зазывное контральто вещает проникновенно, с волнующим придыханием, с готовностью отдаваясь слушателю на коротких волнах: «В эти дни, когда весь еврейский народ...» Топчется у окошка затруханный мужичок-чирышек: лицо испитое, вихорки на стороны, глазки умоляюще подмаргивают за толстенными линзами, но женщина сурова и непреклонна:

- Все люди как люди... Выпил небось?
- Не, не пил.
- Я тебе шекель давала. Больше не дам.
- Вот он, твой шекель. На него погуляешь...
- Смотри! Деньги целы. Заболел, что ли?

Туфли на босу ногу, мятая майка, штаны на заду мешочком; на плече выколот якорь, через бровь давний шрам.

– Матери послать бы... Долларов двадцать. Душа болит за мать.

– Нет у тебя души, нету! Так я тебе и дала... Опять пропьешь. Господи, хоть бы прибрал малахольного!

А он – рассудительно:

– Навоешься без мужика. Без памяти валяться будешь.

Финкель сидит на скамейке, ждет автобуса. Мужичок пристраивается рядом; глаз у него цеплючий, страждущий, в глазу пугливая надежда на нечаянную удачу, что явится в облике нежданного спасителя со стаканом, потушит пожар в груди. На правах начинающего знакомца задает вопрос:

- Далеко собрался?
- В аэропорт.
- Задает еще вопрос:
- Встречаешь или улетаешь?
- Улетаю.
- Значит, богатый. А у меня шекель – ни выпить, ни взлететь.

Усматривает в собеседнике внимательного слушателя, делится огорчениями:

– Сидели в горнице у бабки Аксины. Пили. Она подносила. Набуровились до самого нельзя! Проспался – хрен шершавый! – во-

круг апельсины с лимонами. В кармане документ: исключительное право на продажу динозавра. Из мерзлых якутских глубин... Как перебрался, не помню. Откуда документ, не знаю.

– Хочется теперь назад?

– Чего это – назад... Корешей бы сюда, бабушку Аксиныю, динозавра на продажу – такое у меня мечтание.

Разглядывает со вниманием собеседника, говорит, примериваясь:

– Вроде старый, а еще еврей...

«Деточка, – упрасивала бабушка Хая, – не ругай глухого». Финкель не ругает. Ему подай только повод, и он в размышлениях: остаться евреем среди неевреев – дело нехитрое, всяк припомнит со стороны, но как сохраниться евреем среди евреев?

Оставляет вопрос на додумывание, прикидывая в вечных своих изысканиях: «Аксиныя – не просто бабка, но вещая знахарка, ворожея-шептунья, способная смыть порчу наговорной водицей, присушить-оморочить. Заговаривает от блудной страсти, от остуды мужа к жене, винного запойства, затворенной женской утробы, от потопления в реках, половодьях, зыбучих болотах, а также от баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Такая всё сумеет без особого труда: свести луну с неба для домашней надобности, переманить огурцы с чужого огорода на свой, яблоки из соседского сада, жену с мужней постели. Даже перенести через таможни с динозавром в кармане».

Теперь всё понятно.

Автобус отходит от остановки. Мужичок на скамейке вздыхает вслед:

– Матери бы послать... Долларов пять. Душа болит за мать.

А из приемника доносится голосом радиослушателя, который выговаривает сокровенное: «Вера – это бензин нашей души...»

## 6

«...мир полон мифами, легендами, фантастическими сказаниями, несопоставимыми с житейским опытом, а значит, полон чудесами, вознесенными над нашим пониманием, тайнами глубин запредельных – стоит приглядеться, прислушаться, заглянуть в те убежища, где они скрываются от неверия и насмешек...»

Первым автобусом до городской станции.

Вторым – в аэропорт, через горы-долину.

Когда ты в автобусе, покойном, вместительном, на легком ходу, кажется, что никуда не спешишь. Торопятся те, которые тебя обгоняют, но что им доступно на скорости? Асфальт под колесами и малые пространства по сторонам. Ты же вознесся высоко на своем сидении, возле широкого окна, видишь дальше и больше этих, шустрящих понизу.

Финкель располагается спиной к движению, темные очки прикрывают глаза – рассматривать без помех лица попутчиков, а не тыкаться взглядом в затылки, одинаково непробойные. «Слушайте все! – возглашает ликующий старик, страстен и кипуч. – Этому человеку многое еще интересно и кое-что доступно. Женщины проявляют к

нему интерес, он проявляет к ним». Возражает его сожитель, уныл и занудлив: «Что ему доступно, что? Мужского естества на пяточок». – «Хоть на копейку – следует потратить». – «Только через мой труп!» – восклицает старик опечаленный, не надеясь на близкие радости. «Не разбрасывайся нашим трупом. Он еще пригодится».

И вот женщина через пару рядов, собою недурна, место около нее не занято. Ах, что за жеманница в кольцах-серьгах-ожерельях! Брови подведены, ресницы начернены, ноги с дерзким подъемом выставлены для обозрения, ногти в кровавом маникюре оцарапывают на расстоянии, благоухание ее духов в перламутровом, не иначе, окрасе утягивает туда, откуда нет и не будет возврата. Выслушивает по телефону нечто завлекательное, розовеет, польщенная, отчего приоткрываются пухлые, зацелованные губы, выказывая кончик языка, подрагивают округлые колени, вызывая у окружающих смутные поползновения.

«Охладись, Финкель. Это не для тебя». – «Ну почему же...» Встать, подсесть рядом: «Есть ли у вас друг? » Ответит: «У меня есть муж». – «Я спросил про друга». Задумается: «Нет... Друга нет». И тогда – головой в омут: «Милая моя, я не нахал. Но от жизни осталось всего ничего, оттого и спешу». Откликнется напевно, завлекая по неизбывной привычке: «Старичок, ты чудо». Ответит: «От чуда слышу», – и засомневается, ибо подобное кем-то уже придумано, записано, издано, прочитано и не одобрено.

А дальше... Что дальше? Увлечь разговором, впечатлить намеками, поразить суждениями: «Господи, до чего он неотступен!...» – Финкель не трогается с места:

– В нашем возрасте нельзя промахнуться и получить отказ. Это ускоряет угасание чувств.

Раз в месяц – а то и чаще – Финкель едет в аэропорт на собственные проводы, восторгаясь и завидуя. Эскалаторы возносят его с этажа на этаж. Туда, где высокие окна. Плиточные надраенные полы. Внимательные охранники. Курить нельзя, с оружием тоже нельзя, остальное, должно быть, можно.

Выбирает на табло заманчивый рейс: Рим, Барселона, Пекин, Гонконг, Мумбаи... Самолет взлетает и сразу пропадает в облаках. Белесая муть за окном. Дождевые струи по стеклу. Ликующий старик набирает высоту, пробиваясь в синеющую бездонность; радуга красочным обещанием раскидывается на его пути, остальное довершит чудо. Он влетает под радугу, в неопробованное надземелье без границ-очертаний, высматривая с высоты места покоя и озарения, где нежаркого касания луч, нестойкого аромата слива в цвету, эхо от негромкого возгласа: «Я не горжусь тем, что выбрал для проживания этот мир. Я ему рад».

Его кормят в самолете. Ублажают. Показывают кино. Завлекают беспощинной косметикой. Ему улыбаются красотки в фирменных нарядах, облегающих женские прелести; штурман объявляет по бортовой сети ко всеобщему переполоху: «По просьбе пассажира Гур-Финкеля меняем направление полета...»

Неозначенный рейс, рейс по его желанию: внизу проплывают Альпы, Пиренеи, Сьерра-Невада, величавые кучевые завалы, следующие за дуновением ветров, разъятые дали, развёрстые глубины – кинуться вниз с распростертыми руками, взмывая на батуте,

воздушной туго натянутой простыне, перелетая с облака на облако, телом впечатываясь в собственную тень. Глубина небес. Широта обзора. Миг – вместительный без меры, чудом, явленным за гранью воображения, выжатый до капли в немом потрясении; всякий день в поисках такого мига, из которых складываются понимание, прозрение, накопленные не по возрасту минуты бытия.

Вдоху не насытить легкие, их насыщает восторг. А опечаленный старик глядит вослед, запрокинув голову, грустит в меру, сожалеет и беспокоится:

– У каждого есть место, куда не следует направляться. Ничего путного из этого не выйдет. Забудь про Индонезию, Финкель. Про Китай позабудь, Таиланд с Бирмой. Полетишь – пропадешь. Где ты теперь, Финкель? Отчего запаздываешь?..

## 7

Раз в месяц, не реже, Финкель встречает самого себя. Встречать – не провожать: дело иное.

Эскалаторы – в бережных ладонях – опускают его в зал ожидания. Вода стекает по прозрачным плитам. Под потолком провисают воздушные шары приметами давних восклицаний: «Дедушка прилетел! Дедушка!..» Неспешно проходят стюардессы, очевидно, к самолетам, которым на взлет. Финкель выбирает город, откуда стоит возвратиться: Цюрих, Милан, Бостон или Шанхай... Рейс задерживается, и он идет пока что в кафе, заказывает кофе, бутерброд с сыром.

Перерыв между приземлениями. Томительное ожидание. Никого нет в залах, некого пока и встречать. Музыка тихая. Девочки приветливые за стойкой. Запахи свежей выпечки: булочки с яблоками, с маком, бурекасы и круассаны, заманчиво разложенные на прилавке. В магазине подарков, на витринном его стекле выставлены наклейки, которые стоит прилепить на автомобиль: «Да умрут завистники!», «Не храпи за рулем!», «Осторожно! Путаю педали». Негромкий голос из динамика ворожит-заманивает: «Don't worry. Be happy...»

Мужчина в темном халате подкатывает тележку, где размещаются тряпки, щетки, бутылки с моющими составами, рулоны туалетной бумаги. Присаживается неподалеку, укрывшись за столбом, подмигивает Финкелю:

– Передохнуть тоже требуется...

Явно из России. Явно с образованием. Книги листающий, стихи запоминающий, песни распеваящий под гитару. Волосы в проседи. Очки в черепаховой оправе. Взгляд внимательных глаз. Человек старомодного двубортного покроя, который не упрятать под халатом блюстителя чистоты. Хочется поговорить с земляком, и он начинает:

– Встречаете?

– Встречаю.

– Меня тоже встречали. Родственники. Много родственников. Они сразу сказали: «Гриша, твоя профессия здесь не нужна. Забудь про нее. Чем скорее, тем лучше».

Финкелю требуется побыть в тишине, но надо поинтересоваться, хотя бы из вежливости:

– Какая у вас профессия?

Отвечает с достоинством:

– Перед вами туалетный служитель, в прошлой жизни инженер-механик. Кто от сохи, а я от болта с гайкой. Приехал, огляделся вокруг: хайтек, хайтек, сплошной хайтек... – кому нужен механик, да еще с сединой? Пришел в аэропорт, говорю: «Вот человек, способный на всё. Только обучите». Меня и приставили к тележке: невелика наука, невелики доходы.

Молчит. И Финкель молчит.

– Мне бы пораньше приехать, выучиться на что-нибудь путное – родители жены не давали разрешение на выезд, год за годом отказывали изменникам родины. Потом посветлело, двери открылись наружу – явились мириться, принесли вафельный тортик за рубль двадцать; теща сказала: «Хотели еще шампанское купить, да вы бы на порог не пустили? Чего добру пропадать?».

– Где они теперь? Родители жены?

– Здесь. Где же еще?

За дальним столиком затаился одинокий мужчина. Бородка клинышком, огромные квадратные очки, просторная блуза, приплюснутый к уху берет. Рассматривает Финкеля, прихлебывая кофе, сосет потухшую трубку, выстукивает затем на компьютере – не иначе сочинитель, Фолкнер-Хемингуэй. Какую судьбу ему готовит? В какие истории вплетает? Время действия – утро. Место действия – аэропорт. Пустынное кафе в запахах кофе и свежей выпечки. Старичок, издавна утихший, встречает старушку с дальнего рейса на исходе долгой совместной жизни. Такие милые, такие дружные, такие пенсионеры: встретятся, расцелуются, пошагают к автобусу рука об руку. О чем они заговорят у Фолкнера-Хемингуэя, если всё переговорено? Какие трагедии разыграют в его компьютере?.. «Be happy. Don't worry...»

Туалетный служитель с опаской выглядывает из-за столба, но в зале пусто, можно посидеть еще чуточку.

– Водил сына в цирк. Жонглер крутился на колесе, забрасывал на голову чайный сервиз: блюдце, чашку, еще блюдце, еще чашку, еще и еще, в конце, под аплодисменты, кусочек сахара. Сын сказал: «Тоже пойду в жонглеры. Или овец пасти», а я ему: хайтек, хайтек...

– Цирк... – Финкель прикидывает с интересом: – Музыка, цветные прожектора, шпрыхсталмейстер во фраке, блески на блузе... В повара пускай не идет. Ты стараешься, готовишь, раскладываешь на тарелках разварную форель, картошечку ломтиками, пару маслин, дольку лимона, листик петрушки, щепотку розмарина для духовитости, а они ткнули вилками – раз! – и порушили.

– Для духовитости... – повторяет туалетный служитель, как смакует слово. – И в парикмахеры. Тоже не надо. Ты стрижешь, укладываешь, освежаешь одеколонами – шапки надели и смяли.

Улыбаются, довольные разговором. «Ты это уже написал, старый склеротик! – возмущается старик опечаленный, пихаясь локтями. – Про повара с парикмахером! Напечатал в журнале сто лет назад. Получил денежку...» – «Он написал, – соглашается ликующий старик, – да они-то не знают! Кто его вообще читал? Где и зачем?..»

Разговор продолжается.

– Сын теперь после армии, решает, чем заняться. Говорю: «Поезжай туда, откуда тебя привезли. Погляди на наше вчера». Уточнил: «На ваше, не на мое». Вернулся, сказал: «Цветов на улицах нет. Я без цветов не могу». Мы с женой даже обиделись: «Как это нет? Были цветы. Возле памятника Ленину».

Смотрит невесело:

– Разве хорошо, когда у родителей с детьми разное прошлое?

Встает. Пожимает руку хорошему человеку:

– Всякий день здесь. По восемь часов. А они взлетают и взлетают... Я даже прикинул: за восемь часов можно долететь до Бангкока с Сайгоном. Прибавить еще немного – тут тебе и Сингапур, Куала-Лумпур, острова Тихого океана...

Укатывает тележку с тряпками, щетками, туалетной бумагой:

– Господи, на что расходует бессмертные души! Может, и правда, лучше в джунглях.

Финкель доедает бутерброд, допивает кофе:

– Души бессмертны лишь в нерабочее время. Должно быть так.

А из динамика тот же голос, заново, опять заново – в магнитофоне нет иных пожеланий: «Don't worry. Be happy...»

## 8

Самолет выпускает на подлете шасси, слегка подпрыгивает при приземлении, катит по полосе. Спускаются по трапу граждане, допущенные к поселению на этой земле; лишь характерные черты лица – да и то не у каждого – хранят память, лишь они.

– Живые тоже порой мертвы, – уверяет Ривка, соседка по лестничной площадке. – Но они не знают о том. Не желают знать.

Раскрываются двери в зал ожидания. Пассажиры выкатывают тележки под приветственные вопли встречающих. Вскрикивает в волнении старушка, подслеповато вглядываясь в лица:

– Упустила! Ах, упустила!..

Суетливый мужчина путается в проходе, трогает за плечо, отскакивает:

– Упс! Ошибочка... – редкие волосы рассыпаются, открывая для обозрения бледную лысину.

Выходит из дверей иссохшая женщина в темных одеждах до пола, в темном головном платке, заостренная от горя, берет под руку мужчину; шагают молча, строго, не глядя по сторонам, – траур, не иначе траур по близкому человеку. Монах – ростом огромен, плечами широк, черная сутана до пола – шагает так, словно выпущен из лука, буйная седая шевелюра подчеркивает дюжесть, неодолимость, напор; в завихрениях его стремительности увлекается, не поспевая, стайка богомольцев с вещами.

Но вот и Финкель приземляется: туристская шапка с козырьком, чемодан на колесиках, цветок в петлице, сорванный в Гонолулу, Аддис-Абебе, на островах Фиджи или Самоа. Говорит встречающим:

– Здравствуйте, вот он я! Как же вы обходились без меня? День. Час. Минуту...

Сам и отвечает:

– Плохо нам было. Без тебя – никак.

Ликующий старик под руку с опечаленным шагают к автобусу, радуясь воссоединению.

– Что так долго?

– Набегался. Насмотрелся. Про тебя позабыл.

Ая сидит у окна в ожидании его возвращения, высматривает беспокойно. Ото-то топчется у автобусной остановки, возвышаясь над всеми, слишком приметный для обидчика, готового обхихикать слабоумного. Финкель улетает, и Ото-то огорчается – слеза из глаза. Финкель возвращается – идут в обнимку, старый под мышкой у молодого.

– Говори! – умоляет. – Где жил? Что ел?

– Жил в гостинице. Номер крохотный, по деньгам. Ванная комната узкая-узкая: чистишь зубы – локоть стучается о стенку...

«...кстати, о зубных щетках, – вмешался бы незабвенный друг. – Потрясающая деталь! Для рассказа! Союз писателей может постоять за дверь!» – «Какая деталь?» – «А не украдете?» – «Ты что!..» – «В ванной. У моего героя. Десяток щеток в шкафчике. На каждой помечено: Вера, Валя, Галя... Которая останется до утра, та и пользуется своей щеткой». – «Надуманно, Гоша. Нереалистично». Фыркнул бы с небрежением, угольные тараща глаза: «Да у меня у самого семь щеток в шкафчике: Саша, Даша, Глаша...»

После полета у Финкеля прибавляются силы, и они дружно шагают по лестнице, отмахивая руками. На третьем этаже срывается дыхание, дальше едут в лифте до верхнего этажа, поднимаются по ступенькам еще на полпролета, утыкаются в запертую дверь с рукописным плакатиком: «Входящий! Уважай покой этого места». Звонки старинного образца вделан в дверь, Финкель озаботился; на звонке помечено: «Прошу повернуть».

Там они живут.

Не каждого к себе пускают.

Прилетит ангел смерти, покрутит ручку звонка, подивится на его дребезжание, а из квартир закричат: «Вы не туда попали!..»

## 9

Ривка-страдалица, их соседка, засыпает под утро в своей постели.

Всякий раз под утро.

Пугает ее темнота. Тревожит мрак за окном, многорукий и многоглазый, в отсветах дальних фонарей. По ночам Ривке кажется, что кто-то неусыпный, острозубый подгрызает ее, чтобы завалить – подобно кипарису в Галилее, возле их дома, который упал под тяжестью льда со снегом, выказав мощное переплетение корней. Взгромодили валун на то место, обтесали грань, поместили несмываемым цветом: «Здесь стоял кипарис, без которого нам грустно».

Больные ноги. Непослушные ее руки. Ривка не желает умирать во сне, не заглянув напоследок в глубины небес, оттого и лежит с открытыми глазами до рассветной бледноты за окном, постанывает в душевном утеснении, ибо трудно человеку жить, еще труднее доживать.

Сказала Финкелю:

– Уходить не страшно. Есть, видно, резон, нам недоступный.

Сказал в ответ:

– В будущем научатся обходиться без смерти и обнаружат, что стало чего-то недоставать. Им-то откроется смысл ухода из жизни, но будет поздно.

Сказала, как согласилась:

– Нет смерти, нет и печали. Скорби тоже нет. Взгляда вослед – ожиданием неперенной встречи. Всё будет понарошку: болезнь, старость, боязнь за детей-внуков. Следовало бы порадоваться, а они заплачут.

Сын Ицик навещает нечасто, с женой и внуком Рони.

Ицик стеснен расходами – не вздохнуть, точнее, стеснен доходами, чего жена ему не прощает. Неуступчива в мелочах, скрытна, уклончива, слова поперек не терпит, не согласна даже с теми, которые ей поддакивают. Ицик попросит: «Свари суп фасолевый», скривится с небрежением: «Кто ж его ест?» Вскинется: «Друзей позовем!», губы подождет сурово: «Нечего баловать». На важные встречи – в банк или к адвокату – берет для солидности мужа и обрывает, когда Ицик встречается в разговор: «Что бы ты понимал...»

– Мать, не обижайся, – шепчет Ицик.

– Я не обидчивая, – отвечает. – Я памятьливая.

Кто же откажется от прошлого?..

Дождь за окном, который не по сезону. Шальное облако провисает над домом, тяжелые капли пощечинами бьют по черепице, размеренно, не спеша, за какую-то провинность.

Птицы разъясняют:

– Тиф-туф, Ривка... Тиф-туф...

– Куми, Ривка... Кум-куми...

Это уже не птицы – крохотная филиппинка, обликом похожая на медлительного лемура, которая кормит ее, моет, перестилает белье, взбивает подушки к облегчению скорбей. Плохо говорит на здешнем языке, хорошо понимает; голос ее подобен чириканью за окном, не беспокоит – не отвлекает: пора открывать глаза.

Сын сказал:

– Что-то часто ты стала болеть.

Ответила:

– Не говорят правду немилосердно. В моем возрасте от этого дряхлеют. От жалости дряхлеют тоже.

И бурно состарилась.

Жили они в Галилее, неразлучные Ривка-Амнон, как жили, так и ели: в добрые годы сытно, в скудные – впроголодь. Выращивали апельсины, яблоки, авокадо; Амнон ходил возле деревьев, задрал голову, наливался гордостью, высматривая созревающее богатство: «Шекель... Еще шекель... Еще... Нет, ребята, не прокормиться на асфальте!» По утрам, затемно, она поднималась первой, варила овсяную кашу, густую сытную кашу на молоке перед началом нескончаемой работы. Говорила Амнону:

– Встанешь с постели, выйдешь на кухню – нет для тебя каши. Значит, я умерла.

Змеинный страх заползал в их сердца, и она торопливо добавляла:

– Но случится оно нескоро, нескоро... Прежде научу варить овсянку.

Сидели – коленями в колени, глядели – глазами в глаза. «Облегчи, – шептала в ночи. – Ну же...», он облегчал к обоюдной радости. На полянке расцветали в избытке иван-да-марья, поздешнему «Амнон и Тamar», – соседки советовали Ривке сменить имя для полного соответствия. Дни проходили в заботах; дальше Хайфы не выезжали, не было на то желания, да и хозяйство требовало присмотра, ибо кормились от плодов земли. Уважали хоровое пение с неумемной затейницей на экране, подпевали, взявшись за руки: «Спасибо за друга, за свет в глазах и смех ребенка, спасибо за всё, что Ты нам дал...»

– Что требуется от жизни? – говорил Амнон. – Побольше благодарности. Каждому по его заслугам.

Ривка с ним соглашалась. Вот они, налицо, их заслуги и благодарности: дом, хозяйство, авокадо на ветвях, – им бы еще пожить, глазами в глаза, но Амнон заболел, всё потихоньку захирело, завалилось, усохло; листва осыпалась без полива, с поливом тоже осыпалась. Не хотел добровольных помощников, не пускал наемных работников: «Глазами бы всё сделал, да сил нет. А они нарабатывают не так...»

Амнона похоронили на сельском кладбище.

Посреди цитрусовых насаждений, осыпающих по весне лепестками.

На камне поместили: «Амнон, муж Ривки», так он пожелал.

Дом загрустил без хозяина, тихий, задумчивый, погруженный в невеселые думы; поскрипывал по ночам, поскуливал, четками перебирал воспоминания. «Бог сбрасывает в океан сорок пять потоков слез, которые заставляют мир содрогаться». Весомая слезинка – по Амнону.

«...Боже, взгляни мне в глаза! Ответь, Боже: кто встретил там моего Амнона? Кто вышел ему навстречу, подал чистое полотенце отереть пот с лица, сварил для него овсяную кашу на молоке? Забери меня, Боже, и мы с ним наговоримся, наработаемся, надышимся – только позволь...»

Жизни не стало без Амнона, утратилась способность удивляться, истаяли чаяния и надежды. Сношенное тело. Сношенные чувства. Ривка переехала в город, где живет Ицик, но здесь и рассветы запаздывают, дожди утекают ручьями через сточные решетки, не оросив поля, обездоленная почва закатана черным панцирем и не белеет гора в отдалении, покрытая снегом. Кашу варит ей филиппинка, с которой не поговоришь по душам, не споешь на два голоса: «Спасибо за друга, за свет в глазах...» Ривка тоскует на последнем этаже, повторяя слова Амнона: «Не прокормиться на асфальте...»

Сказал Финкель:

– Я – человек с асфальта. На нем родился, с него уйду.

Сказала Ривка:

– Душа твоя наша. Плоды приносящая.

– Не наши – они кто?

– Дремучие, чащобные, в норах, оврагах, буреломах, с тайными недоговорами. К ним не притиснешься. С ними не разживешься.

Ривку огорчают дни, недожитые с Амноном; в бессонные ночные часы она заполняет их радостями, которым не быть.

– Мир жесток к нам, теперешним. Болезнями, затоплениями, трясением земли, прочими бедствиями, народами претерпеваемыми. А мы жестоки к себе.

## 10

На лестничной площадке стоит столик со стульями, картинки по стенам, лампа под голубым плафоном. На столике электрический чайник, чашки, сахар-печенье, в углу кадка с пышной геранью, за окном россыпь огней по холмам – светящимися фишками, раскиданными наугад, единым броском, в надежде на выигрышный расклад.

Они живут под крышей выше всех в доме, а потому огородились дверью от суетного мира, где умножается скорбь, сотрясаются тела и души, затоптано то, что требует бережного касания, измызгано и отброшено за ненужностью в мерзости запустения.

Дурь прёт от четырех концов света, зависть с корыстью, злоба натекает из окрестных земель, подпугивая неизбежностью, чумой тлеет до случая, холерой с проказой – негасимым огнем в глубинах торфяника. Нет доверия ближнему ненавистнику, нет доверия дальнему: у этих своя неправда, у тех своя; где-то подрастают поколения, которым заповедано убивать словом, пулей, зарядом, не заповедано утешать и излечивать. Станет ли завтра надежней, чем сегодня? – а они затворяются на лестничной площадке к доверительной беседе, пьют чай с мятой в уюте и покое.

Папа Додик удостаивает порой вниманием. Мама Кира. Забегает Хана с нижнего этажа, утихомилив своих сорванцов. Девочка Ая выносит на площадку белого медведя, приبلудная собачка укладывается у ее ног; Ото-то пристраивается возле Финкеля, стул к стулу.

На стене висит акварель «Тюльпаны в противогазах». С тех времен, как прилетали ракеты из Ирака. Ликующий старик постарался, изобразил цветы сообразно умению, старик опечаленный заключил их в газовые маски, обратив в пуганых глазастых пришельцев, которым увядать до срока. Сказал с экрана араббеженец, заморенный, бедой гнутый: «Дом мой под Хайфой, сад, могилы дедов. Я там родился – Алла акбар! – туда и вернусь. Хочешь говорить о мире, говори с моим сыном. Он родился в Ливане». Сказал старый еврей в изнурении от потерь, в тяготах доставшегося времени: «Живу под Хайфой, в твоём, может, доме. Там мы поселились – Бог милостив! – когда бежали из Ирака, тоскуя по могилам в Басре. Мой внук уже не тоскует. Хочешь говорить о мире, обратись к моему внуку».

Открывают дверь в Ривкину квартиру, подкатывают к выходу кровать. Ривка болеет не первый месяц, но всё знает, обо всем наслышана; крохотная филиппинка при ней – одомашненным зверьком на стуле, готовая в нужную минуту прибежать на помощь. Временами Ривка затихает за дверью, филиппинка вскидывается в беспокойстве, а она бурчит недовольно: «Живая пока... Я жи-ва-я». И правда, куда ей спешить? В могиле не поумнеешь.

А радиоволны накатывают и накатывают на дом: по одним горе проливное, по другим сомнения с опасениями. «Нам хорошо, – разъясняет Финкель. – Мы под крышей. Ветрено во всякое время. Ветер силен на высоте и отгоняет последние известия, от которых не дождешься радости». Можно улыбнуться на его слова, пощурить в насмешке глаз – Ото-то верит старому человеку, ему по душе посиделки с печеньем и сладким чаем, где слабоумного мужчину держат за равного.

Кто знает – рассказывает истории. Кто не знает – слушает.

– Верона... Поведаю вам про Верону. На реке Адидже. К западу от Венеции. На железнодорожной ветке Падуа – Виченца – Брешия – Милан.

– Верона – она где? – спрашивает Ая.

– Верона в Италии, – уточняет Финкель и продолжает: – Мосты через реку – я их перешагал. Понте Нуово, Понте Д. Витторио, пятиарочный Понте Пиетра, трехарочный Понте Скалигеро, зубчатый поверху, по которому попадаешь в Кастельвеккио, замок четырнадцатого века.

Ото-то вертит головой, приоткрыв от усердия рот, мысли снуют мурашами, не находя пристанища:

– Не надо столько. Я запутался...

Финкеля не остановить:

– Базилики. Римский амфитеатр. Пьяцца Бра. Пьяцца Каррубио. Пьяцца Эрбе, в двух шагах от которой мало видная улица Виа Капелла. И на той улице... Дом номер двадцать семь...

Держит паузу, подогревая интерес.

– Говори. Чего молчишь?

– И на той улице... В том доме... Балкон, на который взлетал Ромео. Повидать Джульетту.

– Джульетта – она кто?

Финкель произносит с чувством, по-русски:

Как белый голубь в стае воронья –

Среди подруг красавица моя...

– Переведи, – требуют.

– Если бы я мог.

Пересказывает печальную историю, они слушают, кивают головами, филиппинка тоже кивает.

– В монастыре капуцинов, в сводчатом его склепе, стоит опустелый саркофаг; в нем – по слухам – похоронили Джульетту, а возле нее Ромео. Что погибли от великой любви и неукротимой ненависти.

Ненависть – она рядом, каждому известна по неутешным потерям; про великую любовь не всякий наслышан.

– Мне... – интересуется Ая. – Нельзя ли с тобой? В ту Верону.

– Пока нельзя. Подрастешь – полетишь.

И она подрастает с надеждой.

– А мне? – робко спрашивает Ото-то.

– Не исключено, сосед мой, не исключено.

Ото-то снова озабочен:

– Не растолстеть бы к тому времени, не отяжелеть на взлет...

Слышен вздох, похожий на стон. Стонет Ривка-страдалица, прикованная к постели, которой тоже хочется на взлет, но свое она

отлетала. Ривку интересует теперь одно: кому достанутся недожитые ее годы?

– Говорят, душа после смерти облетает мир из конца в конец. За четыре взмаха крыла. Чтобы обозреть напоследок.

– Ривка, это к чему?

– Пролечу над Галилеей, над домом своим...

Остерегал мудрый рабби, и остерегал не однажды: «Только пучок соломы не вызывает ненависти». Бродит по окрестностям тусклый тип, с души тёмной, комок человеческой слизи со смазкой, гуталинной душой, отполированной, как сапог. Подбирается к их дому, к огороженному покою, принимается, приглядывается – испробовать вкус зла, поселить раздоры, наговоры с пересудами, ввести в искушение и обман. «Вы меня вынуждаете», – страшит на подходе; часы на руке циферблатом книзу: чей срок они отсчитывают? – апельсины на дереве вздрагивают в недобром предчувствии...

Ривка спрашивает обеспокоенно:

– Сколько?

Финкель отвечает:

– Семь. Всё еще семь.

Ночью возопит старик опечаленный, вздымая ладони к потолку: «Имею право! Право имею! На смягчение нравов. При кротости и мудрости правления. И если ради нас создан мир, отчего нет в нем покоя?..» Отзовется ликующий старик: «В следующий раз слетаю в Монтенегро. Ради одного названия».

## 11

Голубь угрелся на подоконнике у приоткрытого окна, в дреме свалился на пол. Мечется по комнате, вызвав всеобщий переполох, врывается в обманное стекло на пути к небесам, опадает без чувств.

– Де-душ-ка... Возьмем?

– Возьмем.

Выносят его на балкон, укладывают в картонную коробку, задирают под стол, убергая от солнца, – сидит, пушит перья, в изумлении потряхивает головой: не иначе сотрясение мозга, который у голубя, возможно, имеется. Ая снова в хлопотах: ставит ему плошку с водой, насыпает зернышки – есть о ком позаботиться.

Через пару часов голубь вылезает из-под стола, шатко ступает среди цветочных горшков, заваливаясь на стороны, взлетает, оклемавшись, – Финкель говорит вслед:

– Ни спасибо тебе, ни пожалуйста... Разве так поступают порядочные голуби?

– Нет – соглашается Ая. – Порядочные голуби так не поступают.

Вечером они выгуливают Бублика.

По окрестным улицам.

Дедушка с внучкой.

Приблудная собачка слушается Аю, одну ее. Девочка обнаружила под скамейкой тощее затравленное существо с непроливной

слезой в глазу, принесла домой, уложила на подстилку; собачка лежала на боку, откинув бесполезные ноги, голос не подавала, ожидая скорого конца в тоскливой покорности. Ая садилась рядом, кормила с ложечки теплым куриным бульоном, гладила, нашептывала ласковые прозвища, та укладывала голову ей на колени и задремывала, всплакивая во сне, ребенком с высокой температурой.

Бубликом назвал ее дедушка-выдумщик, кто же еще? В облике собачки проглядывают следы неразборчивых связей прежних поколений: кривоватые ноги таксы, кудряшки по телу от болонки, вислые уши от спаниеля, пушистый хвост неизвестного происхождения. Когда папа с мамой собираются в путешествие и всё упаковано, Бублик сходит с ума от переживаний, мечется по комнатам, заглядывая в лица, не дает выносить чемоданы – не иначе прошлые его хозяева собрали однажды вещи, уехали навсегда и оставили собаку на улице. Ая берет ее на руки, укачивает, покой нисходит на малое исстрадавшееся создание.

– Эта девочка чувствует чужую боль, – говорит Дрор, сосед по лестничной площадке. – Быть ей хорошим врачом.

Дрор – психолог. Ему многое доступно к пониманию, оттенки и глубины мятущихся душ, Дрору можно верить.

Шагает навстречу доктор Горлонос с первого этажа, видный, холеный, отутюженный, неспешно выкидывает на стороны начищенные штиблеты. Прием у доктора на дому; теснятся в прихожей глухие, сопливые, гундосые пациенты, наполняя ее унынием; Финкель придумывает им прозвища: Чихун Семеныч, Кашлюн Моисеич, Сморгун Соломоныч – внучка тихо радуется.

Доктор Горлонос, вальяжный, снисходительный, взглядывает свысока на непородного Бублика, на невзрачного дедушку с глазастой внучкой, и на поводке у него красавец-спаниель, расчесанный, ухоженный, пахнущий иноземным шампунем. Доктор равнодушен к своим пациентам, равнодушен к соседям по дому, даже фрау Горлонос, тонная дама с изысканными манерами, не вызывает мужских поползновений, и лишь собака пробуждает его чувства.

А спаниель, гордость доктора, обнюхивает без охоты встречные предметы, брезгливо оттопыривает губу, не достаивая взглядом, обида в глазу – не устранить деликатесами и собачьими парикмахерами, словно оповещает всех и каждого: «Вы мне за это еще заплатите...»

Внучка привыкла к тому, что дедушка останавливается порой на улице, кратко записывает на малых листках, но что с ними делает, ей неизвестно.

– Де-душ-ка... Эти листочки – куда потом деваются?

– По ветру пускаю, моя хорошая.

– Самолетиками?

– Самолетиками тоже. Бумажными змеями под облака. Чтобы попали к тому, кто в них нуждается.

– И ко мне, дедушка?

– И к тебе.

Мир полнится сюжетами, достойными упоминания; они бродят по окрестностям, напрашиваются в его рассказы, которые не

развернуть в пространные повествования, не уложить в отпущенные ему сроки...

«...у красавца-спаниеля был хозяин-тупица, искусный в испускании ветров, мастер на липучие шуточки, после которых хотелось отмыться под душем.

Хозяин рыгал, икал, цыкал зубом, вывалив на обозрение мохнатое пузо, к восторгу пса, который обожал это создание, предел человеческого совершенства. И отсчет достоинств спаниель вёл от своего кумира: на самом верху он, блистательный и неповторимый, остальные где-то там, не выше подола.

Умер хозяин, опившись на дармовом приеме, схоронили его по протоколу, под духовой оркестр. Трубачи частили фокстротно, торопясь к скорому угощению, барабанщик грохал тарелками, не попадая в такт, занудливо говорили речи к потехе зевак, а пес-сирота попал по случаю в интеллигентную семью, которая отвезла его к ветеринару и тут же выхолостила, лишив мужской силы. Тоскует по прежнему хозяину, по его иканию с рыганием, жизнь доживая скучную, без порывов плоти, в обиде на прочий мир. Ненавидит безобразное имя Амфибрахий, а было же сладостное уху – Шпунц, что подталкивало к оскалу, прыжку, клацанью зубов: шпу-пу-пунц!

Доктор Горлонос и фрау Горлонос ухаживают за ним, холят и балуют, но он не выносит их учтивые манеры, картины на стенах, хрусталь с фарфором, книги с готическим шрифтом – от застарелой бумажной пыли нападает на пса долгий, неодолимый чих. И всякий раз, когда Горлоносы музицируют с друзьями на скрипках-фаготах, спаниель злобееет до воя в горле, до яростного клокотанья из глубин живота, которое не удержать стиснутыми зубами. Да еще воткнул диск в ненавистное ему сооружение, изрыгающее звуки, внимают благоговейно концерту для ударных: ксилофон, виброфон, маримба, гlockеншпиль, литавры, барабан, фортепьяно. Хоть кто завоюет с тоски...

А пес, между прочим, происхождения знатного, отпрыск благородных кровей, чьи предки получали медали на международных показах. А уборщица, между прочим, хлещет его мокрой тряпкой по морде, что невыносимо и оскорбительно. А Горлоносы, кстати сказать, гордятся его родословной, не подозревая о том, что спаниель презирает их до глубин выхолощенной собачьей души. И всякий раз, заслышав с улицы похоронный оркестр, трубы с тарелками, он начинает гавкать, метаться по комнатам, рвать зубами обивку на креслах.

Впрочем, к здешней жизни эта история относится частично. Здесь не кладут в гроб и не хоронят под оркестр...»

У подъезда к ним кидается Ото-то, хватает за руки:

– Зу-зу! Опять пропала...

Плач по мухе. Неутешные рыдания. Спит ли она? Вылетела в окно? Оплетает паутиной злодей-мухоед, чтобы живой не быть?..

– Она не пропала, – уверяет Финкель. – Сидит в одиночестве, мечтает о том, как отрастают ее крылья, тучнеет тело, заостряется

хоботок, обращаясь в нацеленный клюв. Паутина теперь не страшна. Мухобойки. Липкая бумага нипочем.

Зу-зу исчезала не раз, исчерпав жизненные возможности, – слезы, вскрики, отчаяние неподдельное, которое поддается излечению. Ведут Ото-то в соседнюю лавочку, раскошеливаются на малую сумму, и пока он заедает горе мороженым, ловят очередную муху, запускают к нему в квартиру, кричат в восторге:

– Вот она! Вот же!.. Здравствуй, Зу-зу!

Уловка не на его понимание, и Ото-то бурно радуется, вылизывая любимое лакомство, рот измазан шоколадом с орехами. Время ко сну, и перед расставанием на ночь они блаженствуют на кухне, выставив к чаю лимонные вафли и инжирное варенье мамы Киры.

Друг-муравей суматошится на клеенке, посреди сладких крошек, обезумев от избытка, но он не насыщается, изнуренный заботами, нет, он не насыщается – подхватывает невидную крошку, торопится донести туда, где дожидаются кормильца жена-дети, престарелые родители, дяди-тети, племянник-обалдуй, лентяй и профурсет, которому требуется усиленное питание. Муравей спотыкается о неприметный бугорок, переворачивается на спину, трепыхается, пытаясь извернуться, встать на ноги, но крошку не выпускает, нет, он ее не выпускает.

Финкель рассказывает, прихлебывая из любимой кружки:

– Бывало и так... Зима. Подморозило. Гололед в горах. Машины-автобусы не ходят, но у меня же самолет – вот бы не опоздать.

Девочка Ая любит его истории, самые невозможные; Ото-то они пугают.

– И что? – спрашивает он, а в голове стучат молоточки, ладони потеют от волнения, кожа на спине ершит, ибо вытерпеть неизвестное ему не по силам. – Что-о?..

– Вышел на край города, к началу спуска, подобрал фанерку, сел на нее и помчался вниз по льду, вписываясь в повороты. Столбы по сторонам мелькают, дорожные знаки, народ ахает в изумлении. Скорость огромная, даже фанера задымилась, задымилась брюки, стало жарко, как на утюге, но я перетерпел, я всё вытерпел. Вынесло на равнину, пролетел полдороги до аэропорта и встал.

– Дальше как?

– Дальше бегом. Еле успел на взлет.

Разговорился – не остановить:

– В другой раз ливень, потоки с гор – что делать? Стёк с водами на равнину, успел к рейсу, да зазвенело под аркой, при проверке... Вынимаю из кармана ключи – звенит. Высыпаю деньги – звенит. Снимаю пояс с железной пряжкой – звенит. «Бывает, – говорит проверяльщица. – Это ты, дед, звенишь. Изнутри. Жить, значит, хочешь». И пропустила к самолету.

Ото-то верит каждому его слову, усилия разума недостаточны – осмыслить подобное и усомниться, но Финкель старается передать невозможное, дабы взмывали в надземелье, парили в горних высотах, где воздух разрежен, а чувства сгущены.

Внучки это тоже касается.

Время к ночи.

Ая надевает пижаму, ложится в его постель, просит по обыкновению – не отказать:

– Тебе хорошо. Ты застал свою бабушку. Расскажи теперь про мою.

Над кроватью висит карта Подмосковья для охотников-рыболовов.

– Там мы с ней путешествовали. Ехали на поездах. Плыли на лодках. Шли пешком по полям.

Достает значки из коробочки. Каждый куплен в том месте, где они побывали, на каждом герб города и его название. Рассказывает и втыкает в карту – занятие завлекательное:

– Переславль – озеро Плещеево. Ростов – озеро Неро. Вышний Волочек – озеро Мстино. Углич... Где же Углич? Куда запрятался? Вот он, от нас не скроешься.

Внучка разглядывает на значках льва с короной, медведя с секирой, сказочную птицу на взлете, вёсельную ладью на волне, пушку, изготовившуюся к бою, корзинки для грибов-ягод, расписной домик, в котором хочется поселиться.

– Судогда? Возле Владимира. Коломна? Под Москвой. Жиздра, Киржач, Галич, Юрьев-Польский, Костычи... Где они? Нет Костычей.

Дедушка грустит, растревоженный воспоминаниями. Ая тоже страдает, наделенная отзывчивым сердцем, задремывает под картой, утыканной значками, и дедушка уносит ее в постель. Внучка – последнее творение старого сочинителя; Финкель садится за стол, пишет остережение печатными буквами, отправляет под подушечной почтой для будущего уяснения: «Запомни, моя радость: прилагательные попадают на каждом шагу, существительное надо еще отыскать. Быть прилагательным всякий способен, но это не для тебя, стань непременно существительным. Прилагательные сами набегут, напрашиваясь в попутчики, – отбирай поостроже».

Ночью ее навещают Риш и Руш, карлики из затаившегося города Костычи, что на берегу озера Ньяса, – худенькие, хроменькие, в черноту оранжевые, с повязкой вокруг бедер; постоят, посмотрят, уйдут неторопливо, ничего не сказав. Ночью проявится на потолке сообщение, чуждое и невероятное, которое придет не по назначению, заблудившись в пространствах: «Требуются работники. Возраст – любой. Пол – необязателен. Образование – излишне. Незнание языков предпочтительно. Особые требования: не вмешиваться, пока не просят, молчать, пока не спрашивают».

– О! – не оплошает Финкель. – Стоит попробовать.

Сговорится о встрече в том же сне, посетит сомнительное заведение.

– Наркотики? – спросит. – Отмывание валюты?

Пошурят на него, ответят с небрежением:

– Зачем нам наркотики? Откуда у вас валюта?

– Что же тогда?

Оглядят без интереса, глаза у них желтые:

– Связь с иными мирами. Блуждания по извилинам души. Оздоровление с помощью ангельского вмешательства. Работа сидячая. Доходы до сытости. Вы нам не подходите.

- Подхожу, и даже очень. Возраст – любой. Пол – необязателен.  
 – Говорите много. Когда не спрашивают. Мы вами недовольны. Не нанять ли им реб Шулима? Вечного молчальника?..  
 Телефон вскрикивает, будто подпрыгивает на месте.  
 Шелестение страниц. Голос уже привычный:  
 – «Жизнь стала лучше для экстренных случаев. Для экстренных случаев жизнь стала веселее...» Спите?  
 – Нет.  
 – Почему?  
 – Чтобы не разбудили посреди ночи.  
 – Может, поговорим?  
 – Поговорим.  
 Начинает – в голосе вызов:  
 – Всё еще сочиняете?  
 – Пытаюсь.  
 – На компьютере? Как все?  
 – Гусиным пером. Как Пушкин.  
 – Кириллицу не забыли?..  
 Пауза.  
 – Извините. Нервы играют.  
 Финкель соглашается:  
 – У всех играют. Скажите лучше, откуда приехали?  
 – Откуда и вы.  
 – Когда?  
 Говорит, вслушиваясь в свои слова:  
 – Живу здесь четыре года. Пятый пошел... Пару раз набирала ваш номер, однажды даже хотела навестить. Отдыхала на море, загорала, чтобы лучше выглядеть.  
 Со стеснением:  
 – Женщина всё-таки...  
 – Вы тут...  
 Угадывает вопрос:  
 – Одна. Я одна. Муж работал в институте, весь в секретах. Мужа привезли в гробу, не дали его открыть – может, никого там не было.  
 – Это случилось...  
 – Давно. Очень давно. Слепила заново, по кусочкам, порушенную жизнь, а тут снова рассыпалось на осколки. Да и вы добавили.  
 Дыхание в трубке учащенное, словно давится непролитыми слезами. Вновь листает страницы:  
 – «...Душа после смерти облетает мир из конца в конец. За четыре взмаха крыла. Чтобы обозреть напоследок...» Это как понимать, сочинитель?  
 – Как пожелаете.  
 – Я бы пожелала, да отсюда не долететь. Не взглянуть на оставленное. Да и крыльям откуда взяться?..  
 Падает с ветки первый апельсин, укатывается под куст, и остается их шесть, всего шесть, которые хочется уберечь...

Заканчивается день второй в незавершенности замыслов, когда собравшиеся выдумывали что угодно, кому что понравится, и задавали друг другу загадки, невозможные к разрешению...

## ТИХОЙ СТРУНЫ НАПЕВ

### 1

Весна.

Травенеет сверх меры.

Прорастают в избытке несеяные растения.

Мураши расправляют крылья. Желтокрылая бабочка вспархивает очумело. Маки с анемонами раскидываются по холмам в неудержимом пробуждении, в скором, покорном усыхании, доставив утешение с сожалением.

Расцветает во дворе корявое иудино дерево, застилает дорожки опавшим розово-фиолетовым покровом, как готовит к свадебному шествию. Красно-рыжие соцветия теснятся на ветвях, ёршиками для мытья бутылок из далекого прошлого – не подобрать названия. Глициния заплетает всякое произрастание, удушая без разбора, свешивает до земли блекло-лиловые кисти; видом приглядчива, ароматами завлекательна, и не хочется думать о последствиях. У пня на газоне, позабытого за ненадобностью, проклевывается робкий росток, а жучок пока что истачивает тополь, кора его деревенеет, опадая крупными чешуйками, серые проплешины изъязвили ствол, которому пора на спил, и лишь бугры корней, венами вздувшие асфальт, останутся напоминанием о неодолимой мощи.

От дома выложена дорожка из некрупных плит. В стыках прорастает по весне трава, зелеными мазками на сером бетоне. Голубь кружит над акацией, высматривая сухие веточки, обламывает их клювом и уносит под крышу, сооружая гнездо. Вот и запоздалый дождь, яростный, полноводный, загоняющий всех в укрытия. Последний зимний ветер срывает струи, хлещет ими по окнам, по стенам, зонты выламывает наизнанку, вымещая бессильную злость.

Бурливая вода пузырится в водостоках. Прыгают на улице подrostки, радостные, озорные, промокшие до трусов; прыгает по покато́й крыше взъерошенный дрозд, круглоголовый, иссиня-черный, с коротким желто-оранжевым клювом. Не улетает, не прячется от дождя, бока подставляя под струи; скачет по черепице наперекор стихиям, перья дыбятся у растрёпы в воздушных потоках. Подружка любит из надежного укрытия: «Ах, какой же он у меня!..» – «Ах, какой же я у тебя! Какой у себя! И такой, такой тоже!..» Вздергивает задорно хвост, запускает по округе трели, гранеными стеклянными шариками рассыпает по крыше.

Захочет – улетит в дальние края по пути ветров. Не захочет, останется здесь – чечетку отбивать на черепице.

– Шах-рур, Пинкель... – приседает, кланяется галантно. – Шах-рур...

Он этого не понимает, но дрозд не унимается, неугомонно выкликающая свое прозвание:

– Шах-рур, Пинкель, шах-рур...

### 2

Так уж у него заведено всяким погожим утром, когда не беспокоит хамсин, ливень с небес или нежданные вторжения нежелательных пришельцев, которых придется выслушивать.

Отводит внучку в детский сад, возвращается домой, где никого не будет до вечера, моет посуду, прибирает в комнатах после поспешного бегства мамы Киры и папы Додика и утихает на балконе с чашкой кофе, пока тень от крыши не подползет к ногам, жаром дохнет от залитого солнцем пола. Здесь его постоянное утреннее бдение, блаженные минуты существования, ожидание самого себя, который вечно запаздывает, слабая надежда на проявление знаков и знамений, прокладывающих путь в подступающий день.

«Ты на обочине, Финкель, – определили в давние времена. – На обочине обочин со своими сказами, и не рассчитывай на иное. Отрастить бы тебе буйные лохмы, подобрать на помойке непотребную рубашу с портками, поселиться в сумеречном подвале, куда ведут битые ступени, распахнуть дверь для случайных почитателей, раскладывать на газетке их подношение с неперменной бутылкой, зачитывать бессмертные строки в слезливом опьянении, дабы внимали непризнанному сочинителю – куда там! Тебе важен суп для семьи, Финкель. Тарелка супа. Оттого не создашь себе имени, не станешь знаменитым при жизни. После нее – тем более».

Горы перед ним.

На горах – россыпью – светлые домики под красными крышами; пошумливает вдалеке шоссе морским прибоем, пальма неспешно отмахивает вознесенными листьями, бульбули усаживаются на перила, выказывая желтоватые подхвостья, разглядывают без боязни старого человека.

Мир перед глазами, требующий размышления с пониманием, трепетного прикасания, чтобы не порушить ненароком. Соцветия вокруг, бескорыстные и бесхитростные, раскрывают сокровенные таинства, не требуя одобрения с признанием: подходи и гляди, подлтай и пользуйся. На коре деревьев, на их бугристых стволах начертаны непрочитанные послания, скрытые от него откровения: прикинуть ухом, затаиться без шевелений, вслушаться в протекание влаги по сосудам, уловить тихое нашептывание: «Не опадайте! Только не опадайте!..» – но застучит с перебоями в глубинах корней, закупорится малый проток, увянет поверху лист, усохнет черенок, опадет, недозрев, плод-апельсин.

Приехал, огляделся: «цафцефа» возле дома, «брош», «дафна» – все такие знакомые, такие привычные под иным именем: тополь, кипарис, лавровое дерево. Жизни неостанет, неостанет памяти освоиться в ином растительном мире, где клен – «эдер», дуб – «алон», «орен» – сосна, и отдельно, совсем уж невозможное, «арава бохия» – плакучая ива над источником. Полопаются стручки на акации, семена, опадая, обстукают машину на стоянке, скамейку под деревом, словно птицы, слетевшись, затюкают клювиками, – начертания на семенах, как на монетах Римской империи.

Не всякому растению прижиться на этой земле, не всякому пришельцу.

– Сбрил бы хоть бороду, – фыркает мама Кира, которой не терпится его омолодить. – Идише Дед Мороз: обложить ватой – и под елку.

– Очень оно рискованно, – возражает Финкель. – Что явим миру без бороды? Кто под ней схоронился?..

На балконе кустится розмарин, выпустивший в избытке, еще по зиме, гроздья блеклых цветений, над которыми висит невесомый

цофит, высасывая нектар загнутым клювом, редкостной красоты создание, чудо перламутровое, жизнь проводящее в насыщении своего существа. Крылышки его трепещут, трепещет, должно быть, восторг в крохотном тельце; голова и грудка переливчатые, сине-лиловые: можно заглядеться на такое великолепие. Предки цофита из тропической Африки, но он прижился здесь, улетать не собирается – Финкелю это по нраву.

Молчание – тихой струны напев.

Чашка со сколом, обтроганная губами.

Последний глоток кофе. Остатки сахара на дне. Пресладкая его горечь, которую не передать бумажному листу, не напоить строку скорбью утраты, сладостью мира, его окружающего.

Взять с полки пухлый том, открыть на первых страницах:

«Начинается книга, называемая "Декамерон", прозванная Principe Galeotto, в которой содержится сто новелл, рассказанных в течение десяти дней семью дамами и тремя молодыми людьми...»

Пролистнуть сотню страниц:

«День второй. Новелла седьмая. Султан Вавилонии отправляет свою дочь в замужество к королю дель Гарбо; вследствие разных случайностей она в течение четырех лет попадает в разных местах в руки к девяти мужчинам; наконец, возвращенная к отцу как девственница, отправляется, как и прежде намеревалась, в жены к королю дель Гарбо...»

Скажет ликующий старик, кроток и доверчив: «Финкель, отложи книгу, которая уже написана. Просьба к тебе, Финкель». – «Слушаю, дорогой». – «Сочини рассказ, а лучше повесть – для тех, кому беспокойно и неукладисто в маете-истоме. Чтобы шагнули под переплет, как входят с мороза в обжитую избу, где еда на столе, ребенок в люльке, припасы в подполе, домовито попахивает упревшей в печи картошкой. Ее следует растолочь в чугуне, щедро полить сметаной, посолить в меру, плотно прикрыть крышкой, задвинуть ухватом в печь, где прогорели дрова, не позабыть про печную заслонку – и потекут из чугуна призывные запахи, корочка загустеет на картошке, плотная, коричневатая, с желтизной по краям, под которой затаится самая сладость, – рука потянется к рюмке, к малосольному огурчику, к хрупчатому лучку и слезливым грибочкам, душа потянется к родной душе – огарочком из отпотевшего оконца, обмякнет в покое-довольствии, огородившись мерзлыми бревенчатыми стенами от горестного мира...»

Скажет старик опечаленный, упрям и настырен: «Финкель, ну сколько можно? Ты же оттуда уехал, от той печной заслонки. Сто лет назад».

Огорчится его сожитель: «Эх ты! Для тебя же стараюсь. Кто из нас в маете-истоме?»

Подивится на пришельцев Ривка-страдалица: «Картошка, лучок, огурчики... Какие же вы евреи? Вы русские».

Проводы были нелегкими, без надежды на встречу: «В далекий край товарищ отбывает...», в отказе от обжитого, обласканного, в отрыве от близких, затаившихся в глубинах тесного подмосковного кладбища. Собрались напоследок приятели, стали выяснять, кто первым завёл с ним знакомство, но Гоша не дал рассусолиться, расслонявиться им не позволил. «Пустой разговор, – сказал. –

Поговорим лучше о том, кто первым его забудет». На прощание пообещал: «Тебе, Финкель, угрожает опасность – жить долго, очень долго, пережить нас и вспоминать каждого. Не лучшее, согласишься, занятие на исходе дней. Расплата – она впереди».

В ящике стола запряталось письмо в затертом конверте: «...мы скучаем без тебя, еврей Финкель. Без твоих умолчаний, насыщенных смыслом. Без твоего прищуря, пресекающего чью-то пошлость. Иногда, вечерами, я возвращаюсь с прогулки, и Машка спрашивает: "Финкеля не встретил?" И хотя это всего лишь шутка, мы задумываемся и даже вздыхаем...»

Лики прошлого проявляются на беленом потолке – не изжить за здешние годы, а птицы выкликают из укрытия, имена перебирая под рассветный говор листвы, имена той, что ушла до срока:

- О-рит... О-рит...
- Ро-нит... Ро-нит...
- Ор-на... Ор-на...
- Си-га-лит, Пинкель, Си-га-лит...

Начинается день третий, в котором герои постараются скрыть то, что каждому известно, и сообщить о том, что следовало бы утаить, с помощью учливого слова и находчивого ответа...

## 3

– Финкель, – выводывал незабвенный друг, – в какой картине ты бы хотел схорониться, перешагнув через раму? С кем бы пожелал остаться? Не торопись с ответом, назад не вышагнешь.

Годы просвистывают за окном, но Финкель всё решает и решает, перебирая художников, их творения, гравюры и акварели, фрески и рисунки карандашом, неуживчивый с одними, отторгаемый другими, не вписываясь в иные пейзажи, не приживаясь в ином колере. Измучившись, взмолился посреди ночи:

- В фотографию можно? Пробившись через глянец?
- Можно и в фотографию.

Туда! К ней! Откуда высматривает его строго, испытующе, в терпеливом ожидании. Встать рядом, руку положить на плечо, вздохнуть успокоенно...

- Де-ду-шка... Тебе кто по душе?

– Ты.

– А Ото-то?

– И Ото-то.

– А бабушка?

– И бабушка. Конечно же, бабушка, которая тебя не дождалась...

...она объявилась вдруг, неожиданно и навсегда, словно от рождения была возле него, в нем, повсюду, отодвинув в сторону всё и всех, покорив естественном желаний до последнего своего выдоха. Прежняя жизнь стала невозможной, и он принял ее сразу, целиком, не разделяя на внешний вид, слова, чувства и поступки.

Она пришла к ним по окончании института, и в перерыве ее обступили мужчины, дерзкие и находчивые.

- Девушка, у вас имя есть?
- Есть.
- Каково же оно?
- Зисл.
- Зисл?
- Зисл. Так называют меня родители.
- Что это означает? И на каком языке?
- Означает – сладкая. На языке идиш.

Именем она гордилась: «Зисл! Зисл!..» Имя выделяло ее среди прочих женщин, голос выделял, грудной, чарующий, что сотрясало инженерно-технический состав конструкторского бюро, служило предметом слухов, намеков, ухаживаний. «Зинаида Моисеевна», – призывал начальник группы, она откликнулась в ответ: «Иду», а всем слышалось призывно манящее: «Спешу, радость моя...»

– Прелестница, – восхищались во много голосов, – в вас можно влюбиться даже по телефону! Обольстительница, – восторгалась, – вы нас завлекаете! Завлекаете и отвлекаете от создания новейших летательных аппаратов.

Зисл. Сладкая-Зисл. Стремительная и непреклонная на широком шагу, что создавало ощущение силы, решимости, упрямых до случая бурных страстей, – мужчины оборачивались на улице, внимательно смотрели вослед. Прогнутая спина – стойкой балерины – бросала вызов окружающему миру, волосы прямые, вразлет, подчеркивали неутомимость и неукротимость, просторные платья из легких тканей палевых тонов – любимый цвет, любимый ее покрой – завивались вокруг колен, шляпа с широкими полями затеняла глаза, отчего не терпелось в них заглянуть.

Зисл. Сладкая-Зисл. Распахнутая соблазнам мира до грани, а то и за грань приличий той поры, дерзкая и своенравная – переменчивой погодой по осени. Остерегала при знакомстве: «Выясните прогноз моего настроения. На ближайшие часы. Прежде чем приближаться», озадачивала самых настырных: «Удивите меня. Изумите. Очаруйте на миг. И не поддакивайте: я этого не переношу». А они были шумные, прыткие, остроглазые: малооплачиваемые инженеры с неутоленными желаниями, которых не могли насытить податливые девицы, согласные на нехитрые забавы по случайным пристанищам-постелям.

В перерывах бегали в заводскую столовую, в толкотню многолюдия, жару с духотой, где раздатчицы укладывали тарелки на левую руку, от ладони до локтя, плюхали в них пюре: плюх, плюх, плюх, расшлепывали ромштексы из свиного сала без единого волокна мяса, обжаренные в сухарной корочке: шлеп, шлеп, шлеп, поливали бурым соусом, разогретой, не иначе пушечной смазкой, выкидывали тарелки на прилавок: шмяк, шмяк, шмяк.

После работы заглядывали в ларек у проходной – выпить по стакану дешевого портвейна, который им не нравился, но был зато по карману; с премиальных захаживали в ресторан «Загородный» – вкусить порционные блюда с оглядкой на цены; катались зимой на лыжах, плавали летом на байдарках, пекли на углях картошку до пепельной корочки, пели песни под гитару, парами уединялись в палатках – молодые специалисты в работе и любви, неспособные еще понять, что не существует неизведанных

соблазнов и пороков, всё испытано в веках и народах, отброшено и испытано заново в потаённости или оголенности нравов.

Зисл. Сладкая-Зисл. Охотников обольстить было немало; сетовали и вздыхали на дальних подступах: «Никак к ней не протиснешься...» – Финкель преуспел более других, хоть и не помышлял об этом; Финкелю, ему одному, сказала: «Ты мне позвони, а я тебе обрадуюсь».

Ей нравилось его удивлять. У нее это хорошо получалось. «Финкель!» – «Я Финкель». – «Поверни налево». – «Нам же не в ту сторону». – «А ты поверни». И происходило чудо. Узкий проселок, неширокий проезд под нависшими кронами, полторы минуты хвойной дремучести. Катили неспешно в сторону заката, где жаркого золота перелив, пели на радостях в усладе сердец, услышали громовое, через усилитель: «Водитель "Москвича"! Остановитесь!» Подкатил милиционер на мотоцикле, суровый, непреклонно карающий: «Почему едете посреди шоссе?» – «Пели», – повинился он. «Песню», – повинилась она. «Вслух?» – «Вслух». – «Зачем?» Взмокший под мундиром. Загазованный до очумелости. «Хорошо нам...» Вздохнул, затуманился, отпустил без штрафа.

«Финкель!» – и они торопились под вечер в бревенчатый дом, заваленный сухими снегами, промерзший до лета, вприпрыжку бежали со станции, взявшись за руки, – лапистые ели по сторонам, нежилой дачный поселок, слепые бельма окон, снег тихо поскрипывал под ногами – в городе он должен скрипеть сильнее, если хочешь его расслышать. Даже шишка, подобранная на холоде, затворившаяся в чешуйках от злого ветра, отогревалась возле печки, раскрывалась, хорошея, высевала семена свои, доверившись теплу, свету, их неумным желанием.

Приезжали и в непролазную осеннюю распутицу – ошметки грязи на обуви, прибывали к кормушке кусочек сала, высматривали из окна красногрудых снегирей, что слетались на угощение, подъедали его в момент, склевывали остатки из-под шляпки гвоздя, потешно склонив головы, клювиками отстукивая по деревяшке... – и загрустил, припоминая, затаившись в комнате, где всё ею наполнено, даже воздух, которым он окружен...

## 4

Тихо в ночи.

Не слышно дыхания.

Запах жилища неуловим, словно Финкель не заходит в комнату, не сутулится за письменным столом, проклиная неподатливость слова и слога, не лежит в постели лицом к потолку, который услужливо поставляет, а затем смывает памятные картины, будто дотошный учитель стирает условия задачи с классной доски, предлагая взамен иные, не менее заумные, которым тоже не найти решения.

Кто там не спит по ночам?

Бродит одиноко по путям видений, улавливая эхо нестойких голосов?

«Упрости нас, Господи! Чтобы поменьше огорчений по жизни. Побольше забвения». – «Не упрощай. Не надо...»

...поезд вышел к морю возле Туапсе.

За окнами побегал пустынный берег, сухие поросли кустов, завалы камней. И вот! Вон там! С раскинутыми руками! Подставив тела солнцу! Недвижными изваяниями из светло-коричневого мрамора! Без одежд-приличий!..

Мужчины прилипли к окнам бледными, незагорелыми еще лицами. Берег тянулся на километры, и на нем... Группами и поодиночке... Стояли, сидели, лежали... Бес-стыд-ницы!

Поезд загудел потревоженным ульем. Поезд замотало по стрелкам. Поезд вышел из графика. Поезд сошел с ума. Теперь у окна стояли все мужчины, включая машиниста и кочегара.

– А мне неинтересно, – сказал он.

– Врешь, – сказала она.

Прижала щекой к стеклу, приговаривала:

– Смотри... Смотри... Сравнивай...

Они были одни в купе.

Поезд вошел в туннель.

Стало темно.

– Это короткий туннель, – громко сказал он...

Комнату подыскали у самого берега, прохладную, полутемную, в мазанке посреди сада, возле яблонь с черешнями; на стене висели мутные фотографии в рамочках, оклеенных ракушками, и хозяин – кавказский человек – поинтересовался:

– Сколько постелей стелить?

– Две, – поспешил Финкель. – Нам – две.

– Муж-жена?

Соврали:

– Муж-жена.

– Прописаться бы надо. В милиции.

– Обойдется, – сказала Зисл.

– Ну и ладно. Наше дело петушиное: прокукарекал, а там хоть не рассветай.

Кавказскому человеку было скучно. Предки его гнездились в горах, пасли овец, выращивали виноград, устраивали засады и совершали набеги, а он торговал на базаре тыквенными семечками. Мерой служил граненый стакан, который честно наполнял доверху, с присыпом, опрокидывая в кулечки из местной газеты или в оттопыренный карман. Кавказского человека – по петушиному обычаю – не интересовала ничья жизнь, кроме своей; он привык к постоянной смене постояльцев и не задавал вопросов. Когда становилось тошно, бурлила горячая кровь, бежал в огород, рубил головы подсолнухам, топтал баклажаны на грядках, а раздобревшая спутница его жизни, в прошлом завлекательная блондинка, не понимала томлений человека с гор и пряталась пока что у соседей.

Блондинка работала в санатории, на кухне; по вечерам поварихи с посудомойками волокли по боковой тропке тяжеленные кошелки, – отдыхающие посматривали искоса, понимаясь переглядывались, а хозяин уже сидел за столом с вилкой в руке, спрашивал в нетерпении: «Что у нас на сегодня?..» Еды было много, остатки сваливали поросенку, но дом не наполнился радостью, дети у них не заводились, что обижало мужчину, наделенного темпе-

раментом. Жена предложила взять племянника из дальней деревни, вырастить взамен сына, но он пообещал беззлобно: «Зарежу. Тебя зарежу и его».

Пришел с базара, поинтересовался у приезжих:

– Ребенок есть?

– Ребенка нет.

– Что же вы?

– Что же мы, – повторила она и посмотрела на Финкеля, примериваясь.

По вечерам они усаживались с хозяином под яблоней, пили за отдельную плату его вино, грызли семечки, изнывали от удали баяниста-затейника на затоптанной танцплощадке, от взвизгов курортниц в темных зарослях, которых местные кавалеры с песней увлекали на пробу. К ночи уходили в мазанку, обрывали из окна черешню, сладкую, наливную, черную в потемках, засыпали к рассвету обессиленные, краснотелые от спелой ягоды, под шелест морских волн, которые накатывались, казалось, на их укрытие и покачивали, и укачивали...

«Нашлась девочка, звать Люда. Голенькая, с розовым бантиком. Родители, потерявшие ребенка, подойдите к радиоузлу пляжа».

Радисту было тошно. Тощий, жилистый, дочерна загорелый, в шляпе и плавках, он изнывал от жары и безделья, взывая в микрофон:

– Граждане женщины! Перегрелись? Иду на вы!

Мужчины в море возбужденно хохотали и заглатывали соленую воду. Мужчины на берегу тоже хохотали, заглатывали теплое пиво.

Одурев сверх меры, радист включал усилитель на полную мощность, и громко, на все окрестности, разносился стальной, раскатистый призыв:

– Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Передаем важное сообщение!..

Мужчины на песке вздрагивали, женщины замирали на лежаках.

– Сегодня! В двадцать часов пятнадцать минут! По московскому времени!..

Голос достигал немыслимых высот. Голос густел, становился осязаемым, сообщая не иначе о начале войны, скоропостижной смерти отца народов или о немыслимой катастрофе. Голос, который пугал с самого детства, не давая передохнуть.

– Состоится! Одночасовая прогулка! На теплоходе «Иван Березняк!» С выходом! В открытое! Мор-ре!..

– Чтоб ты провалился! – кричали с лежаков истеричные женщины. – Напугал, зараза, аж руки трясутся...

– Руки тебе оборвать! – кричали из воды нервные мужчины. – Добалуешься у нас, щенок...

А он более спокойно, буднично, перечислением заслуг покойного:

– На теплоходе «Иван Березняк» буфет...

Долгая пауза и громогласный финал:

– ...не работает! Повторяю...

«Нашелся мальчик, панамка в клеточку. Родители, потерявшие ребенка, подойдите к радиоузлу пляжа».

По утрам она уходила за высоченный забор, который громоздился на берегу и уходил далеко в море. Забор соорудили прочный, устойчивый, без единой щелочки, как у секретного объекта.

Женский пляж – секретный объект.

Поскучала до смуглой прелести, пококетничала с радистом, и он допустил ее к микрофону.

– Нашлась женщина, – призывно понеслось по окрестностям, – в нескромных одеяниях. Чувствительная не в меру, привлекательная, еще хоть куда. Обнаружившего пропажу просят срочно подойти к радиоузлу пляжа.

К будке сбежались мужчины. Стояли кучно, возбужденно переговаривались, – ночью она сказала обидчиво:

– Все тебе завидовали. Все!..

Мазанка была на две комнаты. За стенкой поселилась мама с пухлой белобрысой дочкой-дурой, которая была уверена, что за деньги попадет в университет. Не в институт – только в университет. Дуря-дочка перемигнулась на пляже со знойным грузином, покрытым мужественной порослью, и сообщила по секрету соседям, что ночью ее украдут.

– Он полезет через ваше окно. Так мы договорились.

– Я буду спать, – решила Зисл. – Пускай лезет.

– Я спать не буду, – решил Финкель. – Как бы тебя не украли...

Но в окно никто не полез, ни в ту ночь, ни в последующие. Дуру-дочку не украли, таких не крадут; скорее умыкнули бы ее мамашу, солистку танцевального ансамбля, привлекательную не по возрасту.

Утром оглядела его внимательно, как увидела впервые, сказала нараспев:

– Ты, Финкель, полез бы за мной в окно?

– Куда угодно, – ответил. – Мне без тебя – гибель.

Это ей не понравилось.

– В наивности твоя сила, Финкель, даже обманывать неинтересно... Что ты прилип ко мне? Вон сколько красоток, всегда пожалуйста! Ты, Финкель, недостаточно безрассуден.

Повинился:

– Недостаточно.

– Это мы поправим.

Увлекла на ночной пляж, уплыли за буйки, ушли на глубину в иное бытие, невозможное на суше, – дыхания хватило на многое. Был восторг, была и боязнь столкнуться с холодным, скользким подводным существом, с его прикосновением к обнаженному телу. Уходили и на дальний берег, купались, собирали камни, обкатанные волной; груды камней распахали по карманам, чтобы не платить за перевес багажа.

Самолет взлетел, и ребенок по соседству потянул к ней руки:

– Дай бусики.

– Не могу, – ответила без улыбки. – Подарок мужчины. Вот этого.

Ему сказала:

– Глупые мы, глупые, Финкель. Родили бы теперь мальчика... – взглянула коротко, впритык, снова оценив и приняв к сведению.

Был Новый год.

Немалые его надежды.

Пузырилось шампанское. Столы привлекали снедью. Женщины завлекали нарядами.

Прослушали бой часов с Кремлевской башни, прокричали «ура», выпили по первому бокалу, и Зисл сказала:

– Выхожу замуж.

– За меня?

– Нет, Финкель, не за тебя. Была вольной пташкой, стану птицей окольцованной.

Ночью бродил возле ее дома, пьяный от вина, обиды, жалости к самому себе, грозил кулаком этажу ее обитания: «Пшла вон из моей жизни!..» Подвыпивший дядечка не мог попасть в свой подъезд, промахиваясь с каждой попыткой, и Финкель сообщил ему доверительно: «Мне кошки дорогу перебегают. Черные-пречерные. Повсеместно и неукоснительно». Дядечка ответил обреченно: «Всем перебегают...» – и снова не попал в дверь. Финкелю не понравились его слова: «Что бы ты понимал, алкаш! От меня женщина уходит, ясно тебе?» Тот ответил: «Женщина – она от всех уходит...» Закричал, затопал ногами: «Прекрати сейчас же! Не покушайся на мою исключительность!» Втолкнул дядечку в подъезд.

Назавтра она сказала:

– Не выхожу, не выхожу... Я передумала.

Развеселилась, закружила его по комнате:

– Обиделся? Нет, ты обиделся? Как же тебе непросто будет со мной...

Светофоры зеленели, когда торопился к ней, машины расступались услужливо, водители пропускали без прекословия. В палатке над бурливым потоком, под кленового листа пожар, они заползали в широченный спальный мешок, скроенный на двоих, засыпали в обнимку, вдыхая общие выдохи. Или спиной к нему, бедрами в выемке его живота, как чашка и блюдце, ее чашка, его блюдце. «Не выкладывай себя, Финкель, – остерегал незабвенный друг, – всего не выкладывай. Что-нибудь оставь про запас».

Жизнь продолжалась. Продолжалась мучительная радость. Впопыхах. Урывками. Жгучим верховым палом по макушкам сухостоя, под ураганный ветер, не опускаясь до корневищ. «Мы еще до или уже после?» – «До. Всегда – до...» Возле нее было блаженно засыпать, не ощущая веса тела, и открывать поутру глаза в ожидании неотвратимого, словно выдали ее временно, на подержание, но скоро подойдут и отнимут. «Не по заслугам, – скажут. – Не по мужским вашим достоинствам».

– У тебя хороший характер, Финкель, – говорила, примериваясь. – С тобой можно жить...

Есть люди, и их немного, которые способны делать неожиданные подарки, – она умела. Звонила поздним вечером: «Финкель! Ставь чайник...», и он вставал на балконе, высматривая появление такси, хлопанье наотмашь дверью машины, стремительный пробег к подъезду. Останавливалась на мгновение, вскидывала голову – ждет ли, томится ли, взлетала по лестнице, не дожидаясь лифта,

врывалась вихрем в распахнутую дверь: кофе без сахара, пара сухариков, ломтик брынзы, обрывание пуговиц и крючочков.

Прибегала и под дождем со снегом, промокшая, продрогшая, – переодевал в сухие одежды, высушивал ее волосы, дыханием обогривал ступни ее ног, укладывал под пуховое одеяло, а она выговаривала молча, глазами: «Меня никто так не любил...» – «Любовь? Разве это любовь?» – «А что же?» – «Жизнь моя».

Ранним утром бежали на работу, и она вставала посреди тротуара:

– Взгляни на юношу, который идет навстречу. Он влюблен, и всю ночь ему отвечали взаимностью.

– Откуда ты знаешь?

– Он же кричит. Всем видом своим: «Не с вами! Не с вами!.. Она со мной! Мы с ней!..»

– И я кричу?

– А то нет! Женщины угадывают и наверняка завидуют.

– По тебе тоже угадывают?

– Ну уж нет. Мы умеем скрывать свои чувства.

Опускались на эскалаторе в подземные глубины станции «Арбатская», навстречу поднимались военные, много военных, она кричала в восторге: «Смотри, смотри, сплошные полковники! Раз, два, восемь...» – «Перестань. На нас смотрят». А она хохотала: «Одиннадцать... Пятнадцать... Двадцать восемь... Куда столько?» Продвигались в переходе метро, в пыльной его задавленности, посреди заспанного хмурого люда, под шарканье бесчисленных подошв, стиснутые, почти бездыханные, мелкими шажками под нависшим куполом, продавливаясь к поездам обуженными лестничными спусками, и она сказала: «Враг тот, кого толкаешь в спину. И тот, кто толкает в спину тебя». Ответил: «Я так не ощущаю». Взглянула коротко, стремительно и отвернулась, оценив, приняв к сведению.

А ему снилось: вот она раскрывает чемодан, наполняет его одеждой, аккуратно, неспешно, продуманно; поверх вещей укладывается крохотная собачонка с печалью в глазах, чтобы и ее упаковали, взяли с собой. Откуда взялась та собачка? Не было у него такой собачки, никакой прежде не было. «Не распаивай душу, Финкель, – уговаривали знатоки, – потом не затворишь. Беги от нее, беги, Финкель!..»

Утро без нее не начиналось, вечер не заканчивался. Можно ли притворяться счастливым? И как долго?.. Снова сказала:

– Выхожу замуж.

– Кто же он?

– Старше тебя. Умнее. Надежнее.

– Шутишь.

– Теперь не шучу.

Заполоскало парусом, потерявшим ветер. Взметнуло в обиде:

– Что он умеет такого, чего я не умею? Что знает, чего я не знаю?..

– Не смей, Финкель. Не требуй от меня того, чего сама от себя не требую.

Была еще одна встреча. Через пару недель. Выждала его на улице, увлекла в чей-то дом, на чью-то постель, под жгучий отчаянный восторг:

– Всё! Можно теперь и замуж...

Вышла из машины, зашагала, не оглядываясь, стремительно, непреклонно: платье палевых тонов завивалось вокруг колен, мужчины на улице смотрели вослед.

А он ждал месяцами, ждал и надеялся, высматривая с балкона появление такси, стремительный пробег к подъезду, дверь нараспашку: «Обиделся? Нет, ты обиделся?..» Ждал. Переждал. Перегорел...

...бисерная мразь сыпалась с угрюмого неба. Темный Пушкин, отвернувшись, клонил голову. Букет у постамента раскисал от сырости. Буквы на крыше «Известий» резво гнались друг за дружкой, отчаянно ныряли в пустоту, пытаясь угнаться за событиями на земле. Было шумно, промозгло, знобко и неприкаянно. «Что он умеет такого, чего я не умею?..» Сотряслась скамья под грузными телами, женский голос прозвучал так, будто жирный кусок колом застрял в горле: «Люба у Нины ела заливное. Она об этом только говорит». – «Об этом, – подтвердил. – Только об этом. О чем же еще?» И побрел домой...

Ранним утром она позвонила по телефону. Голос грудной, чарующий, сводивший с ума поклонников, – как вчера расстались:

- Спишь?
- Сплю.
- Ставь чайник.

Прежний широкий шаг, спина прогнута, шляпа с широкими полями затеняла глаза, но что-то стронулось, сместилось в ее осанке, проявилось неременное старание сохранить прежний облик. Вошла независимо, сказала без объяснений:

- Не спрашивай. Не задавай глупых вопросов.
- Как мы теперь? На ты или на вы?
- Не дури, Финкель.

Выпила в молчании кофе, жадно, большими глотками. Откинулась на спинку стула, как по окончании изнурительной работы. Взглянула глазами в глаза:

- Какое слово выберем для жизни?
- Скажи ты.
- Непредсказуемо.
- Непредсказуемо?
- Непредсказуемо, – повторила.

Больше они не расставались.

## 6

В кровати, лицом кверху, спит старый человек, руки поверх одеяла. Тельняшка вместо пижамы, будто у шкипера на пенсии, по лбу пробегают легкие тени – беспокойством ушедшего дня. Так лежал он в палатке, в этой, может, тельняшке, а Зисл разглядывала его строго, неотрывно, руки прижимая к груди, чтобы разбудить под утро и сказать: «Выхожу замуж». – «Шутишь». – «Теперь не шучу».

Не расспрашивал о первом браке, не предполагал, не угадывал, – однажды проговорила во мраке спальни:

– Он не уговаривал, знал, должно быть, – не удержать. Сказал на прощание: «Ты из породы терновника, с виду безобидного. В который погружают руку без помех, а вынимают – царапает. Пришел радостный, ушел в отметинах. На теле и на душе».

– Это и мне памятно.

– Не забыл, Финкель?

– Не забыл.

Он улыбнулся, она улыбнулась, головой потерлась о его плечо.

– Думал, наверно: «Какое счастье, что выбрала не меня...»

– Не было такого.

– Не ври, Финкель. У тебя не получится.

Признал с неохотой:

– Было однажды...

В столе, в дальнем его ящике, запрятан альбом ее детства, в глубинах которого затаился давний снимок, пожелтевший, с трещинками по гляncy и ломаным уголком.

Девочка Зисл в обнимку с папой Моисеем. На диване. Возле пушистой елки на крестовине, где хрупкие стеклянные шары на ветвях, которые боязно взять в руки, картонные домики в щедрой изморози, петушки-зайчики, конфеты на ниточках в цветных обертках, редкие по тем временам мандарины посреди ветвей, серебряная канитель водопадом до пола, переливчатый шпиль на макушке и непременный Дед Мороз у подножия, щедро обложенный ватой.

Он был добрый, папа Моисей, не растеряв теплоту с приятелью в пуганые годы, когда граница страха пролегла на полу, возле тапочек, куда опускали ноги при пробуждении, ступая опасливо в новый день.

– Сладкая моя, – говорил, – плачь, когда плачется. Печалься, если печалится. Сердись, если захочется.

А взрослых наставлял позабытой истиной:

– Берегите слезы ваших детей. Чтобы не растратили заранее и проливали потом на вашей могиле.

Он был доверчивый, папа Моисей с округлым животиком, бестолково суматошный и подслеповатый – восемь диоптрий, вечно опаздывал и всюду поспевал, появляясь с виноватой улыбкой, за которую ему всё прощали. В доме беспрерывно трезвонил телефон; подбегая, кричал в трубку, готовый помчаться на помощь: «Спешу! К тебе! Одной ногой в ботинке!..»

Попросили для террасы пару листов стекла – пригнал самосвал со стеклянным боем. Попросили для сарая пару досок – привез дом разобранный, гнилой, трухлявый, ощетинившийся ржавыми гвоздями. Попросили вату – законопатить окна, приволок пару мешков шерстяных очесов, грязных и вонючих. Его боялись просить. Ему остерегались намекать. Папа Моисей угадывал сам, сам и привозил, сам разгружал: то ли благодарить, то ли проклинать.

– Мы восхищены, – улыбались знакомые в потугах дружелюбия. – Твоими стараниями. Но больше ничего не надо. Ни-че-го.

А рисовальщик он был замечательный, многие это признавали. После войны ходил по деревням – похоронки в каждой избе, брал у вдов крохотные фотографии сгинувших мужей, писал, приукра-

шивая, портреты, за которые они расплачивались молоком, яйцами, ведром картошки. Портреты вешали над кроватями, возле клеенчатых ковриков с плавающими лебедями, проливая слезы по ночам, на одинокой постели, выглядывая старость в мутных, оплывших зеркалах, отбивших свой срок.

Над Моисеем потешались именитые коллеги, а он отвечал с той же виноватой улыбкой: «Дурачье вы, дурачье! Я им в утешение. Один я на земле». Когда отца не стало, хотела заказать картину с того снимка, непременно с елкой, стеклянными шарами, блестками по ветвям, да так и не собралась. Перед уходом отец не мог говорить, накарябал в блокноте нестойкими буквами: «Сладкая моя! Дальше пойдешь одна. Почувствуешь слабость на своем пути, страх или ненависть, кликни – я отзовусь...»

Отцовской любви достало на годы: не раздарить-потратить. Когда подходила к краю, один шаг – из окна на асфальт, хватала старую фотографию, где с папой Моисеем возле елки, кричала отчаянно: «Выручай!..» И он выручал. Но здесь, на расстоянии, такое плохо помогало. Где его могила и где она со своей болезнью, изъевшей изнутри...

Предлагал ликующий старик: «Подберем ей иное имя. Освободим от прежних огорчений. Начнем заново, с чистого листа, чтобы смерть обошла стороной. Орит – замечательное имя, Орит-Светлая: с таким именем можно входить в жизнь даже на старости. Ронит-Ликующая: тоже годится. Таль-Роса. Нурит-Лютик. Сигалит-Фиалка...» Возражал старик опечаленный: «Имен много – не перебрать, но сохраним прежнее. Зисл. Сладкая-Зисл. Которой определено смеяться вначале и плакать в конце...»

Она первой прочитывала его рукописи, признавала со вздохом: «Ты, Финкель, не мой писатель». Это его огорчало. «Ты – мой человек». Это радовало.

Шепнула на уходе:

– С тобой было не скучно, Финкель. В дневное и ночное время.

Еще шепнула:

– Старой хотя бы не стану... Готовься, Финкель. Буду тебе снится.

Открывает глаза. Привычно обследует потолок. Негромкие, наперебой, признания, засылаемые из далекого далека, напывают комнату тишиной печали. Слова – капельным источником в горах, наполняющим углубление в скале...

«...слетал разок в Вену. Ходил по улицам, как по Большой Молчановке. Та же архитектура, те же дома – люди иные. Всё думал, ты выйдешь из-за угла». – «Со двора». – «С твоего двора». И наперебой: «Возле школы...» – «Где детская была поликлиника...» – «Львы на входе...» – «Стол посреди приемной с картинками под стеклом...» – «Запах укола...» – «Это уже не Большая...» – «Малая Молчановка...» – «Чего мы тогда поссорились?..»

Светлеет потолок. Пустеет. До иного – вдруг повезет – видения.

Остается фотография возле кровати, с которой смотрит на него, не отрывая глаз, ждет чего-то, чего-то добивается. «Чтобы ни один не жил дольше другого, Финкель. Не смог, даже если бы захотел. Не захотел, даже если бы смог...»

– Ты куда? – интересуется Ая, заранее печалась.

– Ты куда? – вторит Ото-то, заранее тоскуя.

А реб Шулим ничего не спрашивает. Стынет под апельсиновым деревом, отгородившись от слов и поступков, задавая сочинителю неразрешимую загадку; бутылка с водой наготове, чтобы жадно, из горлышка, смыть докучливую фразу, скопившуюся на выходе. Не закречен ли каждый его слог?

Апельсины провисают над головой реб Шулима. Шесть, их теперь шесть.

В автобусе Финкелю уступают место. «Спасибо, – говорит ликующий старик. – Мы постоим». – «Мы посидим, – возражает старик опечаленный. – Спасибо».

Сутулится юноша в черной шляпе – пейсы заложены за уши, шевелит губами, считывая псалмы с крохотной книжечки. «Ему это интересно?» – «Ему это нужно». Смотрит неотрывно на юношу. Раздумывает, прикусывая фалангу пальца, привычка с детства. Соглашается: «Пожалуй, что так...»

На сиденье напротив – дураковатый губошлѐп и постаревший, прокуренный до хрипа, иссохший ловелас с поживевшей седой косичкой, в узких обтягивающих джинсах; остроносые туфли на высоком каблуке, черная шляпа набекрень с металлическими цацками по тулье, в руке пачка сигарет. Перхает от курева, отчего немощно подпрыгивает косичка, поучает губошлѐпа:

– Ты думаешь, женитьба вроде помпы: качай и качай? А деньги? А квартира? Тряпки? Еда? Машина? Соски-коляски? Да она еще не захочет работать.

– Что же делать?

– Жениться. Что еще? Чем ты лучше нас?..

«Как же это? – изумляется Финкель. – Разве оно так?..»

На кладбище пусто.

Узкий проход посреди могил по бетонному покрытию, в глубины каменных наслоений, привычной тропкой во снах...

«...не ходи так часто, не надо, – уговаривала его, потревожив в ночи. – По вторникам не ходи, по средам, по всяким дням не топчи дорожку...» Улыбка ее, подобие вымученной улыбки, как приоткрывалась с опаской дверца перед нежелательным пришельцем: «Не вычерпала тебя, Финкель, времени не достало. Не вычерпал ты меня. У нас хорошие воспоминания, муж мой. Береги их...»

Шуршит целлофан от усохших букетов. Ржавеют стаканчики поминальных свечей. Буреет пыль на плитах, спекшаяся за годы. Провожать надо тихо. И уходить тихо. Лежать неприметно, без оваций, отработав свой срок.

Тишина подступает после смерти, незачем ее нарушать.

Вздыхает Ривка-страдалица: «Эти живут так, будто никогда не умрут. Те умирают, будто еще не жили». Там, на далеком подмосковном кладбище, травой зарастает память. Им, в тех могилах, за сто – отцу с матерью, им бы уже не жить, даже безвременно ушедшим, и скорбь обращается в дымчатую печаль. Там же, неподалеку, братские могилы сорок первого года: «...Кузьмин И. К., Лягушкин В. С., Михельсон Е. И., Оливанов С. Н. ...» – перечень неисчислимым.

Еще ряд могил.

Еще два ряда.

Мимо черного камня с впечатанным детским рисунком. Домик о два окна. Дверь нараспашку. Трава – зелеными почеркушками. Цветы выше крыши. Лучистое солнышко в уголке, на безоблачном небе, человечек с распахнутыми от восторга руками, имя ребенка, укрывшегося под плитой, детскими каракулями – Ора.

Еще ряд.

Еще и еще.

Камни лежащие – не покрыты травой, камни стоячие. Надпись по-русски, которую замечает на ходу: «Опустела без тебя земля...»

«...пришел, Финкель?» – «Пришел, Зисл. Ноги еще держат». – «Хорошо выглядишь, старый человек. Не по возрасту. Такое не проходит безнаказанно...»

Плита, дочиста отмытая частыми посещениями. Надпись квадратным шрифтом: имя-фамилия, годы жизни, магендавид поверху. Рядом – свободное место.

Оглядывает окрестности, глубину небес, высокоствольные кипарисы в почетном карауле. По весне буйно, в ряд, зацветают акации, вскормленные на слезах, щедро осыпают надгробия лиловыми колокольцами; по осени, освободившись от семян, напивавшись горечью утрат, застучат на ветру створками опустевших каштаньет. Свет, воздух, покой – на горе, под облаком, выше некуда.

«Неплохо устроился, Финкель», – замечает ликующий старик, хотя ликовать нет причины. «Неплохо», – соглашается старик опечаленный. Пришли как-то на похороны. Огляделись. Восхитились. «Здесь?» – «Здесь». Приобрели два места. Не полагали, что скоро понадобится.

На плите лежат плоские расписные камушки, омытые дождями. Внучка принесла. Подарок бабушке. «Она же меня не видела». – «Она о тебе слышала».

На свободном месте, рядом с плитой, распушился лавр на толстом стволе, безжалостно укороченный до малого размера. Финкель рассказывает не спеша, она, возможно, слушает:

– Я его подрезаю, но он не желает сдаваться, всякий раз выпускает побеги. Заново, и опять заново. Учит меня выживанию.

Треплет его по листве, нежно, заботливо, как взъерошивает волосы ребенку; лавр отзывается на ласку, трется жесткой порослью об отцовскую руку. Обрывает пару засохших листьев, говорит без улыбки:

– Живет, пока я живу. Молится, должно быть, за мое долголетие. Чем и продлевает мне жизнь.

Молчит. Напитывается тишиной. Кладет камушек на могильную плиту. Одиноким мужчиной сутулится поодаль, спорит, выясняя отношения, перебирает незалеченные обиды – слов не разобрать, сводит счеты с той, которая затаилась под камнем. «Нехама – светлой памяти. Мать Гершеле, Иоселе, Янкеле, Рохеле, Миреле. Бабушка Аарона, Шмуэля, Хаима, Реувена, Ханы, Ривки, Эстер». В знак примирения слабый его, задыхающийся на верхах голос: «Эль мале рахамим...»

Юноша в черной шляпе – пейсы заложены за уши – подходит несмело, говорит одно слово: «Кадидш», и они шагают к дальней

могиле. «Да возвеличится и освятится Великое Имя Его...», дружно произносят: «Амень», и Финкель с ними, неотличимый от прочих. Молитва закончена. Благодарят его, пожимают руку, и он возвращается: мальчиковый рост, курточка нараспашку, картуз на голове.

«...кого провожали?» – «Шломо Моше бен Шмуэль. Был такой человек». – «Старый?» – «Не старше меня». Одобрение в ее голосе: «Ты для них свой». – «Тридцать, – отвечает. – Тридцать здешних лет. Даже молочный зуб за такой срок пустил бы корни».

В стороне слышен крик. Женщины сгрудились возле склепа праведника, вздымают руки к небу, выкрикивая сильными, несношенными голосами: «Неужто не натерпелись еще пред Тобой?!..» Замолкают разом, поправляют сбившиеся косынки, неспешно шагают к автобусу.

– Зачем же так громко? – спрашивает Финкель.

Отвечает одна из них, самая, должно быть, неукротимая – темное лицо, иссохшее в муках, глаза скорбные, запавшие:

– Слов теперь недостаточно. Слова малы для великих бедствий. Кричать надо. Кричать всем – подошло время: «Устыди нас, Господи!..»

Добавляет другая, поплоче и поокруглее:

– Не тормозат Его понапрасну. Не вмешивают в никчемные свои заботы. Но возопим плачем великим: «Доколе, Господи?!..», препоясается милосердием, отведет беду от порога.

Уходят дружно, в ногу, с задания на задание.

Верующие зывают к Создателю – плачут-умоляют, неверующие зывают – стесняются. Финкель оглядывается по сторонам:

– Пора возвращаться. На последний этаж. Там и покричим. Там слышнее...

...ночью они объявятся на беленом потолке, пленницами его сюжета. Женщина построже – глаза запавшие, в темных провалах, – скажет сурово: «Не миры ищите, которые затеряны. Ищите затерянный свет, его рассеянные искры...» Женщина поплоче – личико сморщенное, шляпка на голове перевернутым горшком, – подступит вплотную, станет вопрошать с пристрастием: «Грешешь?» – «Бывает», – ответит Финкель. «Вожделеешь в помыслах?» – «Случается». – «Утоляешь жажду в чужих водах?» – «Не без этого». – «Ешь недозволенное?» – «Когда как». Взмахнет кулачками: «Косточки хотя бы! Косточки не обсасывай, грех свой не усладдай! Призовут – не отвертись...»

Проявится и мама-миротворица в шерстяной кофте, не беспокоит просьбами. «Сыночка, что ж ты так убиваешься? Поживи еще, сыночка. Мы тут. Мы близко. Будем тебя выглядывать».

Гукнет на отлете птица оах, прошелестит невнятно: «Тоску, Пинкель, в чужой карман не упрячешь. Кто положит камушек на твою плиту? Ах, Пинкель, Пинкель...»

Завершается день третий, полный беспокойных видений, дабы возопить на языке страданий, пробивая потолок и черепичную крышу: «Господи милосердный! Если ее не стало на свете, для чего я тогда?..»

Гаснут окна в ночи.

Утихают голоса.

Птицы укладываются на покой в купах деревьев, переговариваются сонным шепотом:

– Ше-кет...

– Д-ма-ма...

– Ду-мия, Пинкель, ду-мия...

Выходит на кухню, грызет сухарики, пьет чай с лимоном, смакует неспешно. Так он засиживается допоздна, перебирая встречи и расставания ушедших лет, ибо жизнь дается для накопления ощущений, которые не всегда совпадают с реалиями; кукушка на костылике выскакивает наружу – взглянуть на Финкеля, пожалеть или ужаснуться, молча убирается обратно.

Сутулые одногодки подстерегают его на перепутье старости, под кряхтение-вздохи-недомогания, но он запаздывает, Финкель, он вечно запаздывает: ты же не бегун, друг мой, не спеши на финише. На час раньше лег, на час позже встал, и сдвинулось, покапало под уклон до отвисшей губы и смыкания сосудов, в незавершенности дел, поступков, откровений. Держи дыхание, старый человек, не останавливайся через сто метров, не останавливайся через двести, – выходишь на последний круг, приятель, помни об этом и держи дыхание ради внучки своей Аи...

Телефон вскрикивает коротко.

Переживает мгновение.

Заходится в долгом, нескончаемом звоне, перепуганный насмерть, кричит отчаянно, безнадежно, накликав беду и умоляя.

Замолкает, надорвавшись от усилий, вновь взывает о помощи.

Наваливает на него подушку, и телефон глохнет, не унимаясь, тюкает слабо и невнятно, словно в спичечном коробке скребется обессилевший от ужаса жук.

Не докричавшись, умолкает...

Финкель просыпается на рассвете – внучка стоит рядом, терпеливо ждет пробуждения.

– Де-душ-ка... Когда мне исполнится сто лет, сколько будет тебе?

– Много, моя хорошая. Так сразу не сосчитать.

Закусывает в волнении губу, ладонь трет о ладонь, голубенькая жилка набухает на лбу:

– Не хочу взрослеть. Не хочу – не буду. А то ты состаришься и умрешь.

– Я не состарюсь, – обещает Финкель, но уверенности в голосе нет.

Падает в траву еще один апельсин, и остается их пять, ровно пять, которыми не налюбоваться в тоске от неизбежного...

*Александр Бараш*  
*ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ*

\* \* \*

В Кейсарию Приморской полуденный бриз  
и зелёное море и пена у ног  
В этой точке под синюю лупой сошлись  
Запад сердца и ближний как кожа Восток

Всё так странно Чем дальше – странней и странней  
Но чиста и бездонна исходная пустота  
Связи с миром – воздушный трепещущий змей  
в смуглой ручке ребёнка который устал

И когда я горелой бумагой развеюсь по свету  
что отыщет потомок на сломе культур?  
На высоком холме – перегородку между спальней и туалетом  
и осколок стакана с эмблемой «Рашут а-Шидур»<sup>1</sup>

\* \* \*

История этой любви коротка как вокзал  
откуда идут поезда за кордон  
Он ей ничего под конец не сказал  
но сердце заело как граммофон

Там бурый булыжник её площадей  
и гроздь гранитных громад  
и влажная тень земноводных аллей  
Бессмертна как дачный комод  
столица ступенчатый мавзолей  
подпольных свобод

Европа Америка Сзади Москва  
Израиль По борту Европа  
Культура Судьба Имя Бога Тоска  
Шуарма в шампанском с укропом  
Здесь тело и место на время слились  
и вот их надтреснутый блюз

---

<sup>1</sup> Рашут а-Шидур (*иврит*) – Управление телерадиовещания.

**ГДЕ-ТО В ЕВРОПЕ**

Старый нежный фантом: в небе башни стоят  
а под ними как вата под ёлкой – посад  
И под крышею в каждом окне слюдяном  
то горит то погаснет закат

Над латунной водой черепичный мирок  
Так давно обустроен этот тихий тупик  
что в него погрузиться с восьмушкой в руке  
будто видеть плавучий маяк

Пусть в заречье на площади трубы трубят  
а в высоком дворце золотой маскарад  
я скольжу вдоль реки на закатном луче  
приходи и найдёшь меня тут

И пока не растает заря за горой  
и прозрачная тьма не зальёт с головой  
меж рекою и небом летает мой взгляд  
как сквозняк проникающий в рай

*Леонид Левинзон*

## *СКАЗОЧНИК\**

Я ехал в автобусе и среди одетых по-зимнему людей увидел девочку в зябкой жёлтой кофточке. Хвостик волос сзади, бледные очки, она с любопытством посматривала по сторонам. На тонкой шее для красоты чёрная узкая нейлоновая ленточка, аккуратно отделяющая верхнюю часть шеи с головой от жёлтой кофточки и голых по плечи рук, держащихся за поручень переднего сиденья.

– Дяденька, а где улица Штерн?

– Ещё две остановки, а кто, девочка, там у тебя живёт?

– Я пирожки бабушке везу: видите, корзинка на коленях. Ещё тёплые, мама только что испекла.

– Я там выхожу, могу проводить. А в каком доме бабушка?

– Ой, спасибо! В тридцать девятом.

Мы спрыгиваем в потёки глины от раскопанной рядом траншеи. На автобусной остановке, одна из сторон которой сожжена, две бабки жмутся друг к дружке.

– Мой муж, – говорит одна, – лысый. И сын лысый. И другой сын лысый. И внук лысый.

– А у меня муж лысый, – говорит другая.

– Кто лысый? – вдруг не понимает первая.

И обе озадачено смотрят друг на друга.

– Ну, пойдём? – спрашиваю я.

Но девочка бросается к одной из старух:

– Бабушка, я тебе пирожки привезла!

Бабка недоумённо смотрит:

– Ты кто? Чья?

– Я пирожки от мамы привезла! – кричит девочка. – Ты моя бабушка!

– Глупости какие! – говорит бабка. – Иди отсюда. Какие пирожки?

Девочка ревёт во весь голос, и я увожу её в подъезд, где на стене низко и криво висит зеркало в коричневом пластиковом ободке.

– Я помогу тебе, – шепчу, – не расстраивайся, я сам съем твои пирожки и выведу тебя с улицы Штерн. Я даже могу быть твоей бабушкой, если хочешь, и за это мне ничего не надо: ни твоего детского дыхания, ни трогательного расположения к незнакомому человеку, ничего, кроме... Ты просто снимешь и подаришь мне эту притягивающую внимание ленту и поклянёшься никогда больше не украшать себя чёрными полосками. Я же сделаю из ленты бант. Куплю венозные розы с длинными колючими стеблями, оберну их в шелестящий целлофан и прикреплю на него чёрный бант с твоей шеи. Я понесу цветы на кладбище в Гиват-Шауль, над которым в небе летает и каркает воронья, на могилу одной девушки. Она писала странные стихи, та девушка, и кололась. Знаешь, девочка, я её не знал. Я с ней ни разу даже не разговаривал. От стихов и наркотиков

---

\* Главы из романа. Журнальный вариант.

она подурнела, груди её, заполненные той жидкостью, которую она закачивала себе в вены, обвисли, её, верно, трахала всякая блядь. А теперь, девочка, снимай ленту, не задерживайся, а пирожки можешь выкинуть в помойку, там им самое место.

Девочка резко отшатывается и со всей силы кричит, отражаясь в зеркале:

– Дурак, все дураки! Я вырасту и вам покажу!

Скатываются солёные лёгкие слёзы. Трёт кулачками глаза.

– Глупая, – смеюсь, – зачем испугалась? Посмотри на меня, ну же? Ведь моя фамилия – Андерсен!

Но девочка опрометью выбегает. Теперь она будет бежать, а потом, запыхавшись, идти вверх между склонов холмов, где впритык друг к другу стоят нелепые, на ходулях, дома с высунутыми языками подъездов, и сладковатый запах переполненных помоек будет бить ей в ноздри. Ей встретится по дороге сгоревшая до дыр машина у пятьдесят четвёртого дома, и толстый старик, благобно сидящий на подушке у пятьдесят восьмого, и через каждые пятьдесят метров – странные квадратные, закрытые ржавыми дверьми сооружения – бывшие мусоросборники. Сверху на этих мусоросборниках растут какие-то дикие злаки, поздней весной и осенью приобретающие пронзительный жёлтый цвет. Добрые жители кидают в эти тонковейные шелестящие сухим треском при ветре растения высококалорийный белый хлеб, и омерзительные голуби жрут его сутками.

– Девочка, – продолжаю я вслед, – ты благополучно окончишь школу, поступишь в университет, будешь много читать с экрана компьютера, найдёшь престижную работу и никогда, слышишь, никогда не вспомнишь ни о чёрной ленте, ни об этой встрече.

Девочка вздрагивает и оборачивается. Взгляд её встревожен. Губу закусил. Но сзади только нескончаемая разрытая траншея и горбом – красная земля из неё. Какой-то старик поднял руку и машет...

То ли ей, то ли нет? Может, зовёт, может, отталкивает?

Почему же я подошёл? В зимнем автобусе, одетая в тоненькое платьице и кофточку, ты напомнила мне о будущем. О нём пока ещё никто не знает. И я не знаю... Слышите? Всё громче, громче кричит птица Зиз.

Пора!

## 1

Чёрная корова-ночь со звёздами на животе опустилась. От сосцов её, от вымени её духота и влажность. И только тёмная роскошная масса воды, откликающаяся своими волнами на призыв одинокого маяка в старом Яффо, приносит ветер и облегчение. С женщиной Жанной мы сидели на пляже, опираясь спиной на сложенные шезлонги, и её горячее колено касалось моей ноги. Мы только что познакомились в монструозной центральной автостанции, наполненной бзушными шмотками и дешёвой русской музыкой, и прошли, раздвигая ночь плечами, по улице, названной в честь английского генерала, к морю. Купили две бутылки холодного росистого пива. Сели.

– Что такое «Хайнекен»? – я спросил.

Жанна искоса посмотрела и облизнула губы.

«Хайнекен», не «Хайнекен» – какая, к чёрту, разница? Я поцеловал Жанну, и она ко мне придвинулась. У Жанны были маленькие тёплые груди и весьма удобная короткая юбочка для последующих действий. Я так скажу, в Тель-Авиве всё просто. Поэтому «Хайнекен», «Хайнекен» – какая, к чёрту, разница?

Исчезли звёзды, я закурил. Жанна сидела молча, рассеяно набирая в ладонь песок.

– Когда-то у нас была замечательная свадьба, – неожиданно сказала, опустив голову, – все танцевали, веселились, около нашего стола сидели огромные собаки и тарасили глаза. Было смешно и сладко. – Страхнула песок и разровняла. – Вчера ночью прижалась к мужу, а он вдруг оттолкнул и рявкнул: отставить! – Опять набрала песок, и песок просыпался сквозь пальцы. – Он у меня долго был военным.

– Ты хоть позвонишь? – спросила на остановке.

Я замялся.

Она дёрнула плечом и села в тесноту маршрутного такси, отправлявшегося в Бат Ям.

Я поднял руку. Жанна мимолётно улыбнулась, преобразив своё узкое лицо, и оставила меня наедине с освещёнными витринами.

Ночь дышала, невидимое, но ощущаемое море подпитывало влажностью, вовремя появившийся ветерок приятно обдувал лицо. Взяв сандалии в руку, босыми ногами я шёл по Алленби. Вокруг кружили огни, взрывалась и отдалялась музыка баров, девчоночьи духи щекотали обоняние. При этом не оставляло ощущение огромного молчаливого взгляда, в котором утопало биение собственного сердца и весь безумный танцующий город.

Я остановился и набрал номер.

– Матвей, ты где?

Медленный, с запинкой, голос:

– В гостях. Приходи.

– А куда?

– Думаешь, я знаю?

– Ну, опять... – я улыбнулся.

Матвей со своим сильно вылепленным немолодым лицом, замедленными движениями, печальными глазами, распространяющий поле молчаливого обаяния, из-за пристрастия к водке и женщинам постоянно умудрялся попадать в невозможные ситуации. Вся его жизнь была невозможной ситуацией, которую он с успехом усложнял и усложнял.

– Здравствуйте, Алёша! – мягким тембром. – Мы живём около центральной автостанции, чуть налево по Левински, дом двадцать девять, позвоните, когда будете подходить. Как вас узнать?

– По глазам.

Недоумённое молчание.

– Ладно. Неважно, – решила женщина. – Я выйду.

Я купил ещё бутылку «Хайнекена» и пошёл, держа сандалии, к центральной автостанции. Но по мере того как гигантское здание выросло из темноты узких восточных улочек, меня охватывал страх – это исполинское чудовище с бордово-красными колоннами-ногами было ужасно. Казалось, сейчас оно выхаркнет из себя всю напиханную внутрь суетливыми тараканами бзушную шелуху, двинется, сминая коричневые сырые дома с отставшей штукатуркой, и

стекло будет весело сыпаться на мостовую. Поведёт вокруг открывающимися налитыми кровью глазами и заревёт так, что где-то далеко-далеко не менее страшным криком ему откликнется птица Зиз.

– Так, спокойно, спокойно... – сказал я себе, отшатнувшись от выброшенного вперёд окаменевшего языка, по которому днём скачтываются зелёные, так легко взрывающиеся автобусики. – Я просто здесь не пойду.

И, опасливо посмотрев, надел туфли – вдруг что случится, а я босиком.

Взял резко влево, обошёл по дуге, минуя ночные лавки с их хитрыми, как змеи, и простыми, как решётки на окнах, хозяевами, позвонил, женщина показалась.

– Здравствуйте! – мило сказала.

Чуть картавит, надо же...

– Алексей.

– Мила.

– Сюда?

– Да, мы уже год здесь живём.

Открыли дверь, ударил свет. Матвей спал на диване, два каких-то мужика перебивали друг друга. Телевизор мигал.

– Котлеты будете?

– Нет.

– Что значит – нет? Конечно будете!

– Между прочим, гость пришёл! – обратилась к мужчинам.

Те повернулись.

– Костя, – молодой парень со смешным чубчиком.

– Алик, – мятый длинный мужик с начинающими редеть кудрявыми волосами. Усишки, майка неопределённого цвета, узкие клетчатые брючки настолько подтянуты, что видны грязные белые носки.

– Вкусные котлеты, Мила.

Мила улыбнулась. У неё приятное лицо, у Милы, и ждущие глаза. Под глазами усталые тени. С левой стороны побольше, и чуть щека опухла.

– А ваш Матвей пришёл и спит, – сообщила.

– Да он всегда так.

Мила опять улыбнулась. Повернулась к своим.

– Ну, вы, – пристыдила, – гость пришёл, прервитесь!

Парень с чубчиком опять протянул руку:

– Костя.

Я прислушался:

– Жизнь – это молекула, – хитро подмаргивая маленькими глазками, треснувшим тенором сообщал мятый Алик.

– Я в Суздале продавал огурцы, – поддерживал Костя и бил себя в грудь рабочим кулаком.

– Ещё котлетку? – спросила Мила.

– Меня в голову петух клюнул... – голос Алика.

– А я там не мог жениться, а здесь уже три года с Милой... – голос Кости.

– Давайте, Мила, я вам анекдот расскажу.... Ползут две змеи...

Мила послушала, подумала, потом начала смеяться, сначала тихо, потом всё громче, громче, потом опять тихо. Она вообще очень нетороплива, эта женщина. Дёрнула Костю за чубчик:

– У меня тост.

Мы встали. Мила торжественно объявила:

– Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

– Какой хороший тост! – затрещал Алик. – Как приятно ужинать вот эдак, запросто...

Мила гордо улыбнулась.

– ...Как приятно ужинать вот этак, запросто, в тесном кругу! Милочка, ваши чудные котлетки, и вы сами как котлетка... Ох, Костик, – Алик облизнулся, – повезло тебе!

– Вы друзья?

– Да нет, – Мила пожала плечами, – Костя сегодня у магазина познакомился.

– Выходит, Матвея вы тоже не знаете?

– Нет, конечно.

– Мила, – начал я осторожно, – а вы не боитесь, что к вам могут прийти не те люди?

– К нам плохие люди не попадают!

Я ошарашенно замолчал и начал будить Матвея.

– Матвей, вставай, хватит!

Выспавшийся Матвей бодро открыл глаза:

– Лёшка? – удивился.

– Пошли, ладно?

– Передавайте привет! – вскочил и затряс руку Алик. – Вы в хоре поёте? Нет? Жаль! А привет, так и скажите – от Алика... Случайно шляпочку не забыли? – продемонстрировал засаленную кепку.

– Я вас провожу, – неожиданно решила Мила.

Рассвет. Надо же, досидели. Над домами посерело, и в этой дымке стал виден пустынный пляж, размножившиеся маленькие улицы, редко-редко машина проедет, одиноким жёлтым перемигиваются светофоры.

И вдруг заалело, покатило ленивым ветром. Встающее солнце, изломав над прищуренным глазом бровь, оглянуло владения. Рыжий кот под роскошно заваленной коробками мусоркой проснулся, открыл зелёный хитрый глаз, бомж на скамейке облегчённо вытянул ноги, повернулся на другой бок. Шабатное утро: закрыты кафе и дискотеки, кошерные и некошерные магазины, за крепкими запорами спрятан припудренный воздух пип-шоу и массажных кабинетов.

– Мила, забрать с собой Алика?

Пренебрежительно махнула рукой:

– Сама справлюсь.

– А можно дать вам совет?

– Дайте.

– Никогда не приглашайте к себе неизвестных.

– А то что?

– А то придёт тьма со Средиземного моря и накроет.

– Да ладно.

– Безумие какое-то... – пробормотал я, когда она ушла. – Или все ненормальные, или только я один. Матвей?

– Что?

– Вокруг что-то неправильно! Будто ненастоящее, как сминающаяся бумага. И в этой шуршащей реальности ходят биороботы. Простые желания, понятные инстинкты. Но много испорченных!

Знакомишься – всё нормально, разговор, движения, потом хлоп – и задёргался. Что скажешь?

– Ну, не знаю... – Матвей зевнул и потёр обеими руками своё удлинённое крупное лицо.

– Мог бы уже и выспаться.

– Мешали...

Руки в карманах, показался навстречу маленький худенький человек в мешковатой, больше на размер, одежде. Добрёл, поздоровался. Глаза тревожные.

– Привет, Саша, не спится?

– Доброе утро, Матвей.

– Саша, это Алексей, мой друг.

– Очень тонко. Вы знаете, Алексей... – неожиданно взялся за пуговицу на моей рубашке, – иду я вчера, вижу, собачка за мной бежит, и долго так бежит. Я уже всю Алленби прошёл, а она бежит и бежит – пристала. Каких-то мужиков, как своя, облаивает. Ну, надумал я от неё избавиться. Перескочил дорогу, глядь – она за мной, и не успела, попала под такси. Лежит, скулит, я плачу, поднял, отнёс под дом. А оттуда хозяин выскочил: «Убери, – кричит, – что ты палдь принёс».

Вздыхнул:

– Пойду я.

– Пока, Саша.

Я посмотрел вслед:

– Как он выживает вообще?

– У него квартирка в Яффо.

Мы свернули на Шенкин. Семь ступенек вверх – и вот желаемый солидный дом с внушительной дверью между двумя высокими кирпичными вертикалями.

Хлопнула дверь, и наружу показался лысый худощавый старик с длинным острым носом, одетый в настолько грязный халат, что обтрёпанные рукава и верхние полы его залоснились до черноты, и начал такой же грязной тряпкой протирать мраморные поручни.

– Доброе утро, Семён! – сказал Матвей.

– Доброе... – пискляво отозвался старик и высморкался в ту же тряпку, которой протирал мрамор.

Мы вошли в тёмный коридор, в беспорядке заполненный всякой дребеденью – сломанными стульями, сломанными вешалками, какими-то огромными тазами. С середины потолка на длинном проводе свисала люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожей на шерстяной кокон, в котором сидит червяк. Сразу потянуло гнилостным запахом.

– Никогда не подумаешь, что это миллионер, – сказал я.

– Ты о Семёне?

– А о ком же ещё?

Несмотря на непрезентабельный вид, Семён действительно был миллионером. Ему принадлежал не только этот четырёхэтажный дом на престижнейшей улице Тель-Авива, но ещё три дома в Хайфе и Нетании.

В Израиле Семён появился в семьдесят первом и, не справившись с трудностями абсорбции, быстро перешёл ночевать на скамейки в парках. И наверняка там бы и остался, если бы его не нашли

два холёных, с невозмутимыми физиономиями, адвоката, объявивших о наследстве и заполучивших доверенность на управление делами. Вот только в жизни самого Семёна за тридцать лет миллионерства ничего не изменилось. Дойдя до крайней степени скупости, он проводил время, роясь в помойках и таская к себе всё, что мог найти. Семёну много раз предлагали продать его имущество, окружённое ночными клубами и современными бутиками, но домо-владелец упрямо отказывался.

– Я только смотритель, – хитро сощурившись, говорил своим писклявым голоском, – что вы от меня хотите, я только смотритель.

Но была у Семёна слабость: следуя каким-то окликам из прошлого, он любил русскую нищую богему, и его скупость удачно уживалась со снисходительностью к людям, говорившим на одном с ним языке. За гроши он сдавал им квартиры, прощал долги, а как-то даже поселил в своём доме целый русский цирк, который обманули менеджеры, бросив в Израиле без денег и билетов на обратный путь. Вот только мало кто мог выдержать длительное соседство с грязным, пропахшим потом и свалками стариком.

– Лёшка, давай выпьем?

– Матвей, сколько можно?

– Помянуть надо, – глухо объяснил Матвей.

– Кого?

– Ольгу, ты её не знаешь. Мой друг по Питеру. Она приезжала недавно, читала стихи. Мне не понравились её стихи. Делала фотографии, мне не понравились её фотографии. Выпустила книжку, мне не понравилась её книжка. Торопливо всё это. Но она умерла. А я её знал. И относился к ней.

Сутулясь, открыл, налил.

Потом я лёг. Сначала никак не удавалось заснуть, а когда заснул, приснился мне вопрос: почему в пите щель?

Серьёзный вопрос, а ответа нет. Сколько мне ни втолковывали, ни объясняли – мол, разница температур, где-то что-то отслаивается, отходит, где-то склеивается, пристаёт – не понимаю. Физика не моя наука. А что моя наука? Нет таковой. Начинаю что-либо учить, бросаю. Опять начинаю. Зато сны. Вот и сейчас – лечу в самолёте, отсвет бортовых огней, стюардессы чай разносят. Но вдруг наш самолёт начинает снижаться. Становятся видны деревья, дороги, машины движущимися точками, одинокий шлагбаум на переезде, быстро бежит земля, касаемся колёсами, подпрыгиваем, опять касаемся, свист ветра, едем, замедляемся, остановились. Я выхожу: что это!! Какая-то деревня? Снег, редкие мужики как озябшие кукушки, около сельпо трактор. Сзади гул. Я оборачиваюсь: батюшки мои! Мой самолёт улетел! Что тут поделаешь! Захожу в сельпо, на полках берёзовый сок в трёхлитровых банках, консервы со шпротным паштетом, сухие грибы, банные веники висят у притолоки, в углу к портрету Ленина ружьё прислонено. Спрашиваю у пьяненькой продавщицы, далеко ль до Питера? Она с изумлением смотрит:

– Ты что, дядя, с глузду съехал?

Я обозлился, выхожу, а за мной пацан увязался.

– Дядь, дай рубль?

– Пацан, далеко ль до Питера?

– Дай рубль, скажу!

– Ну, на.

– Год, если пешком.

Косит пацан глазом, шмыгает, нос рукавом вытирает.

Вот, думаю, сейчас пожалуйюсь в милицию, что самолёт улетел, и тут же мысль – я иностранец, у меня доллары, вдруг заберут? Нет, не буду я никуда заходить, пойду себе в Питер. Выберусь за околицу, и с Богом! Открываю чемодан: и где тут мои валенки?

Чёрно-белый сон начинает рваться. Рвётся, как в старой кинохронике – полосы, полосы. Порвался, и вот: на побережье Ям-Суф живет чернокожий народ маленького роста. Они засевают свои поля, и, когда приходит время созревания, к ним прилетает птица Зиз. Она пожирает посева, нападает на чернокожих и ранит их в глаза.

## 2

На самом деле я живу в Иерусалиме на улице Штерн. У меня комната с большим окном и выходом в садик из одного дерева. Вот мы с Жориком Карениным в ней и живём. Жорик Каренин – это чёрный большой котяра, наглый и хитрованистый, как всё его племя. Жалюзи на окне полуопущены, в комнате полутемно, я в кровати, только что проснулся и сонными глазами осматриваю свою комнату. Каждый раз так: просыпаешься – и будто родился вновь. А с тобой вместе рождаются твои вещи: компьютер, два стареньких кресла, коврик на полу и панно из Юго-Восточной Азии с победительным рыжим тигром.

Но хватит, пора вставать: сегодня у меня важный день, я записался на приём к заместителю мэра, её зовут Алина, и эта Алина не совсем чужой человек, два года назад я ходил в её литературный клуб, и мы даже здоровались. Замечательное было место – зал с полукруглыми окнами, в которых видны стены и башни Старого города, мягкие кресла. Доклад о Пушкине, доклад о Чехове, доклад о Бунине, и в разгорячённые голоса угасающим звуком вплетается звон колоколов.

Бунин с молодой женой был в Иерусалиме. Написал рассказы светлыми жаркими словами. До сих пор в глубине улицы Яффо стоит двухэтажное здание, служившее тогда гостиницей. На первом этаже мастерская краснодеревщика, на втором, если подняться по мраморным ступеням и пройти через балкон, мастерская Славы Коппеля – моего любимого художника.

В бытность существования клуба я работал в ресторане, с румынским рабочим мыл посуду. Приходишь после пара и объедков – Пушкин. А эта Алина, плюс ко всем её достоинствам, ещё и пела. Красивым ртом выводила песни Окуджавы. Нет, жаль, что кончилось.

На улице ранняя июльская жара, а перед глазами моя извилистая тесная улица с чередой мусорных ящиков. О, автобус! Я напрягся, добежал до остановки. Лениво распахнулись двери, я зашёл, а внутри ребёнок плачет, захлёбывается. Уже сипит от надрыва.

Я порылся в сумке, протянул шоколадку.

– Спасибо, спасибо! – горячо отреагировала мать в платке, закрывающем малейшие признаки волос. Взяла шоколадку, сунула всхлипывающему дитятке, тот с размаху выбросил.

Все едут, на полу точно посередине шоколадка в надорванной упаковке.

– Вот так всегда! – чётко выговаривая слова, посочувствовал рядом человек в сером костюме. – Хочешь помочь и получаешь с размаха.

Протянул руку. Рукопожатие крепкое:

– Будем знакомы – Мессия.

Я опешил.

– Что, удивлены? – рассмеялся собеседник. – Не удивляйтесь. Я ведь тоже всего два года как осознал. До этого был точно такой, как вы. Работал себе кочегаром. Работал, работал, и вдруг...

– Что вдруг? – я осторожно спросил.

– Да как обычно: проверил давление, лёг покемарить. И вдруг меня что-то дёрнуло! Открываю глаза – батюшки! На стене кочегарки, как живое, изображение бородатого старца. Смотрит и улыбается. Я сразу понял – Авраам! Потом вижу – со лба старца до моей головы протянулся золотой луч. Я сразу понял – неспроста! И тут Авраам гулко так мысли стал передавать: мы, мол, через звёзды общаться будем. Давай езжай в Израиль, строй царство. Вот как раз с этой ночи, – собеседник победоносно посмотрел, – меня будто подменили! Я начал читать Библию, пророков, Нострадамуса, расшифровывать смысл. Наконец, приехал в Израиль, и здесь на меня снизошло откровение – скоро будет построен Третий Храм!

– Может, вам в ешиву обратиться?

– Обращался.

– И что?

– Выслушать – выслушивают. Потом ходят, будто меня нет. История повторяется, народ наш как был жестоковыйный, так им и остался!

Автобус сделал поворот, я поднялся на выход.

– Вы обо мне можете почитать! – крикнул человек вдогонку. – В газете «Следопыт» за две тысячи третий год! Я там интервью дал!

Мэрия у нас расположена напротив старого города. Её отстроили, фонтанчики – пальмы, в их густых кронах кошки сидят, горячий ветер обдувает охранников. Внутри, как в советских районах, красные дорожки.

– Алина у себя?

– Занята! – взвизгнула секретарша. – Ждите.

Тоже мне шавка.

Час прошёл. На самом деле я хотел попросить денег на водку – мы же здоровались? Эта визгливая не хотела меня записывать, но я настоял. А сейчас вдруг очень ясно дошло, что денег мне не дадут. Матвей был прав. Что тогда меня стукнуло? И что я скажу? Ходил в клуб, дайте денег? Я вас очень уважаю, дайте денег? Я к вам, профессор, и вот по какому делу...

Вызвали.

Алина злющая как чёрт, рот крепко сжат. Петь явно не хочет.

– Слушаю!

– Я к вам, и вот по какому делу...

– Я помогаю только своим! – перебила. – Здесь муниципалитет, вы не по адресу пришли. Да и вообще, зачем вам деньги?

– Ну, как, – я удивился, – а на водку?

– Все на водку хотят! Какая мне в этом выгода?

Я немножко подумал и подмигнул:

– Раз денег не будет, то может споём? В два голоса? Виноградную косточку в тёплую землю зарюю, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву... и друзей созову...

Алину перекосило.

– Да кто ты такой?!!

– Андерсен.

Алина вскочила. Её прекрасное лицо превратилось в волчью морду, она стремительно начала обрастать шерстью. Напружинилась, вскочила на стол. В рычании угадывалось:

– Вон!

Я расхохотался и, рванув на себя дверь, пробежал мимо визжащей, норовящей вцепиться в ногу шавки. Уже шагом спустился по широкой лестнице и вышел на площадь с пальмами. А вот здесь мне стало грустно. Нет, дело не в деньгах. Просто грустно, и всё. Состояние неуловимо изменилось. Может, солнышко виновато? Оно у нас яркое, щедрое.

Я немедленно забыл Алину, свои просьбы и растворился в лете, одевающем стены Старого города в прозрачное марево. Напротив этих стен на торце яффского дома памятью о войне за Независимость – выщерблены от пулемёта. Как там Бунин писал?

«Жить обычной жизнью после всего того страшного, что совершилось над ней, Иудея не могла. Долгий отдых нужен был ей. Пусть исчезнет с лица её всякая память о прошлом. Пусть истлеют несметные кости, покроются маком могилы. Пусть почиёт она в тысячелетнем забвении, возвратится ко дням патриархов».

Прошло чуть больше ста лет, и меня, гражданина и совсем не алкоголика, выгоняют из муниципалитета с новыми красными дорожками. Кругом израильские флаги, полицейские штрафуют за неправильную парковку, блестят витрины, а из Старого города печальный звон колоколов – напоминание, предостережение, предвидение? Но стоит лишь чуть отойти, и уже не слышно – новый город, автобусы, магазины, кафешки на каждом углу. Всё эфемерное, лихорадочное – жизнь.

Так как с работы я отпросился, то первое дело зайти к Славе Коппелю. Бунинский дом спрятался в глубине улицы, загородившись автостоянкой, перед подъездом дорожка заросла неряшливыми колючими кустами, сам подъезд насквозь, с другой стороны дома мирно ходят куры, а между ними, не обращая на них внимания, во весь рот зевает лохматущая собака. На втором этаже дверь в мастерскую полуоткрыта.

– Слава?

– Да-да...

Красками пахнет. Всю жизнь хотел быть художником, эх, да что уж тут.

– А, Алёша, заходи!

Огромный Вячеслав в задумчивости у мольберта. Спиной к нему около своего рисунка полная женщина, видимо, ученица. На стенах Славины работы, и свет из окна ощутимо вытягивается, как у Рембрандта, расширяя сырое глубокое пространство комнаты, заставляя играть краски. И на подоконнике подхватываются светом, обрисовывающим до малейшей шероховатости мощную, грубую их фактуру, –отмокающие кисти в керамической посудине.

– Хочу петуха нарисовать! – мощно прогудел Слава. – Чтобы глаз был свирепый! Чтоб орал на весь мир! Ну, что у тебя?

– Пиво, Слава.

– Пиво?

– Рыбку ещё сушёную взял, но не знаю, можно ли в мастерской, ещё запачкаем...

– А ты что, – подозрительно нахмурил кустистые брови художник, – воблой собираешься в мои картины швыряться?

– Да вроде нет. Ещё шоколадка есть.

– Разворачивай. Вчера вот тоже сидели, Игорь приходил, пока всё цело. Лида, Лидочка, – позвал своим гудком собирающуюся ученицу, – смотри, вот мой друг Алёша пришёл, шоколадку принёс, хочешь шоколадку?

– Нет, нет, – отозвалась.

– На диете сидишь? Брось, Лидочка, от шоколада только худеют.

Лидочка покраснела и полезла в сумку.

– Вячеслав Григорьевич, вот деньги.

– Доллары? – Слава по-детски улыбнулся. Помахал бумажкой: – Надо же, в первый раз ученик долларами рассчитывается. Так что, не хочешь шоколадку? Зря, зря. Алёша, представляешь, кто у нас Лида? Дисти... дистибыютор! Деловая женщина – машину водит, самолётами в отпуск летает, а всё равно чего-то не хватает, приходит рисовать. Просто так ведь человек рисовать не будет. Это вроде глупости, да? Зачем, когда кругом компьютеры? А ведь приходит.

Лида надела солнечные очки.

– Так не хочешь шоколадку?

– До свидания, Вячеслав Григорьевич, – железно сказала Лида.

– Да-да.

Я сделал глоток.

– Слава, а где вы натуру берёте?

– Где беру? – огромный Слава усмехнулся. – А нигде! Пойми, Алёша, художник не должен копировать действительность, ведь, сколько ни копируй, природа богаче. Ты обязан преобразовать окружающий мир, внести в него свои краски, увидеть новое.

С неоконченного Славиного холста безумным выкаченным глазом смотрел прямо на меня ярко-красный петух, казалось, он вырывается из надоевшей плоскости, чтобы заорать, закричать на весь мир, и уже знает, что кричать, с нетерпением и яростью толкает то крылом, то ногой невидимую плёнку, ждёт завершающих мазков, чтобы освободиться.

– На пиво не надейся! – предупредил я петуха на всякий случай и пересел от его взгляда в другое место.

Через два часа, выйдя от Славы, я посмотрел вверх и застыл поражённый: краски выливались потоком из окна маленькой мастерской, расцвечивали ультрамарином воздух, глубоким коричневым – мостовую, бордовым – небритые лица едоков в ближайшей фалафельной, в переменчивом освещении от огня жарящейся шавармы уши людей горели жёлтым. Араб с чёрными усами, снисходительно посвистывая, нарезал мясо, думая, что огонь – это собачка в цирке. Но неожиданная вспышка, ещё одна! Араб схватился за опалённые усы, жующие отшатнулись, у хозяина-бухарца затряслись руки, и, чтобы успокоиться, он сам себе заплатил пять

шекелей. Всё – мастерская, разбегающиеся прохожие, дома – потонуло в глубокой синеве, и лишь мерно вращалась шаварма, освещённая всполохами не успокоившегося огня.

Рядом остановка, подошёл автобус, водитель высунулся из окна и спрашивает:

– Паспорт?

– Я в своей стране! – гордо выпрямляюсь. – У меня проездной! Зашёл внутрь, а на полу шоколадка в надорванной упаковке.

Ночь. Я сижу за компьютером, как молюсь. Стираю и опять пишу, стираю и опять пишу.

Ну что, люди, первая сказка.

Стояла осень...

Но что значит – стояла? Ещё важно ложились лопухи возле дороги, и подсолнух гнулся под солнцем, полный чёрных созревших семечек, и простодушные ромашки любопытно выглядывали из травы, на пустырях рос лиловый иван-чай, и загоревшие за лето мальчишки бесстрашно ныряли со старого моста на «кто лучше», а потом ловили упрямых щиплющихся раков, так же жглась крапива, и коровы медленно мычали своё вечное «му-у-у» и звякали колокольчиками, а за ними ходил с хворостиной какой-нибудь парубок с непослушными русыми волосами и с независимым видом вертел соломинку в зубах. Но уже всё чаще дул холодный ветер, от которого рябило траву, и появились первые ещё робкие жёлтые листочки, и облака затягивали небо, хотя солнце, рассердясь, расталкивало их и посылало волны тепла, в котором купались стрекозы, и занятые пчёлы, басовито гудя, деловито сновали от цветка к цветку.

Так вот, сидел дядя Костя на скамеечке, низко вкопанной в землю, и, опёршись широкой мягкой спиной на старательно вырезанное, но уже потемневшее от времени «Оля плюс Вася = любовь», разговаривал с тётей Настей, быстрой, ловкой, оторвавшейся на минутку от шумного выводка своих детей и готовой вскочить и ринуться обратно на помощь и спасение.

– Вот, Настюха, – говорил дядя Костя, блаженно вытянув больные ноги в валенках, – а знаешь ли ты, что скоро у наших сусидив-евреев Судный день?

– Кто ж цёго не зназ, – отвечала Настюха и кидала беспокойный взгляд на дверь подъезда. – Кажысь, завтра.

Тут надо отметить, что скамеечка, на которой и происходил этот на самом деле очень заурядный, разговор, стояла во дворе трёхэтажного кирпичного дома прямо напротив магазина «Свитанок», а кто ж в Коростыне не знает «Свитанок»? Сам двор был заполнен детьми, уже не одно поколение которых неспешно вытягивалось под ласковым солнышком и придиричивым взглядом дяди Кости.

– Да, так вот, – продолжал дядя Костя, – а знаешь ли ты, что в каждый Судный день чёрт тырит одного еврея и швыряет в болото?

– Ой, – испугалась Настя, перекрестилась и закрыла рот платочком. – В яке ж? – полюбопытствовала, на мгновение забыв о детях.

– В Полежаевское, недалече, там ещё, помнишь, трактор утоп.

Настя в сомнении покачала головой:

– Як же вин туды их довозыть?

– По воздуху. Черти ведь летучие. В прошлом году Фомич, ты Фомича знаешь? Едет на своей подводе по Лесе Украинке, глядит – чёрт еврея нэсэ.

– И як же вин выглядае? – не утерпела Настя.

– Кто, еврей?

– Ни, чорт! Скажэшь тоже! – хихикнула.

– Ну как, с рогами, хвостом, юркий. Фомич як гаркнет: «Стой! Отпусти!» Чёрт испугался да еврея и выронил.

– Вин живой залишився?

– Кто, чёрт?

– Еврэй!

– Жив. Отряхнулся и побиг. Чёрт ведь низко летел, ну метра два от земли. Они вообще невысоко летают.

– А куды побиг?

– А я звидкы знаю? И Фомич не знает. Ему даже спасибо не молвили. Он потом от обиды неделю пил.

– Бидолага, – вздохнула Настя и поднялась, – колы б вин у нашему будинку жив...

– Кто, чёрт?

– Тьфу на тэбэ! Та ж еврэй! Я б його спытала. А по правди, – упёрлась руками в бока и подозрительно посмотрела, – твоему Фомычу вириты... Балаболка вин. И пьяныця, яких пошукаты.

– Да я сам видал, – возмутился дядя Костя, – хватает и тащит! Истинный крест, тащит! Вот давай завтра вместе подывимся?

– Трэба дуже, – фыркнула Настя, – що, в мэнэ своих справ мало? – и убежала в дом.

Дядя Костя только сожалеючи вслед посмотрел. И тут же переключился на другого собеседника, чернявого и небольшого роста, как раз из народа, представителей которого бросают в Полежаевское болото.

– Драстуйтэ, Яша!

Но серьёзный Яша с чубом не был расположен к разговорам и, видимо, не подозревал о возможной своей участи – а ведь кто знает, крикнет ли такой легко обижающийся дядя Костя в ответственный момент. Яша вообще не верил в предрассудки, был человек военный, нездешний и приехавший с женой в свой законный отпуск к её старикам. Еле кивнув, мол, заметил, он прошёл дальше, твёрдо ступая босыми ногами. Надо тут сказать, что Яша по Коростыню ходил босиком принципиально, а на уговоры жены, что люди засмеют, внимания не обращал. Вот и сейчас сказал весомо:

– Тоже мне – Коростень, я в Саратове учился!

Он вышел наружу и, миновав дядю Костю, направился на рекогносцировку к кинотеатру «Жовтэнь».

– Шоб тебя черти взяли! – пожелал ему всё знающий дядя Костя. – Ишь, мисто наше ему не нравится.

Но Яша, конечно, не услышал. Почти строевым шагом он быстро удалялся, напевая про себя одесскую блатную песенку:

– Мне каждая собака здесь знакома, когда по Дерibasовской идёшь...

На самом деле Яша в Одессе никогда не бывал, но песенка ему очень нравилась. Заливисто свистнув, он спугнул бродячего пса и свернул, чтоб было ближе, через парк, где плакучие ивы грустно

опустили плакучие ветви долу, скрывая от нескромных взглядов занятые скамейки. Яша только грустно вздохнул – сам он женился ещё в училище, и сейчас сыну было шесть лет. В прошлом году он его чуть не потерял в лесу; задумался, а когда обернулся, было поздно. Пришлось поднимать роту – пропажа нашлась быстро, но жена устроила такое... В общем, рано женился. На Красноармейскую Яша пролез через дырку в заборе и разочарованно вздохнул: во весь фасад кинотеатра колыхалась от ветра ткань гигантской рекламы нового фильма «Наш дорогой Никита Сергеевич». Чуть ниже виднелась гордая надпись: «Принимаются только коллективные заявки».

А тем временем из подъезда вышел ещё персонаж: низенький старичок с живыми голубыми глазами. Одной рукой он держал упирающегося внука.

– Не хочу, деда... – плаксиво тянул внук.

В другой руке в крепко завязанной сверху кошёлке смирно сидела курица.

– К рэзнику, Моисей Абрамович? – проявляя осведомлённость, утвердительно поинтересовался дядя Костя.

– Да. Вот неслух!

Внук вырвался, набрал скорость и исчез за углом.

– Вы завтра поосторожнее, – предупредил дядя Костя.

– Почему? – забеспокоился старичок. – Ожидается что-то? Константин Иванович, вы скажите, вы что-то знаете?

– Погода погана, ураган, – нашёлся дядя Костя.

– Ураган? – пробормотал старичок. Вздохнул и пошёл со своей курицей.

Внук настороженно поглядывал за ним со стороны детской площадки, укрывшись по всем правилам военного искусства зелёных – недавно созданной организации. Они даже побили одного мальчика за то, что сломал ветку. Но дед исчез из поля зрения, и внук облегчённо поднялся. Он никак не понимал, почему курицу надо покупать не в магазине, а на базаре, держать в ванной, чтоб она там ходила и кричала, а потом нести её к этому противному резнику в клеёнчатом блестящем фартуке на край города. Хотя именно на базар ходить было интересно, один раз он даже видел там цыган – большой бородач шёл в толпе цветасто одетых женщин, молча и важно указывал толстым пальцем на ряд, немедленно начинался визг, крик, потом становилась видна ошарашенная крестьянка, бессмысленно переводящая взгляд с мелочи в руке на остатки своего товара.

– Что же ты, Алёша! – крикнул дядя Костя вернувшемуся мальчику. – Деда забижаешь?

– Я не обижаю.

– А кто это, интересно, только зараз ему сказал: «Хочу на танцы», – и потом утик?

Мальчик терпеливо рассматривал свои сандалии.

– Смотри, черт заберёт!

– Чертей не бывает, – проглатывая букву «р», сказал мальчик.

– Ишь який разумник! – возмутился дядя Костя. – Ну, добрэ, иди...

Ближе к ночи опустел двор, и задул ветер, заметался по Красноармейской, цеплял пригоршнями песок из песочницы и рассыпал вокруг, застучался в окна, зашелестел ослабевшими листьями, качая податливые гибкие ветви деревьев, пел на разные голоса, заду-

вал в подъезд, натываясь на припрятанный Сашкин, тётки Насти сына, велосипед, а сверху уже бежали тучи – над «Свитанком» да над базаром, над рекой с мостом да над Домом офицеров, где обычно играет музыка, а сегодня тихо – что-то мешало, что-то не получалось, что-то было не в состоянии. Прорезал небо всполох молнии, прогремел гром, но не было дождя. Ещё молния, ещё гром – и опять осечка, только метут воздух, как в забытьи, длинными ветвями плакучие ивы, обнажая в своей запыленности спрятанные скамейки, хотя тоже заплакать и не могут. А во дворе возникла и маячется узкоплечая чёрная фигура – не сосед, не дворник, не милиционер. Встаёт на цыпочки, заглядывает в окна, что-то высматривает, что-то подсчитывает, загибает пальцы, шепчет, плюётся, чешется.

– Свят, свят, свят, – видя такое томление природы, начал креститься старый бобыль дядя Костя. Закрыв плотное окно.

Пошёл к телефону и проверил номер участкового, написанный ручкой на обоях, – в такую ночь всё возможно.

По соседству мальчик Алёша крепко спал. Он сегодня хорошо напугался: под вечер они всей компанией сели в кружок у старой липы и рассказывали страшные истории.

– В чёрном-чёрном доме за чёрной-чёрной дверью есть чёрная-чёрная комната. В чёрной-чёрной комнате есть чёрный-пречёрный шкаф. В чёрном-пречёрном шкафу живёт чёрная-пречёрная рука... – тут рассказчик драматически сделал паузу и неожиданно заголосил: – Хвать тебя за волосы!

Бабушка тоже спала, а дедушка на кухне крутил настройку старенького радио, ловил «Голос Израиля». Обычно у него ничего не выходило, но иногда сквозь многочисленные помехи пробивались позывные печальной и такой знакомой мелодии. Дед припал ухом к динамику, скрывающемуся за аккуратно вырезанными в пластике дырочками, и начал вслушиваться. Открылась дверь – дети из гостей пришли. Оп-па – вешалку уронили! В тишине с трудом сдерживаемый женский смех и вторящая ему густая басистость.

– Тише, тише!

Замолчали, и вдруг возглас:

– Нинка, а я в зеркале не отражаюсь!

– Как это?

– Да нет, показалось. Тьфу, глупость какая.

– А ты пей больше...

Утро. Неизменный дядя Костя на скамейке. Рядом тётка Настя.

– А дощу, глянь, як и нэ було.

– Так то ж воробьиная ночь, – объяснил всезнающий дядя Костя, – она завсегда сухая.

– А ось вчора... – Настя запнулась.

– Да-да...

– А нащо чорт их крадэ?

– Длинная история, – дядя Костя уселся поудобнее, – ходылы они по пустыне...

– А навищо?

Дядя Костя озадаченно почесал голову:

– А як же? Воду шукалы! Без воды как выжить? И был у них начальник Моисей.

– Дывыся, – Настя фыркнула, – зваты як сусида нашого.

– Да. Так вот, ходылы, ходылы и потерялись. Разбредись кто куды. Моисей придумал звернуться до чёрта. Мол, спаси, а я тебе обещаю даваты одного еврея каждый год. Чёрт согласился, затрубил в большой рог, евреи и выбрались.

Настя, наморщив лоб, задумалась и вдруг безапелляционно выпалила:

– Набрехав вин усэ!

Дядя Костя поперхнулся:

– Кто, Моисей?

– Ни, чорт!

– Як это?

– Ну... Подывыся сам: еврзи и у нас у Коростыни живут, и у Новогради, и у Житомири, куды нэ кинь – по всим вуглам. Нэ зибрав вин их, а колы так, и вымогаты ничего. Скажи, еврзи ти сами знают, що чорт их можэ вкрасты?

– Конечно, – не подвёл дядя Костя, – есть у них така примета: если в зеркале не отразился – всё, чекай!

Настя осуждающе покачала головой, поднялась:

– Пиду, большеенький зи школы зъявятся, млынчики захоче. – И ахнула: – Постий, постий, а христыян вин нэ чипае?

– Не-а, – протянул дядя Костя, – живи спокойно.

Тут порыв ветра неожиданно сыпанул пылью, запорошил глаза.

– Ах, ах! – застонал дядя Костя.

Кряхтя, встал: сверху небо быстро заполнялось угрожающего вида тучами. Ещё порыв ветра, ещё, какой-то злой присвист, и вокруг потемнело. Тётя Настя, охнув, бросилась в школу. Дядя Костя, торопясь, взобрался на порожек и перед тем, как скрыться в подъезде, оглянулся: ветра больше нет, кругом безлюдность, тишина, только где-то на самой границе слышимости раздаётся чей-то тоненький прерывающийся смех.

– Чур меня, чур меня! – перекрестился. – Хапун наступаает!

Опять родился ветер. Тронул листья, пробежался вихорьками по потрескавшемуся асфальту, закручивая оброненное людьми – сигаретные упаковки, горелые спички – взлетел и ухнул вместо мяча в волейбольное кольцо.

– Баба, а баба? – Алёша сидит за обеденным столом и держит в руке хлеб с маслом. – А ты почему не ешь?

– Мне нельзя.

– Ты больная?

Бабушка улыбнулась:

– Нет. Понимаешь, сегодня у нас, у евреев, важный день. Так я и дед постимся.

– Почему тогда мама и папа едят?

Бабушка в затруднении пожевала губами:

– Им ещё рано.

– А почему этот день важный?

– Время...

– Мама, хватит, – Нина вошла, поморщилась, – что ты ребёнку голову дуришь! Ух! – повернулась к окну. – Какие тучи! Точно дождь будет.

В ответ на её слова без малейшей задержки закапали первые капли, чаще, чаще, и полился мерный сильный дождь. Пахнув холодом

и свежестью, дождь занесло и бросило в открытое окно, сбило газ на плите, намочило бабушкин халат.

– Окно! Окно!

Ворвался с улицы намокший Яша, схватил полотенце, снял рубашку, запрыгал по комнате, растираясь. Остановился напротив зеркала чуб расчесать и замер: в глубине зеркала родилось движение. Ещё неясное, оно приближалось к поверхности. Яша вгляделся: тёмная точка быстро увеличивалась в размерах, и от неё распространялась рябь. Ближе, ближе, зеркальная гладь заволновалась и лопнула, оттуда внезапно вынырнула рука, поросшая чёрными волосами. Яша отпрянул, пятерня, промахнувшись, вцепилась в полотенце, вслед за рукой вывалился из зеркала узкоплечий клетчатый, обдал смрадным дыханием и, с неожиданной силой схватив Яшу поперёк голого торса, поволок к окну.

– Нинка! – крикнул Яша и, взмахнув руками, уронил торшер.

Вбежала жена:

– Ой, родненький!

Храбро вцепилась в Яшину ногу.

– Мама, папа!

Захватчик тянул с упорством танка, но ему противостояли не один, а четыре человека, плюс Алёшка раздражал своим плачем. Тут Яша извернулся и ткнул противнику пальцем в глаз – обиженный вопль потряс квартиру. Хватка разжалась, все кубарем повалились с ног. Захватчик встряхнулся и вдруг превратился в крепкого лысого дядьку с вислыми усами. На поясе у него болталась кривая сабля.

– Я тебя породил!.. – загремел дядька и попытался вытащить саблю.

– Врёшь! – азартно выкрикнул Яша и ударил противника по челюсти. – Знай комзвода девяносто шестого пехотного!

Черты дядьки смазались.

– Мать твою! – перед Яшей стоял жирный, ненавидимый всеми в части политрук Голопупенко.

– Лейтенант, – пискляво сказал Голопупенко, – почему одеты не по уставу? Я вас научу Родину любить!

Его рука начала удлиняться, удлиняться, тянуться к Яшиному горлу. Но, против ожидания, Яша не испугался:

– Наконец-то, – радостно сказал и двинулся вперёд, – ох и давно я мечтал тебе рожу расквасить.

Голопупенко отпрянул и, на мгновение потеряв очертания, трансформировался в другого лысого, почему-то сжимающего в руке ботинок и до ужаса напоминающего... напоминающего...

– Было бы ошибкой думать, что дальнейший подъём сельского хозяйства, – произнёс лысый скучным голосом, – пойдёт самотёком. Все ли вы коммунисты? – строго осведомился.

И без промедления запустил ботинком в полуголого оторопевшего комзвода. Попал.

– Ах ты сука! – взбесился Яша, – да я тебя, да я тебе...

– Барух ата, Адонай, – задыхаясь, начал дед. Обманщика закрыло волчком. – ...Элогейну Мелех а-олам... – И крикнул что есть силы: – Избавь нас, детей твоих, от нечисти!

Пришелец взвыл, окутался дымом и, тяжело подпрыгнув и невообразимо вытянувшись, вылетел через форточку. Увидев по пути

испуганную физиономию дяди Кости в окне, он со всего маху заехал ему в стекло появившейся в руке палкой и, забористо ругаясь, исчез.

– Что это за мерзость! – в оглушающей тишине, прерываемой всхлипываниями Алёши, передёрнувшись, крикнул Яша. – Мне объяснит кто-нибудь?!

– Хапун, – коротко сказала бабушка. – Ворует. Не наше поверье, а вот прицепился, как и любой другой навет.

– Он не вернётся? – дрогнувшим голосом спросила Нина. – Ну всё, маленький, не плачь, всё...

– Нет, – дед с трудом встал. – Там, где дают отпор, он не появляется.

– Но я, при чём тут я? – тихо спросил Яша.

А через два дня качались в окне бескрайние славянские леса, поля, а с ними качался и, позванивая ложечкой, опасно ехал к краю столика чай. Жена задумалась, чему-то улыбается, ребёнок заснул, от соседа запах перегара. Яша молча перебирал струны:

– Возьму шинель, и вещмешок, и каску, в защитную окрашенные краску, ударю шаг по улочкам горбатым, как славно быть солдатом, солдатом...

Итак, стояла Осень...

Остались в прошлом старый мост, магазин «Свитанок», кинотеатр «Жовтень» – там уже новые фильмы. Сломалась и безжалостно выброшена скамейка с заветными словами про любовь, другие люди живут в доме, другие дети играют во дворе. Но всё так же бежит речка Случ, возвращаются вечерами, неспешно заполняя дорогу, коровы с пастбища, метут воздух плакучие ивы, целуются пары, задувает ветер, и каждое утро кто-то наверху, высоко-высоко в небе, аккуратной кисточкой рисует облака и солнце.

### 3

Итак, я имею честь жить на улице Штерн, с размаху прилепленной на склон холма. Одетые в солдатскую гимнастёрку дома охраняются мусорными баками, и ввинченные в деревянные скамейки старухи верстовыми столбиками отмеряют расстояние. Моё съёмное обиталище сброшено в доме пятьдесят девять вниз, к самому его подножию. Жёлтые кошки с удлинёнными глазами день и ночь дерутся за мой садик из одного дерева, но вот лениво появляется огромный чёрный котиче, разгоняет кошек на время и в знак победы полосует когтями подобранный возле помойки и установленный, как флаг, диван.

Нет, всё-таки одиночество – странная вещь. Больше всего мечтаешь от него избавиться и в то же время больше всего хочешь, чтобы не нарушали твоего покоя. Хорошо, что у меня есть Матвей, Виталий, Борисик, Катя. Они в другом городе, и этот великолепный город-собака так поспешно построен, что, если не уследишь, всё время по жаркому сухому песку съезжает в море. Криво установленные обереги из черепов отцов-основателей – Моше Даяна, Голды Меир, Бен-Гуриона – стоят на страже, но ночами на дискотеках не верящие дедам малолетки крепкими молодыми ногами разбивают асфальт, пытаются добраться до песка.

– Матвей?

– Да, Лёшка, привет.

– Как дела?

Неуверенный голос:

– Вот и не знаю. Какие-то обои незнакомые...

– Опять! – я улыбнулся. – Итак, что вчера было?

– Пошли с Виталем домой, – подумав, ответил Матвей и с радостью добавил: – Вспомнил! Девушка была. Девушка – зубной врач!

– Где она сейчас? Куда ты её дел?

– Никуда не дел. Наверное, пошла сверлить.

– А какие планы?

– Приезжай, конечно.

В этот четверг мы слушали тонкого изящного Диму Максюту с его новыми стихами. В кафе было душно, и, хотя сверху крутился вентилятор, разгоняя застоявшийся, с запахами винегрета и пива воздух, духота, проступая капельками пота, не исчезала, плотно обволакивая людей, а они добавляли пиво, добавляли, шептались, скрипели стульями. Наглаженный, в белой рубашке с галстуком, Максюта с каждой прочитанной строчкой повышал голос и всё более накалялся, как бы отталкивая от себя разлитую вокруг сонливость.

Вразвалку, не обращая никакого внимания на действие, ходила дебелая официантка, кто-то неудобно поднимался, тащился курить, старательно отворачиваясь от яростных взглядов поэта. В общем, всё происходило как обычно, но, подстёгиваемое высоким голосом, в зале накапливалось напряжение, не хватало чего-то самого главного, когда в полуоткрытую после очередного курильщика дверь заскочила одетая в длинную пёструю юбку и канареечного цвета безрукавку высокая женщина. Обведя сидящих торжествующим взглядом, она зацепилась за вдохновенного Дмитрия и, указав на него большой коричневой сумкой, громко воскликнула:

– Довольно!

Дмитрий опешил.

– Что, продал Россию, сволочь? – интимно обратилась к нему женщина. – Продай, иуда? Так гореть тебе в сатанинском пекле!

– Вы мне мешаете! – побледнев, проскрипел Дмитрий.

В зале, отвлекаясь от пива, оживились. Женщина обернулась:

– И вы продали Россию! – крикнула с радостью. – Вы все!

– Да, продали, а что было делать? – крикнул с места наш друг Виталий, и на его гордом лице с носом-горбинкой заиграла обычная ироническая усмешка.

– За тридцать три сребреника! – опять выкрикнула женщина и, как в танце, закружилась между столами, непрезентабельно уставленными жестяными банками с пивом. – Иуды! Вы оскорбили своей цыганствующей технократией русское космическое дворянство!

– Позвольте, – очнулся кто-то из организаторов, – а кто вы такая?

– Я великая княжна Юсупова! Я получила благословение самого патриарха! Вы хотели истребить нас духовно и бактериологически, но мы выжили! Вы убийцы!

Последнюю фразу она произнесла, тыча костлявым пальцем непосредственно Максюте в лицо.

– Вы нам всё срываете! – опомнился поэт. – Уходите!

– Ни за что!

– Выйдите вон!

– А это ты видел?! – княжна сунула Дмитрию под нос сухой и колючий кукиш.

Дмитрий посинел и схватил княжну за локоть, но та вывернулась.

– Кровосос! Хам! – она разошлась ещё больше. – Не прикасайся ко мне! Я собираю подписи в пользу нашей кровоточащей родины! Да здравствует Сталин! Америка погибнет!

При этих словах княжна достала из сумки непонятные голубые листки и начала бросать вверх. Вентилятор с радостью подхватывал их потоком воздуха и кружил по залу. Дмитрий, вцепившись в безрукавку княжны, начал толкать её к выходу. Княжна треснула поэта сумкой по голове. Наконец Дмитрий её вытолкал, княжна ещё было попыталась прорваться обратно, но кто-то сзади оттащил, и Дмитрий, поправляя порванную рубашку со сбившимся галстуком, тяжело дыша, рухнул возле нас на стул.

– Эта идиотка мне сорвала выступление! Боже мой! – театрально развёл руками. – Мне сорвали выступление!

– Успокойся! – искоса взглянув на Дмитрия, статный ироничный Виталий осторожно донёс сигаретный столбик пепла до пустой банки. – Ты же не во Дворце Съездов свои стихи читал? А сюда, – Виталий, подумав, решительно придавил и саму сигарету, – сюда сам Господь Бог велел таким птичкам залетать, разбрасывать голубые пёрышки.

– Россия, Россия, – вспомнил Дмитрий и, наливаясь безумием, выпалил: – Да если бы я родился не в Свердловске, а в Чикаго, например...

– То был бы негром, – лениво подсказал скучающий толстый Борисик и зевнул.

– Если бы я родился в Чикаго, – продолжил Дмитрий и закатил глаза, – то я уже получил бы Нобелевскую премию!

– Ты всегда скажешь что-нибудь интересное! – хихикнула Катя – единственная женщина в нашей компании.

Её буйные рыжие волосы солнечным костром выделялись в полутемном кафе, на круглом лице сияли всегда любопытные голубые глаза.

– Нет, получил бы! – упёрся обиженный, как ребёнок, Дмитрий.

– А что толку в премии? – риторически спросил длинноволосый нескладный Матвей. – Что толку? – И грустно поставил точку: – Ведь всё равно бы потом повесился.

Дмитрий побледнел.

Неожиданно наступила тишина, и в застывшем времени собственная запозднившаяся компания с выхватываемыми из теней неярким светом лицами напомнила старинную картину с потемневшими от времени, смешанными из тяжёлого масла красками, постепенно всё чётче и чётче проявляющуюся в сигаретном дыму. Засыпавшие зал голубые листки на несколько мгновений придали неожиданное растрёпанное очарование этому месту с дешёвыми выщербленными стульями и колченогими столами. Но повернул гордый профиль Виталий, Дмитрий узкой рукой взял недопитое пиво, наваждение рассеялось.

– Пора, пожалуй! – опять зевнул Борисик. – Засиделся я с вами – бездельниками.

– Так мы уже все идём. – Виталий взглянул на часы. – Лёш, ты, кажется, хотел на море?

Мы вышли.

– Сколько там нам завтра обещают? – ведя велосипед, спросил Виталий.

– Плюс тридцать, – виновато, будто сама устанавливала погоду, ответила Катя.

– Можно было не спрашивать.

Через короткое время, добравшись до моря и искупавшись, мы шли по линии прибоя, ступнями ощущая прелесть мокрого песка, пока не наткнулись на пожилого мужчину в панаме и трусах, которые когда-то называли семейными. Мужчина, стоя по колено в воде, спиннингом ловил рыбу и сам себе укоризненно жаловался:

– Опять ничего нет!

– Вы что, прямо на пляже рыбу ловите? – поднял брови Виталий.

– Ну, ловлю, – сразу набычился мужчина, – а что, нельзя?

– И как, удачно?

– Жена довольна, – сказал с сомнением.

– Скажите, почему не утром? – с любопытством округлила голубые глаза Катя.

Мужчина почесал панаму.

– Ну, решил и к вечеру выйти, а что, нельзя?

– Можно, но вы так золотую рыбку не поймаете...

– Шутить изволите... – тоскливо сказал рыбак, – мне бы окуня... – и опасливо сощурился, – а что, нельзя?

Мы ушли, а старый рыбак в смешной панаме и широких трусах, как безумный, всё забрасывал леску в море, всё забрасывал, и из его выцветших глаз катились слёзы.

– Какой я был дурак! – бормотал. – Ну какой я был дурак!

#### 4

Что ж, приходится признать – прошло не так уж мало лет после того, как в один из августовских дней самолёт «Боинг», заполненный эмигрантами из России, в числе которых были мы с мамой, развернулся над акваторией близ тель-авивского дельфинария и заскользил над каменными горячими джунглями Флорентина и Шхунат а-Тиквы.

У входа в аэропорт ошарашенных эмигрантов встретил оркестр, исполнивший в честь приехавших незнакомую мелодию.

Через минут десять оркестр замолк, за исключением двух увлечёвшихся скрипачей, но в конце концов их одёрнули. И тут, пройдя строй музыкантов, перед нами показалась представительная тётя, празднично набросившая на плечи флаг Израиля.

– Господа! – крикнула тётя. – Теперь у вас начинается новая жизнь!

И неожиданно заплакала.

– Как я люблю мою страну, как я люблю! – донеслось сквозь рыдание. – Я люблю – и вы любите!

Вытерла слёзы и деловито произнесла:

– Паспортный контроль.

На первое время нашу маленькую семью вместе с другими поселили в девятиэтажную гостиницу, с такой силой ввёрнутую в ненадёжную почву, что вокруг нее потрескался асфальт. У входа стоял мешковатый швейцар, и по утрам гуляли блондинистые псы, ведомые домо-

хозяйками в цветастых халатах. Через месяц, видимо, чтобы разбавить славянских евреев, в гостиницу привезли эфиопских, чьи дети, растерянно смотрящие огромными глазами, без конца катались в лифтах.

Возбуждённые своей добротой, белые леди с вялыми грудями приносили эфиопам горы ношеной одежды. Но эта чистенькая одежда, как её ни стирай и ни проветривай, всё равно пахла застоявшимся потом европейских гетто.

Эфиопам с их сухой чёрной кожей не нравился запах и, влекомые природным чувством эстетики, они выбрасывали одежду из окон, украшая затейливым орнаментом потрескавшийся асфальт. Я как-то не удержался и спросил одного из эфиопов, зачем он приехал.

Тот пожал плечами:

– Я просто хотел жить в стране, где когда-то нашла свою любовь царица Савская. И кроме того, здесь больше еды. А мне говорили, что, когда хорошо питаешься, кожа из чёрной становится приятно коричневой.

Где-то далеко-далеко, прерывая воспоминания, раздался птичий крик. Наверное, это кричала птица Зиз, жалея об исчезнувших неблагодарных маленьких людях, которые умели выращивать то, что ей было необходимо.

– Матвей?

– Да, Лёшка...

– Ты где?

Сонный голос:

– Вот и мне странно – где я? Какие-то обои незнакомые...

– Опять! Ну, Матвей! Итак, что вчера было?

– Пошли с Каткой домой, – недоумённо ответил Матвей и задумался: – Кажется, девушка была. Девушка-химик!

– Ну и где она сейчас? Куда ты её дел?

– Никуда не дел. Наверное, пошла делать растворы.

Я вздохнул.

– Матвей, ты неисправим. Мы после обеда к Диме собираемся, ты поедешь?

– Поеду. Вот только девушку обнаружу...

Подняв голову, Матвей удивлёнными глазами осмотрел чужую обстановку: на всём лежала печать запущенности, неряшливости, ничего своего – расшатанный, как вспомнилось, стол с пустыми бутылками, диван, на котором он имел честь возлежать, посуда в раковине, полуоткрытая дверь в другую комнату, единственное светлое пятно – литография на стене.

Матвей поднялся, подошёл ближе и сразу узнал: Питер. Ранняя весна, ещё лежит снег, но уже тонкий, грязный, и из-под него текут ручейки холодной воды, кажущейся чёрной на асфальте. Ветер треплет листья деревьев, неяркое солнце поднялось меж оттаивающих домов, лучик ударил в окно, вспыхнул сиянием.

Стукнула дверь, и в квартиру, запыхавшись, влетела толстая баба с растрёпанными пепельными кудряшками.

– Проснулся, любовничек! – дробно рассмеялась. – А я тут пока за хлебцем сходила!

«Так, – Матвея бросило в краску, – эта явно не химик. Где же химик?»

– Ну ты и жук! – баба радостно продолжила: – Раздел меня почти всю и в самом интересном месте отключился! Кстати, – шумно дыша, подошла ближе, – мужчины обычно зовут меня киской.

– Может, я и жук, – независимо заявил Матвей, – но явно не котёночек! – И почти бегом выскочил в жаркий, шумящий нетерпеливыми гудками машин день.

Первым, кого он встретил, был похожий на испуганного воробушка Саша со своими небесно-голубыми глазами.

– Матвей? – тихо произнёс Саша.

– Здравствуйте, Саша.

– Знаете, Матвей... – Саша подошёл и взялся за пуговицу на его рубашке, – я вот думаю, симфонизма не было в русской поэзии, а была оркестровка. У Пушкина, у Фета, Бродского, Мандельштама местами. У Мандельштама скорее певучесть, голос. Человеческий голос слышится в его стихах, а не инструмент. Инструмент очень слышится у Бродского. Орган или фортепьяно, как католическая месса. Я считаю, некоторые вещи у Бродского прямо как месса звучат. Понимаете, какая вещь?

– Понимаю, – осторожно ответил Матвей.

– Тогда я пойду.

Пошёл, унося тревогу. Постепенно удаляясь, шаркая стоптанными сандалиями, пропадая в светящем прямо в глаза, заполняющем всё нестерпимым золотом солнце. Матвей озадаченно посмотрел ему вслед и направился на Шенкин.

– Доброе утро, Семён!

– Кому утро, а кому день... – буркнул пропахший помойкой старик и теснее запахнул чёрный от грязи халат.

– Семён, – стараясь не дышать, извинительно начал Матвей, – можно, я позже заплачу?

– В прошлом месяце ты говорил то же самое!

– Семён, меня на почту берут, вот зарплату получу и сразу отдам за два месяца.

Семён, сурово выпятив нижнюю губу, начал думать, громко сопя своим могучим носом.

– Хорошо, – визгливо изрёк, – подожду.

По дороге в Бат-Ям Матвей, на радостях от удачно проведённого разговора, немедленно заскочил в русский магазин, в котором около прилавка к трём сменявшим друг дружку продавщицам столпилось множество народу. Когда подошла очередь, одна из них, самая светленькая, со рвением качнулась к Матвею:

– А вы?! Вот вы? Что вы хотите? Или вас уже обслужили?

– Это в каком смысле? – поинтересовался Матвей.

До молодой женщины сразу не дошло, но потом она улыбнулась:

– В таком! Вам чего? Колбасы?

– Тепла, – серьёзно ответил Матвей, – всего лишь тепла.

– А ещё? – спросила продавщица, приглядываясь к высокому немолодому мужчине.

– И водку, к сожалению.

Получив бутылку «Александрова», а к ней в придачу – телефон светленькой продавщицы, Матвей зашёл за угол и с несколькими работягами, отмечающими конец рабочей недели, выпил за их,

работяг, здоровье и безгрешную трудовую деятельность. На встречу он приехал, изрядно опоздав.

Место обитания Дмитрия выглядело почти дачным: небольшие двухэтажные домики, возле каждого участок земли и что-то цветёт. У Димы тоже ухожено, цветы, столик. Как всегда, будто только что из театра, в галстучке и белой рубашке, ломкий, остролицый, весь на нервах, Дмитрий цедил:

– Вот сделаешь – и опять переезжать. А ведь столько труда! – кивнул острым подбородком. – Цветочки, дорожку песочком посыпал.

– Ну да, помпезно... – барственно разлёгшись в кресле, лениво подтвердил Виталий.

– Дим, а где Женька? – спросила самая рыжая на свете Катя.

– К маме отправилась... – поморщился Дмитрий.

– Между прочим, ребята, – заговорил Борисик, похожий профилем, если очень вглядеться, на бронзового греческого героя, – вчера начал «Пейзаж, нарисованный чаем» Павича, читаю и думаю – всё про меня. Одинокий интеллигент живёт в большом городе...

– Ты вроде не одинокий?

– Лариска такая, что она есть, что её нет...

– Отдай мне, – предложил Матвей, открывая калитку и входя запинающимся шагом.

– Ты старый! – Борисик скосил глаз.

– Что значит – «старый»? – не согласился Матвей и сел. – Я бреюсь каждое утро. Правда, Лариса? Ты же меня давно любишь!

– Явился – не запылится... – проворчала, начав заплетать свою очень рыжую косичку, Катя. – Ты ж обещал раньше приехать? Чем занимался?

– По хозяйству, – солидно доложил Матвей.

Все, как по команде, улыбнулись.

– Матвей, кстати, – я решил поинтересоваться, – как там твоя девушка-химик?

– Опять девушка? – вытаращила глаза Катя.

– О, моя девушка... – Матвей качнулся на стуле. – «Я, – говорит она, – ваши стихи, обливаясь слезами, на ночь читаю». Я сразу руку под подушку – а там Мандельштам!

На этих словах Матвей, сладко зевнув, уронил голову на грудь и бесстыже заснул.

– Вот нельзя его одного отпустить, – покачал головой Виталий, – обязательно куда-нибудь влезет, что-нибудь сотворит, а уж опоздает – это точно.

– А ну, поднимите мне веки! – протянув в сторону Матвея руку, басом проговорила Катя. И, хихикнув, продолжила: – Нет, не хочет, не поднимает!

– Да уж вряд ли, – засмеялся Дмитрий.

– Кстати, – вдруг оживился Борисик, – а читали ли вы «Герой нашего времени»?

– Ну, читали...

– Оригинальное произведение. Я просто облез! Между прочим, в нём экстрасенсорная линия является главной. Как там сказано? – Борисик, возбуждаясь, засмеялся: – «Зачем я морочу голову девушке, обладать которой не хочу и никогда не женюсь». Действительно, ну зачем?!

– Есть упоение в бою... – сверкнул глазами Дмитрий.

– А я говорю, Лермонтов – экстрасенс! Кстати, у меня был фильм пятьдесят пятого года, где Печорина сыграл Вербицкий, так он потом покончил с собой – Печорина играть небезопасно. А был ещё спектакль «Княжна Мери», в нём Миронов играл Грушницкого, неудачно играл, я считаю. Вот в пятьдесят пятом был Грушницкий так Грушницкий! Нет, Лермонтов фишку рубит! И поэт великий.

– Пушкин... – тихо сказала Катя и принялась за другую косичку.

– Вообще, великих раз-два и обчёлся!

– Да ты больше и не читал... – заметил Виталий. – Дим, пиво ещё есть?

– Я читал больше, чем ты!

– А толку?

Борисик нахмурился:

– Дурак, я понимаю, что Пушкин – великий поэт, но он не канал на уровень Блока.

– Ну как же, – проснувшись в этот момент, грустно сказал Матвей, – а «Белеет парус одинокий»?

– Это Лермонтов! – не замечая подвоха, исправил Борисик. – Так вот, лучше «Незнакомки» в русской поэзии ничего не написали!

Катя, смешно морщась, заткнула уши.

– Даже Мандельштам, которого я очень люблю, не написал, – продолжил Борисик, – и Набокова я люблю, но Блока ставлю выше. У Пушкина таких стихов, как у Блока, мало. У Пушкина я люблю только монолог председателя в «Пире во время чумы».

Виталий покачал головой:

– Борисик, я раньше очень любил Блока, а недавно купил книжку и отложил с сожалением – детский он, наивный.

– Великий поэт! – упрямый Борисик надул губы. – Более пророческого и трагического не было в русской поэзии.

– Самые пророческие – это Пушкин и Мандельштам! – звонко хлопнула ладонью об стол Катя.

– Нет, вы только вникните: «Придёт России страшный год и будет кровь и кровь...», – не обратил на Катю внимания Борисик. – Как сказано?

– А Бунин?

– А Набоков?

– И Набоков тоже, – важно согласился Борисик, – я, Дима, в отличие от некоторых, способен воспринимать разные вещи. А как он про русские берёзки написал! – Борисик мечтательно закрыл глаза. – Или вот, у Рубцова...

– Берёзы, берёзы... – Матвей быстро приходил в себя. – Я к берёзе неплохо отношусь, но это же сорное дерево, кроме склизкого подберёзовика там ничего не найдёшь.

– Кто о чём, а Матвей о грибах! – фыркнула худенькая маленькая жена Борисика Лариса.

– Нет, скажите, кто из поэтов воспел хоть раз боровик или хороший крепкий подосиновик? Куда там, зацепились с берёзами! – в глазах Матвея запрыгали насмешливые искорки, и он потянулся к пиву. – Борисик, как с таким мириться?

Все замолчали.

Борисик посмотрел на часы.

– Пора ехать.

– Куда ты вечно торопишься? – с досадой спросила Лариса.

– Между прочим, у тебя ребёнок есть!

– Мы диспут не закончили... – улыбнулся из своего кресла Виталий.

– Да что с вами дискутировать! – пренебрежительно махнул рукой Борисик. – Ни у кого своего мнения нет! Кто со мной, пошли в машину...

– До Шенкин подбросишь?

– Подброшу...

Борисик ездил на «Ладе». В начале девяностых русские было наладили поставку их в Израиль, но «Лады» ломались, запчасти были дорогими, вскоре от этих машин не осталось и следа. Лишь упрямый Борисик, пожалуй, единственный в стране, по-прежнему ездил на визжащей на поворотах, громяющей всем железом дымной «Ладе». Кое-где покрашенная краской, вся в пятнах от ржавчины, машина напоминала сумасшедшую зебру.

Борисик отвёрткой отжал дверь, первой, на правах жены, залезла Лариса, потом остальные. Борисик надел большие очки и начал заводить механизм. Внутри чихало, лопалось, не сцеплялось, наконец, сцепилось, и «Лада», в салоне которой уже отвалились все пластиковые части, окуталась сизым дымом и поползла.

– Знаете, ребята, – вспомнила Катя, – мужик интересный появился. Артист цирка. Одноногий. Сергеем зовут. Приглашает к себе.

– Одноногий?

– Да.

На этих словах, вдохнув дым, Катя закашлялась. «Лада» вздрогнула, но мужественно борясь сама с собой, продолжила медленно двигаться по шоссе. Когда уже подъезжали к Алленби, Борисик встревожено объявил:

– Кажется, тормозная жидкость потекла.

Матвей выудил в бардачке бутылку водки.

– Надеюсь, не эта?

– А что за писк? – хихикнула Катя.

Борисик пожал плечами.

– Может, ты не знаешь, – заметил Виталий, – но с писком не ездят.

«Ладу» ощутимо трянуло, и она, заскрипев ещё мучительнее, остановилась.

– Всё! – мрачно сказал Борисик. – Приехали.

– Хорошо, что у меня вода с собой, – похвасталась Лариса, – даже зимой беру.

– А зачем тебе зимой?

– Ну как же? – Лариса удивилась. – Вдруг бабах, взрыв, теракт, а я без воды.

– Так! Надоели, выметайтесь! – приказал Борисик.

Мы вылезли и пошли пешком, благо недалеко. На углу Матвей неожиданно остановился и начал задумчиво рассматривать лежащую около каменного парапета хорошо сохранившуюся старинную дорожную сумку, напоминавшую акушерский саквояж, с которым хаживал незабвенный товарищ Бендер.

– Ты чего?

Матвей с трудом оторвал глаза от саквояжа:

– Да вот.

– Ну, бери, – предложил я.

– А вдруг его кто-то потерял?

Катя весело фыркнула:

– Что-то я сомневаюсь.

Матвей сделал шаг от саквояжа и обречённо заявил:

– В нём можно рукописи хранить.

– Да бери, наконец, чудо гороховое! – Катя была сама решительность. – Он тут никому не нужен!

– Ты так думаешь?

– Ну да!

– А вдруг всё-таки кто-то его потерял?

– О Боже, тогда не бери! – не выдержал Виталий.

Матвей ещё немного подумал.

– Давайте зайдём в магазин, – предложил, – и если саквояж никто не возьмёт, то тогда он мой.

– Ладно, ладно!

Мы купили в магазине ещё продукты, отстояли очередь, Матвей, против обычного, торопился, и Катя, глядя на него, посмеивалась. Вышли наружу и остановились: улица была пуста, как в сюрреалистическом фильме. Ни одной машины, ни единого пешехода. По тротуару двигалось нечто. А именно – небольшой трактор-робот с выставленным вперёд суставчатым манипулятором. Бу-бу-бу, тархтел моторчик, бу-бу-бу... Механизм зловеще ехал прямо на заветный акушерский саквояж. Матвей посерел:

– Всё, пропала сумочка!

И тут заорали в мегафон:

– А ты куда прёшься? Пошёл вон, маньяк?!!

Огромными прыжками к акушерскому саквояжу, мелькая розовыми кальсонами из-под жуткого халата, вдохновенно нёсся непонятно откуда взявшийся остроносый лысый домовладелец Семён.

Робот крикнул и резко застопорился. На Семёна, казалось, закричала вся улица:

– Остановись! Остановись! Там может быть бомба!!

Но Семён, видя лишь добычу, никого не слушал и неуклонно приближался к заветному предмету. Но схватить предмет ему не удалось, наперерез добычнику геройски выскочил молоденький полицейский, обхватил старика поперёк талии и утащил за магазин. Робот продолжил движение, и вскоре раздался гулкий сухой выстрел.

Несколько мгновений ничего не происходило, но потом из ошмётков саквояжа показался сизый дымок, постепенно оформившийся в тощую разгневанную фигуру в роскошной чалме, тонком белом шерстяном кафтане и нежно-розовых сафьяновых туфлях с высоко загнутыми носками. Фигура возмущённо затрясла руками и исчезла.

Через минуту улица выглядела вполне банально. Темнело, ехали машины, шли пешеходы; полицейские, громко крича, разбирались с маньяком Семёном и угрожали ему судом, камерой и сумасшедшим домом. Отпущенный кем-то на волю, пробежавший мимо радостный пёс чуть притормозил, поднял лапу и пустил тугую струйку на жёлтую опалённую кожу расстрелянного акушерского саквояжа. Матвей, видя такое непотребство, лишь вздохнул.

У подъезда компанию встретил недавно поселившийся актёр Бориславский. Пытаясь взобраться по ступенькам и постоянно соскальзывая, пьяный Бориславский в спортивных штанах, цветной

рубашке и чёрной бабочке на шее, увидев золотоволосую Катю, из последних сил выпрямился и кокетливо произнёс своим красивым глубоким голосом:

– Здравствуйте, господа... Надеюсь, – Бориславский произвёл рукой изящное движение, – надеюсь, господа, вы простите мне некоторую воздушность?

## 5

Городок Азур был совсем непримечательным городком в окрестностях Тель-Авива. Если встать в центре Азура, то в какую сторону ни пойти, будет одно и то же: трёхэтажные одинаковые дома, вымученная жарой зелень да развилки улиц, шаг за шагом ведущие в такую же унылую пустоту. Попадётся иногда синагога, но что нам синагога? Единственное, у горячего тракта, по которому с рёвом и музыкой мчатся машины в никогда не засыпающий Тель-Авив, одно время стоял дощатый сарай, в котором бухарцы продавали народу дешёвые шашлыки, а салаты можно было набирать без счёта. Почему-то нехорошие люди бухарцы строго следили, чтобы в их сарай не пронесли спиртные напитки, и поэтому на входе стоял рукастый в расстегнутой рубашке, строго смотрел и громко кричал на ихнем нашем языке, если замечал. В общем, сплошное неудобство.

В принципе, тихий Азур не был бы никому и нужен, и чёрт с ней, с шашлычной, но в Азуре проживал Борисик. Вот к нему без конца наведывались то Матвей, то Виталий, Дмитрий, Катя и другие такие же, на самом деле непутёвые люди. Правда, зачем именно здесь Борисик купил квартиру, так и осталось непонятным. На Кишинёв, откуда Борисик родом, не похоже, Тель-Авив близко, но всё-таки далеко, да и серый грязный дом, в котором он жил, построенный каким-то очень уж местным архитектором, тоже не внушал очарования.

Ну что ж, Борисик так Борисик. Смешав в очередной раз водку с пивом, Борисик на этот раз проснулся необычно рано и, представив, что надо идти мыть подъезд в девятиэтажном доме, со стоном схватился за голову. Подъезд был дополнительным заработком и, хотя через пять лет жизни в стране можно было уже бросить это издевательство, Борисик упрямо чистил подъезд каждую неделю.

Немного подумав, он позвонил литературоведу Фиме Тихомирову, тихому человеку с бородкой клинышком и в сильных очках, жившему поблизости. Фима работал охранником, хотя даже при мимолётном взгляде на него можно было понять, что в первую очередь надо охранять именно Фиму.

– Фима хренов! – грозно сообщил Борисик в трубку, услышав голос Тихомирова, интеллигентно не выговаривающего буквы «р».

– Сам хренов! – неожиданно обиделся тихоня.

– А ты не оскорбляй, не оскорбляй! – разозлился Борисик и замолчал, прислушиваясь к молоточкам в своей многострадальной голове.

Тихомиров недоумённо послушал молчание и задал вопрос:

– Богисик, как дела?

– Кажется, это я звоню? – очнулся Борисик. – Я и должен спрашивать, как дела?

– Ну-у, – протянул Фима.

– Вот-вот, поэтому я и звоню. Ты мою девятиэтажку убрать не хочешь?

– Попгобую, – осторожно сказал Тихомиров.

– Прекрасно! – обрадовался Борисик. – Значит так, через час я за тобой заскочу, подкину и покажу, где орудия производства. Главное, ты их потом на место поставь.

– Ладно, – Фима согласно кашлянул, – тогда я собигаюсь.

– Собирайся, – Борисик положил трубку и увидел вышедшую из ванны в салон жену.

– Лариска, – недовольно спросил, – а почему я в салоне оказался?

– Пить меньше надо! – заносчиво объяснила вся утопшая в банном халате худенькая и маленькая Лариса. – Всё пытался за Матвеем угнаться.

– За ним угонишься, как же... – вздохнул Борисик и нахмурился. – А ну, коза, жрать давай!

– Сам козёл! – отбрила Лариса и пошла в кухню. – Яичницу будешь? – крикнула оттуда.

Тем временем из спальни показался вихрастый мальчик лет девяти.

– Семёныч, как дела? – спросил его Борисик.

– Порядок! – солидно ответил мальчик и прошёл в туалет.

– Хороший пацан! – определил Борисик. – Слышь, Лариса, а где профессор?

– Гуляет с собакой.

Борисик, чутко прислушиваясь к себе, поднялся с дивана.

– Кажется, стою, – сказал неуверенно.

– Кстати, я недавно Ваню Самохина видела, – сообщила жена.

– Ваню? Где?!

– На перекрёстке «Кибуц Галуёт». Он там милостыню просит.

– Милостыню? – Борисик несколько мгновений помолчал. – Пожалуй, я к нему съезжу. Подкину Тихомирова и съезжу.

Борисик стал надевать туфли.

– А завтракать? Твоя яичница?

– Да я быстро.

– Боря, но он же сам от нас ушёл.

– Жалко мне его, – насупился Борисик.

Несмотря на неприступный вид, Борисик очень часто с успехом заменял мать Терезу, заботясь обо всех, кого встретил на своём пути. Так, в своё время он дал приют пропившемуся кишиневскому журналисту Ване Самохину, а сейчас у него проживал оказавшийся без средств к существованию профессор Эдуард Альбертович Козлов. Совершеннейший небожитель, Эдуард Альбертович интересовался в жизни только русской историей и не умел купить булку хлеба без того, чтобы не потерять сдачу. Если бы не Борисик, он бы, пожалуй, погиб.

Борисик наконец надел туфли и пошел к «Ладе». «Лада», вся в диких пятнах и с отвисшим железом, выглядела хуже стоящего рядом мусорного ящика.

– М-да, – угрюмо подумал Борисик, – не хочется, а придётся покупать что-то новое.

Подъехав к Тихомирову, Борисик любовно похлопал пальцами по физиономии очень правого политика, чей портрет красовался в верхнем углу ветрового стекла Лады.

Политик стойко вытерпел.

– Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков! – сочувственно заявил ему Борисик и открыл Фиме дверцу.

Интеллигентный Фима, стараясь не касаться ничего лишнего, аккуратно сел, ладошкой разогнал дым и начал искать, куда застёгивается ремень безопасности.

– Дай сюда... – Борисик зацепил Фимин ремень своим.

– Хочешь, машину подарю? – спросил неожиданно.

Фима удивлённо посмотрел.

– Какую?

– Вот эту, – Борисик в роли дарителя приобрёл поистине величавый вид, – в которой мы сидим!

Фима пальчиком осторожно дотронулся до свисающих проводов.

– Большое спасибо, только я воздегжусь.

– Почему? – удивился Борисик. – Она же ходит!

– Понимаешь, Борис, у меня ведь и пгав нет... – объяснил Тихомиров.

– Жаль, – Борисик задумчиво почесал подбородок, – а то мне её так и так выкидывать.

Высадив Фиму и подъехав к перекрёстку, Борисик сразу увидел Самохина. Одетый в тряпье, зажимая в руке пластиковый стаканчик с мелочью, Ваня трясуче подсказывал к машинам и стучал в быстро закрывающиеся стёкла. Но, несмотря на повторяющиеся отказы, настроение у Вани не портилось. Открывая чёрный, со сгнившими пеньками зубов рот, бывший журналист без конца смеялся визгливым захлёбывающимся смехом, и, игрушечно кланяясь, вздымая руки, салютовал проезжающим.

Борисик, приткнув машину на обочине, подошёл к нему и поморщился от запаха давно не мытого тела.

– Ваня?

Самохин повернулся. К немытому телу добавил перегар.

– Ваня, – с упрёком начал Борисик, – ты тогда ушёл, ничего не сказал...

– Извини... – Самохин икнул. – Ты здесь по делу или как?

– Может, ты вернёшься?

Самохин хихикнул:

– Не вернусь.

– Ваня, что ты с собой делаешь? Ты же был известный журналист, ещё не поздно выправиться.

– Не вернусь.

– Пропадёшь же! – Борисик разозлился.

– Ну и пропаду! – рассмеялся безумным смехом Самохин. – Моя жизнь, что хочу, то и делаю! Свобода! – и, приплясывая, закружился. – Свобода! Свобода!

Борисик попятился. Самохин замахал руками:

– А вот, кстати, и друган мой подвалил... Знакомься!

Будто из воздуха перед Борисиком соткался, в майке и клетчатых брючках, грязный длинный тип с наглой ухмылкой и мелкими курчавыми волосами. Закривлялся, дёргая тощими ногами:

– Алик я, Алик!

Борисика передёрнуло.

– Ну, нашёл Ваню? – возясь со стиральной машиной, подняла голову Лариса, когда Борисик вернулся.

– Нет, – буркнул Борисик, – не было его там. Знаешь, – сказал, помолчав, – что-то мне неможется, давай в Лашон съездим? Из наших кого-нибудь возьмём?

– Только надо профессору сказать, – Лариса выпрямилась.

– Он что, сам не поймёт, что мы уехали? Дверь открывает, ребёнка кормить есть чем.

Расположенный около Иерусалима монастырь молчальников Лашон славился не только великолепным парком, но и молодым вином собственного производства. Торговля в монастырском магазине шла бойко, и вино с крестами на этикетках легко и быстро перекочёвывало в мирские руки. Благоухали цветы, высилась колокольня, молодой француз считал деньги, над деревьями, монастырём, магазином плыл колокольный звон.

Мы с Борисиком, с Ларисой и ещё одной иерусалимской поэтессой с бледным красивым лицом устроились за деревянным столиком около самого забора, ограждавшего монастырские владения.

– Слышали? Аня умерла. Передозировка.

– У неё вроде дочка осталась?

– Осталась.

– Всего двадцать пять лет, – почти прошептала поэтесса, – я знала её. Ей было двадцать пять лет. И всё из-за наркотиков. Теперь на кладбище в Гиват-Шауле.

– Что ж, – угрюмо сказал Борисик, – больше ничего плохого с ней не случится. Во всяком случае, она лежит в Иерусалиме.

– Ничего не успела.

– Почему не успела? – Борисик устало потёр глаза. – Успела. Мы же вспоминаем? Значит – успела.

– Мы? – иронически отозвалась поэтесса. – Мы?!

– А что ещё сказать? Была. Умерла. Жаль. Да, жаль. Посмотрим, что о нас скажут.

– Я недавно у неё была, кто-то принёс и прикрепил к камню чёрный бант. Страшно смотрится.

– Никак не смотрится, – вставил я, – бант и бант.

– Что-то часто звонят...

Поэтесса закурила. Из ворот монастырских владений показался, одной рукой тяжело опираясь на клюку, а другую пряча в складках рясы, старик с длинной седой бородой. Несмотря на общую дряхлость, он обращал на себя внимание крупным, угрюмо страстным, истовым лицом. Вдруг старик вскинул глаза, и меня буквально пронзил их яростный блеск, правда, немедленно сменившийся мрачной смиренностью. И лицо его сделалось ещё исступлённее.

– Это и есть отец Сергей?

– Да, – благоговейно прошептала Лариса.

– Сколько он здесь?

– Говорят, чуть ли не со дня основания.

Опять поплыл колокольный звон.

Поэтесса закурила.

– У нас Семёныч, – сказал с яростью Борисик, – и крещён, и обрезан.

Поэтесса ахнула:

– Но так же нельзя!

– Можно, – поморщился Борисик, – людей убивать нельзя. Понавыдумывали глупостей...

Дома, в родном сельском Азуре, милым жёлтым светились окна. Борисик толкнул дверь, вошёл. Эдуард Альбертович, позёвывая, сидел под абажуром.

- Семёныч спит? – спросила его Лариса.
- Спит, – кивнул профессор.
- Эдик, поставь чай...
- Сейчас.

Они сели в маленькой Борисиковой кухоньке. Чуть позже послышался увлекающийся голос профессора, ясно смотревшего простодушными глазами:

– Знаешь, Борис, совсем не доказано, что цивилизация – нравственная вещь. Это ещё Эмиль Дюркгейм высказал. В наше время, я думаю, его деликатное высказывание можно бы и усилить. Либертарианство в своём порыве просто сложило добро и зло, но в итоге получился этический ноль, который многим пришёлся по душе. Человек взялся господствовать над противопоставленностью добра и зла, не обладая при этом никакими способностями. А ведь такой способностью, ещё Мартин Бубер отмечал, обладает только Творец! Человек же растворяется, просто растворяется в этой противопоставленности. Борисик молчал.

## 6

Год назад я пытался изучать каббалу. Но это ничем не кончилось. Наоборот, попытка приблизиться к знанию вместо успокоения привнесла страх, уж слишком жестокими показались многие понятия.

– Что есть добрый человек? – обводя горящими глазами слушателей, говорил учитель, и его бледное лицо с чеховской бородкой поддёргивало тиком. – Да просто биоробот. А вот преодолеть собственный эгоизм – работа!

– Что человеку нужно? – продолжал. – Зарабатывать ровно столько, чтобы не быть нищим.

– Искусство? – смеялся. – Один из видов самоудовлетворения.

– Для чего мы занимаемся каббалой? Не из-за священного трепета, а только ради себя. Наслаждение и ещё раз наслаждение – принцип жизни.

После занятий люди выходили под усыпанное звёздами иерусалимское небо, ждали, пока учитель в своём поношенном чёрном костюме закроет двери, пожмёт по очереди руки и, мелькнув пятном белой рубашки, одиноко, быстрым шагом растворится во тьме.

Я недолго выдержал, месяца два, и сломался в День независимости. В пересыщенном жёлтым светом неуюте, с резко вылепленными чашками недопитого кофе на столах и нахохленными слушателями, учитель вещал и вещал, а снаружи гремел салют, бил в закрытые окна и своей упругой волной приоткрыл одну из створок, впустившую победный гром, смех и восторженные крики.

– Закройте! – учитель недовольно дёрнул щекой и с силой продолжил начатое: – Есть только два пути: путь Торы и путь страданий.

– А Холокост? – спросил я.

– Чем глубже болезнь, тем сильнее лекарство! – сухо ответил и так вцепился в спинку стула, около которого стоял, что побелели костяшки пальцев.

– Значит, лекарство? – я свирепо переспросил.

– Да. Ещё хотите что-то узнать?

У меня закружилась голова. Я встал и вышел.

Нет, время не прошло даром. Чтобы было уважительнее, меня научили писать слово «бог» с большой буквы и через чёрточку. А это, сами понимаете, достижение.

В Израиле все боятся Бога. Он очень явственно присутствует на этой земле, и особенно в Иерусалиме. Мне нравится Иерусалим. Несмотря на восточность, мусор и возникающую в неожиданных местах колючую проволоку – наследие Британского мандата. Сейчас эти ржавые шипы – история. Тут всё очень быстро становится историей. События так пригнаны друг к другу, что нет ни малейшей возможности передохнуть. Война закончилась, мёртвые в земле, раненые по госпиталям, в правительстве очередной коррупционный скандал, палестинские соседи стреляют по нашим городам ракетами, президент обвинён в изнасиловании.

Не Швейцария.

Но сегодня я в гостях у высокого широкоплечего человека со спокойно смотрящими тёмно-серыми широко расставленными глазами, бородкой и зачёсанными назад начинающими седеть тёмно-русые волосы. По своей однокомнатной крохотной квартирке он, едва вмещаясь, двигается осторожно и в то же время очень ловко. Из обстановки – два дивана, мольберт, гитара и ещё пиано, да, точно пиано – механическая штука, на которой можно задать мелодию. Во всю стену образ Иисуса на бумаге.

Хозяина, как и меня, зовут Алексей, и он, как мне кажется, гораздо более настоящий Алексей.

– Будете яблочный сок? – спросил Алексей. В его крупных руках маленькие неказистые яблочки. – Я нашёл тут рядом рощицу и собираю. Маленькие такие, смотрите, почти райские. Делаю из них сок.

– Очень полезно! – согласился Гриша, мой молодо выглядящий попутчик с восточными чертами лица и длинными волосами, убранными в косичку. – Чур, мне первому!

– А вы?

– Не хочу, спасибо.

– Но это же сок, – терпеливо объяснил Алексей, – вкусный, сладкий, фруктоза. Будете?

– Да я не очень...

– Такой сок чудесный, неужели совсем не попробуете?

– Полезный! – добавил Гриша.

Я пожал плечами.

– Смотрите, из этих маленьких яблочек, сам собирал.

– Ну, давайте.

Вот пристал. Почему-то ему важно верх взять. Но сок действительно вкусный и не очень сладкий, скорее терпкий.

– Терпкий, терпкий... – подтвердил Алексей, поглаживая бородку.

Алексей пять лет жил в вадии Кельт, в пещере. Исходил пешком всю Россию и где-то на перекладных познакомился с Гришей, тоже путешественником. Оказался здесь, в Израиле, и глупое государство вытащило его из пещеры и дало государственную квартиру. Теперь Алексей озабоченно прикрывает окно и жалуется:

– Всё время простываю!

– Как же в пещере вы жили?

– Жил. Там медленно нагревается и медленно остывает, перепадов нет. – Достал тетрадку и испытующе посмотрел своими спокойными глазами. – Я вам этюд покажу! – Надел очки. Наклонил голову к тексту, длинные волосы упали вперёд. – «Иисус Христос! Как его осмыслить? Как воплотить? Современность не желает принимать Иисуса. Гонит его прочь. А я? Кто я? Я сознаю, что и я гоню Его от себя. Молчаливый взгляд Иисуса. Я чувствую себя дрянью. Но надо как-то подниматься из этой дряни. Счищать её с себя, соскрести. Руки бесильно падают. Я чувствую себя бессильным». – Медленно снял очки. Взял гитару и, уходя в себя, что-то тихонько начал напевать.

– Вы путешествовали? Расскажите?

Задумался. Отложил гитару.

– В Абхазии я был послушником у пустычника отца Евлампия. Я его как увидел, на колени упал. Силуэт зыбкий, и сквозь него солнце просвечивает. Знаете, в чём смысл послушничества? – спросил вдохновенно.

Я пожал плечами.

– Ты отрешаешься от своей воли, чтобы обрести свободу, избежать участи тех, кто всю жизнь прожил, а себя так и не нашёл.

– А где вы обитали? В землянке?

Алексей поднял недоумённый взгляд. Почувствовалось, что ему не понравился этот практический вопрос.

– Жили в хатке, – ответил, помолчав, – её монахи все вместе делают. Валят лес, делают чурбаки, а из них тешут доски. Ставят четыре кола, между ними доски, потом второй ряд, набивают внутрь мох. Прилаживают крышу – всё, хатка готова, монах заходит внутрь и начинает жить. Кстати, досочки эти получаются очень ровные, как они это делают, я так и не понял.

– Алексей, скажите, а что самое трудное?

Алексей снова задумался.

– Пожалуй, проснуться в час ночи на молитву. Уж очень холодно вылезать даже из-под такого тоненького одеяла, какое есть. Вылезешь, зажигаешь буржуйку, начинаешь молиться и вдруг понимаешь, что тишина вокруг – не тишина квартиры или города, где все спят, а что вокруг действительно никого нет! Хотя в пять тоже трудно просыпаться. Потом послушничество – колешь дрова. Зимой снег такой, что любой поход может закончиться смертью. Тропки узенькие, около сосен ледяные полыньи – сосна тянет на себя тепло, и около неё в диаметре три-пять метров ледяные такие ловушки. Поскользнешься, и всё – пропал. Пропасти, обледенелые склоны. Зуб заболит – помирай. Один монах пошёл так в гости, вышел, когда светало, пришёл затемно, а всего-то было три километра.

Вообще, монахи забираются так высоко в горы, потому что прячутся от охотников, горцы – дикий народ, грабят, издеваются. Могут, например, ведро отобрать – нужная вещь в хозяйстве, туда положить что-то можно. Опять же, милицейские облавы – сразу две статьи давали: бродяжничество и нарушение паспортного режима. Живут среди одного лесного зверья.

Алексей рассказывал уже не для нас. Его лицо озарилось внутренним светом, глаза затуманились. Он вновь переживал своё послушничество.

– Сидим как-то со старцем, вокруг красотища неопишная. Высокие мачтовые сосны в три обхвата, между ними деревья помельче и вздымающиеся скалы. Осень, всё усыпано красными, жёлтыми листьями. «Отче, – говорю, – как здесь красиво!» – «Эх, Алёша... – ответил мне старец, – если б ты знал, какая красота может быть внутри нас самих...» – Алексей порывисто выдохнул. – Слаб я. Ушёл. Возвратился к той жизни, от которой бежал. Как сейчас вижу: отдаляясь от меня, в небольшой хатке-келье, затерявшейся среди огромных сосен, сидит, кутаясь в старый плащ, мой старец и читает истрёпанный псалтырь, перелистывая жёлтые, почерневшие по краям страницы.

– Сейчас вы, получается, тоже не выдержали...

Алексей очнулся.

– Ну, в общем, да... – усмехнулся, – если вам хочется так считать. – Зашарил руками возле себя, опять надел очки. – Ещё один этюд: «Сегодня убили десять палестинцев. Они ели, пили, любили, они ещё ничего не знали, но кто-то выстрелил, и удивлённая душа покинула разрушенное тело. У убийцы одна мысль – здорово срезал. У него утром тоже болела душа, но он никак не мог понять своё состояние, потом успокоился и срезал. Те, кого убили, мечтали жить, любить, покачать ребёнка на руках. Но их срезали. Просто срезали».

– Алексей, их правильно срезали. Это наша земля.

Алексей закрыл глаза. Открыл. Сказал ровным голосом:

– Я говорю об общечеловеческом, покиньте мой дом.

Я встал.

Когда мы пошли обратно, Гриша меня упрекнул:

– Зачем ты так? Я тебя привёл, хотел познакомить, а ты его обидел.

– Разозлил он меня. Извини.

Подул ветер. Мы стали спускаться к Цомет Пат. Я искоса посмотрел на спутника, на отчётливо видную синюшность под его глазами.

– Гриша, а ведь тебе очень идёт твоя косичка.

Гриша по-детски улыбнулся и сразу растаял.

Но тут внезапно огнём полыхнуло небо, и на горизонте показался огромный ярко-красный петух. Раскинул крылья, открыл клюв и вывел томительно-страшную однотонную ноту.

– Гриша! – я остановился, – сегодня же День памяти жертв Катастрофы! А я забыл!

Дрожащая, въедливая, вытягивающая нота впивалась в сердце, нервы, мозг, одна минута, две минуты. Кончилось. Всё. Петух ещё раз взмахнул крыльями, осветив угасающим закатом тёмно-голубой горизонт, и пропал.

– Ты видел?! Видел??

– Что? – не понял Гриша, – что я должен был видеть?

– Да ничего, – я неожиданно успокоился. – Показалось.

В какой-то особой тишине мы пошли дальше. Говорить не хотелось, Гриша что-то вздыхал, у него упало настроение. Уже перед тем как расстаться, я его спросил:

– Гриша, вот ты тоже много путешествовал, а сам встречал отца Евлампия?

– Откуда... – Гриша махнул рукой. – Но он очень известная личность, даже в интернете есть.

– Ссылку дашь?

Дома я открыл нужный сайт и долго смотрел на фотографию иеросхимонаха Евлампия Сорокина: на лавочке под соснами сидел маленький сгорбленный человечек с лицом, усеянным мелкими морщинками. Седенькие волосы сохранились лишь на висках, борода была крошечная и реденькая, клином, ясно смотрели доверчивые глаза. При этом старец улыбался такой действительно светлой улыбкой, что у меня защемило сердце. А потом я стал читать.

«...Россия в опасности! Если в России победит масонский глобализм, Православной Церкви не будет! Масоны хотят создать космополитическое общеземное государство антихристово во главе с Израилем и его богомерзким царем-антихристом. И я, убогий, маленький и грешный Евлампий, вновь ударяю в набат, желая спасти и пробудить спящих людей от великой опасности гибели. ЦРУ само взорвало Пентагон, и специалисты-хакеры Пентагона торпедировали самолетами высотные здания Всемирного торгового центра. Там ни один еврей не погиб – знали. Наши "российские" правители и спецслужбы хорошо сыгрались с чеченцами и разыгрывают кровавые спектакли жесточайших убийств детей и взрослых. Но Господь наш Иисус Христос, Бог богов, Господь господей, скоро грядет с великим Воинством Небесным. Придет и убьет антихриста Духом уст своих, и поймут всех слуг его и свергнут в озеро огненное...»

## 7

На Шенкин медленней, чем во всём Тель-Авиве, наступает ночь. Но, уже наступив, никак не желает уходить, и поэтому, когда совсем рядом на Алленби уже светло, всю ходят автобусы и работные люди с резкими движениями и решительными лицами заполняют перекрестки, Шенкин всё ещё сладко спит в тихой дымке своих сквериков. Среди общего сна медленно бредёт уборщик в фирменном синем костюме, с жёлтой метлой в руке, толкает вперёд зелёный пластмассовый бак, останавливается у разбросанных ночью ненужностей и сосредоточенно думает:

– Поднять, не поднять? Забрать, не забрать?

Не находя ответа, толкает бак и себя дальше.

От его громких мыслей у облицованного мрамором тридцать девятого дома просыпается и поднимает голову с матраса старая бездомная женщина по имени Катюша Маслова. Всю ночь она сидела на набережной и жгла носок. Дым, дым, дым. Под утро поднялась – грузная, с седыми волосами во все стороны, пришла на улицу Шенкин, бродила с детской коляской между магазинами, барами, закрытыми загадочными клубами, подбирая брошенные мальчиками и девочками цветные ленточки, и вот сегодня её голова украшена этими мимолётными блёстками молодости. Кряхтя, встала, заслонила собой мусорный ящик с нарисованными на нём аляповатыми цветами, замычала нечленораздельно, погрозила уборщику рукой:

– Моё! Иди отсюда!

Утром в доме тишина. Не доносится ни звука, и лишь старый грязный миллионер Семён в кухне заваривает себе чай. Кряхтя, собрал в чашку с отколотой ручкой использованные пакетики, налил из чайника кипяток и, смешно вытягивая губы, попробовал горячую жидкость. Но чего-то ему не хватило, он встал из-за стола, открыл шкафчик над

закопчённой плитой, отыскал между множества пустых баночек и цветастых старых коробок припрятанную в глубине надкусанную шоколадную конфету и, по-детски улыбаясь, засеменял обратно к чаю.

– Матвей?

– Да.

– Привет, пошли купаться?

– Ладно.

– Тогда жди, мы с Катей и Виталем уже рядом.

Мы вошли в подъезд и открыли дверь в коридор – сразу потянуло гнилостным запахом и обрисовалась освещённая из-за спины фигура неряшливого, в лохмотьях, старика, любопытно смотрящего на гостей.

– Семён, здравствуйте! – поздоровался Виталий, первым пробираясь между ставшими ещё больше кучами барахла, и толкнул дверь к Матвею.

Во всегда полутёмной комнате с окном, выходящим в сад, Матвей, сидя на кровати, медленно, как и всё, что делал, надевал сандалии.

– Ну и как ваша Воронья слободка поживает? – задорно сверкнула голубыми глазами Катя.

Матвей буркнул:

– Нормально, а ваша? – и недоумённо начал оглядываться: – Куда-то мои ласты подевались...

Мы синхронно засмеялись.

– Катька, засекай время, он точно ещё час провозится!

– Ребята, – Катя, нагнув голову, с интересом смотрела, как Матвей медленно ищет рукой под кроватью, – ребята, вы не понимаете, ласты – единственное, что у него есть.

– А нечего зубоскалить! – сердито заявил Матвей, подняв голову. – Это питерская вещь, таких сейчас не делают.

Встал на стул и снял ласты со шкафа.

– Ну, слава Богу, – облегченно выговорил, – а то я подумал, что потерял, как трубку. Ребята, мне надо на Пишпишим сходить.

– Сходим, – благодушно отозвался Виталий.

Катя кивнула.

– Матвей, стоп! – я загородил старенький компьютер. – Выходить пора!

Матвей обречённо попросил:

– В голову строчка пришла.

– Потом запишешь.

– Я забуду.

– Значит, плохая строчка.

По дороге Матвей попробовал свернуть:

– Ребята, где-то тут должен быть сырный магазин. Найти бы...

– Но не сейчас же!

– Понимаете, – пустился в объяснения, – там всё свежее, из кибуцев, но у этого магазина такое свойство – когда специально ищешь, никогда не найдёшь, а проявляется, только если идти мимо.

– Вот и пошли мимо, – железным голосом сказала Катя.

– Неожиданный город всё-таки, – подумал вслух Виталий, – то на физиономии манекенов ценники налепят, то граффити какие-то сумасшедшие.

– Проходных дворов мало, – буркнул Матвей, – и настоящих парадных нет.

На пляже сплошной ковер людей пестрел разноцветными купальниками. Солнце стояло в зените, жегся песок, высоко-высоко в небе, весело раскинув крылья, планировал бумажный змей.

Разделись.

– Что-то ты, тётя, потолстела... – критически осмотрев Катю, определил Виталий.

Катя засмеялась:

– Я счастливая, мне можно.

Запрыгали по песку, погрузились – вода теплая, парное молоко.

– Поплыли к молу!

– Поплыли!

Матвей в ластах и маске стал нырять – смотреть рыб, Виталий качался на мелких волнах, блаженствовал, Катя, лёжа на спине, щурилась от солнца, лениво взмахивала руками, я вылез на камни.

Через час поплелись на барахолку покупать трубку.

Между прочим, этот рынок Пишпишим, похожий на сокровищницу потерявшего разум джина, и есть сердце Леванта! Чего тут только нет! Поломанные ножницы, часы «Победа», открытки, иголки, лупы, вилки, керамика с побитыми краями, виниловые пластинки, блестящие жёлтым арабские кувшины, какие-то механизмы одинокого вида, велосипед с погнутыми колёсами, горы джинсов, ленточные магнитофоны... Воистину Пишпишим со всеми шипящими!

И вокруг разодранного на отдельные полосы скопища, с выкаченными от мелкого счастья глазами, сладострастно жужжал, вился народ. И на одной бесконечно тянущейся ноте бил по ушам залихватский крик:

– Ночью воруем, утром продаём! Ночью воруем, утром продаём! Согр-р-раждане, не упустите шанс!!

– Лёшка...

– Что?

– Асимон помнишь?

Среди набросанной совсем мелкой мелочи – железный кружок с дырочкой посередине. Матвей подбросил его в ладони:

– Знаешь, что это?

– Чтобы в автомате звонить.... – вспомнил Виталий.

– Лет семь назад отменили, правильно?

– Да. Пошли лучше трубку покупать, а то жарко.

– Сейчас. Ребята, просто я хотел сказать, что мы здесь уже настолько долго, что знаем значение вышедших из употребления вещей. Они уже никому не нужны, а мы их помним.

– Вот, насчёт памяти! – с упреком сказала Катя, – к Серёге одноному так и не сходили!

– Ну, будет ещё время...

На обратном пути мы встретили похожего на воробушка Сашу. Увидев нас, Саша явно обрадовался. Подошёл и по своей привычке взялся за пуговицу Матвея.

– Вы понимаете, – спросил, – какая тяжёлая строка у Данте в переводе Лозинского, прямо державинская, а ведь не может быть такое в итальянском?

– Саша, – тихо ответил Матвей, – я, к сожалению, не знаю итальянского.

Саша удивлённо посмотрел.

– Но ведь это такой лёгкий язык!

Укоризненно вздохнул и, покачав головой, пошёл прочь.

– Лёшка, – вернулась к себе Катя, – вот ты опять в Таиланде бывал. Рассказал бы?

Я пожал плечами. Почему бы и нет. Слушайте.

Из транзитного зала Киевского аэропорта единственное, что видно: медленно вращающаяся реклама «Сникерса» и дорога в просветах между озябшими ветвями. Глухое толстое стекло отделяло меня, бывшего гражданина, худого, высокого, с небрежно переброшенным через плечо рюкзаком, от февральского воздуха, Владимирской горки, сияющих куполов правобережья. Большие розовые полицаи в фуражках с высокими околышами картинно прохаживались по залу. За десять лет я настолько отвык от их лиц, что смотрел с опаской и недоумением. У типа в щегольски распахнутом пальто полицай попросил закурить, тот приоткрыл пачку, полицай толстыми пальцами вытащил две сигареты, и я проследил, как он пискляво поблагодарил и, заложив запасную за ухо, пошёл к коллеге, радостно подмигивая.

Раздался неожиданный звонок, я достал телефон:

– Алло?

– Алекс?

– Сим, – я произнёс нерешительно, – Сим...

Итак, в некоей стране, где часто идут дожди, жили смуглые король и королева и правили настолько правильно, что были любимы своим смуглым народом. Легко поддаваясь, я тоже испытал чувство, когда в кинотеатре перед началом сеанса на экране показали короля, и люди встали: настоящий король – такая роскошь.

Фильм кончился, солнце заходило. Пряча завтрашний рассвет, уплывало в светящейся лодке за море. И, забавляясь, расцветчивало оставшимися мазками облака в цвета от бордового до ультрамаринового.

Под меняющимся небом после фильма я пошёл в бар, где на вывеске весёлый Чарли приветственно приподнял тросточку. И уже издали заметил знакомую фигуру пожилого англичанина. Венчик седых волос окружал его усталую голову, тяжёлая рука с выступившими венами спокойно устроилась рядом с запотевшей узкогорлой бутылкой вечного соломенного «Карлсберга». Нет, мы никогда не разговаривали. Играла музыка, телевизионные мужики беззвучно гоняли футбол, на ближний пляж накатывали волны, влажная темень бессильно отступала перед задорно светящимися лампочками. Англичанин так сидел уже год. У него была местная женщина, всегда оживлённо болтающая с подружками, но я никогда не видел, чтобы англичанин сам что-то сказал. Я посматривал на англичанина украдкой – он почему-то мне нравился – и думал, мог бы я жить, как он? В конце концов решил, что мог бы.

«Здравствуй, Алекс! Я не знаю, ты уже дома или ещё нет. Я не могла спать прошлую ночь, всё вспоминала. Ты первый, кто так отнёсся ко мне, ты меня будто разбудил. Ты был таким любящим, таким настоящим, мне было так хорошо с тобой. Если тебе надо что-нибудь из Таиланда, напиши, я куплю и пришлю. Ты сказал, что приедешь на следующий год, я очень надеюсь и буду ждать, ведь год – это не очень долго. Целую, твоя Сим».

Я водил Сим в японский ресторан, где на каждом столике стояли по две притихшие розы и множество крошечных жёлтых лампочек освещало склонённые занятые головы, а у наружной стеклянной стены любопытно заглядывали в зал зелёные острые листья на пластиковых веточках растущего из аккуратной чистой гальки бамбука. Снаружи опять дождь, сверкает молния, лениво гремит гром, и Сим с важным видом берёт comment card. Я пытаюсь помешать, но она прикладывает палец к губам: тихо! Я занята важным делом: я ставлю оценку розам, бамбуку, приглушённому звяканью посуды, свежему салату, запечённой рыбе, рисунку Fuji на салфетке. Лукавый взгляд: и тебе, милый...

Я рад: в этот раз Сим считает – всё «good».

На обратном пути в соседнее кресло уселся толстый украинец в хорошем костюме. Он в Бангкоке снимал номер за сто сорок долларов ночь.

– А у меня была девушка, – сказал я в отместку.

– Ты не боялся? Ну, этого... – украинец щёлкнул пальцами.

– Нет.

Взревели моторы, свет брызнул сквозь стёкла, самолёт прыгнул. Людей вжало и отпустило. Немедленно, толкая перед собой тележку, прошла стюардесса с пухлым ртом, на тележке толстой пачкой лежал журнал «Президент» – цветные фотографии масла и сала на обложке.

Разнесли питьё, украинец поделился, что приобрёл швейцарское гражданство, что люди – или волки, или бараны, но у баранов должно быть достаточно травы, а также, что он уважаем в городе «З». Ещё час – каждый закутался в одеяло и отвернул голову.

В телевизоре Том и Джерри молча гонялись друг за дружкой. Потом показали весенний Киев – Крещатик, Андреевскую церковь, облака. Облака были и в иллюминаторе. Захотелось спать. Газета с фотографиями сползла на пол и беспомощно распалась. Самолёт затрясло. Когда, наконец, приземлились, украинец сказал с грустью:

– Родина.

Взял дипломат с замочком, подмигнул и ушёл. А мне позвонила Сим.

Дома февраль. Облака – февраль. Ветер – февраль. Лужи рябит. Ранним утром народу совсем немного, водитель открывает двери и всех приветствует: «Хорошего дня!» Неожиданно остановил автобус, высунулся, отражаясь рукавом в мелкой глади:

– Хаим?

– Один к двум, – доложил Хаим из другого автобуса, – иерусалимский Бейтар надрал им задницу!

– А у меня невестка родила.

– Мазаль тов!

«Здравствуй, Алекс! Я так и не смогла работать, пыталась ещё раз позвонить, послала e-mail, но ты не ответил. Неужели настолько устал? Или, может, твоя девушка запретила переписываться? Я люблю тебя, хотя ты так далеко. И чувствую себя настолько одинокой, что не знаю, куда идти и что делать. Как твоя мама? Сколько у тебя братьев и сестёр? Я хотела бы увидеть вашу семейную фотографию. Я хочу быть рядом и заботиться о тебе. Твоя любящая Сим».

Ну, что делать под небом? Конечно, ходить на фабрику, конечно, покупать продукты, смотреть телевизор, включать, выключать компьютер, разговоры разговаривать, спать. Неожиданно объявили экскурсию в Хайфу, я поехал.

Автобус с готовностью остановился у узкого проулка. Возникла экскурсоводка в тёмных очках, заторопила:

– Быстрее, быстрее! Свернули, свернули... Это один из наших самых бедных районов, но мэрия облагораживает его искусством. За мной!

Завела:

– Художники и скульпторы всего мира участвуют в проекте. Тема года – семейная жизнь. Взгляните вверх, перед нами фантазия на тему «Жених и невеста».

Над угрюмым домом с облупившейся, слезающей, как обгорелая кожа, штукатуркой и разбитой дверью подъезда были наклонены две фигуры. Жених, чёрный, стройный, в потёках краски, с огромными, в пол-лица, глазами, и невеста в фате, недоумённо сжимающая в руке пучок проволоки – букет цветов облетел. Напряжённо провисший сзади неё шлейф, прицепленный к какому-то забору, грозил оборваться от множества камней, пустых бутылок, грязи.

– ...Как видите, улица расположена низко, и поэтому осенью и зимой затопляется водой. Но идём вперёд и смотрим на современное прочтение темы брака.

Современное прочтение представляли две ржавых огромных щётки в ржавой же банке на крыше одного из домов. Ниже щёток белела русская вывеска: «Мусик».

– Наверное, ошиблись, – уверенно сказала рядом умная тётка, – хотели написать «Музик» – магазин музыкальных инструментов, получилось «Мусик». – Заглянула внутрь и растерянно обернулась: – Гастроном.

Два обручальных кольца – разорванные и соединённые, портреты женщины, у которой первый муж в кипе, второй в куфие, её дети. У женщины глухое, ничего не выражающее лицо. Рядом надпись на разных языках: «Я люблю Хайфу». Сцеплённые в рукопожатии руки, упёршаяся в столб машина с соединёнными в одно палестинскими и израильскими номерными знаками.

– А это что? – удивлённо спросил кто-то.

– Художница из Аргентины, – экскурсовод сняла очки, показав усталые, с мешками, глаза. – Понимаете, у неё не было ничего на тему брака, так она привезла коллаж «Я и море».

На балконах – палестинские флаги наглыми тряпками. Араб проехал, показал «Victory!» растопыренными пальцами.

Замечательно прошлись.

«Здравствуй, любимый! Я так рада получить сообщение. Ты совершенно неправ. Я люблю тебя не потому, что ты богатый или бедный, а потому, что ты хороший. Ты пишешь также, что тяжело работаешь и живёшь в стране, где много террористов. Мне очень жаль. Может, было бы лучше жить со мной в Таиланде? Я с огромным нетерпением жду фотографии. Что касается моего друга, это маленький чёрный котик, он обитает на пляже Джомтиен и радуется, когда я прихожу. Я ему повесила колокольчик, он бежит ко мне и звенит. Я бы очень

хотела, чтобы ты меня любил, как я тебя, но не знаю, будешь ли ты настолько терпелив, чтобы не забыть. Я скучаю, жду и люблю. Сим».

Ну, ни дня без проблем: домой постучался чёрный в шляпе, губы зло разнял:

– Ваш бойлер крышу залил!

Вверху облака бегут. Дождём пахнет острее, чем на земле.

– Вот, вот, – показал шляпный человек, – но вы же не туда смотрите!

«Здравствуй, милый! А я приболела. И это потому, что, наверное, думаю о тебе слишком много. Не знаю, скучаешь ли ты так же, как я. Единственное, что меня радует, это когда получаю письмо. Сомневаешься, что смогу жить в Израиле? Но у меня будешь ты, новая семья, и я приобрету новых друзей. И я рада, что ты решился приехать ко мне раньше, уже в сентябре-октябре. Мы тогда сможем всё решить. А если не решим, то по крайней мере я тебя увижу. Много поцелуев, много любви. Сим».

– Нет, нет, Алексей, это неправильно! – говорит мне один из моих друзей. – Да, курортный роман. Но у кого он не бывал? Был и был. Если бы она жила здесь – другое дело! А сразу жениться – нет, ты с ума сошёл.

– Не знаю, – говорю я, – не знаю, – и замолкаю, как спотыкаясь.

Мы идём по темнеющей набережной, и опять заходит солнце, медленно ныряя в горизонт, и от этого прыжка нехотя накатывают ленивые волны под неслышную музыку. Мальчик по пустынному пляжу собирает тенты и шезлонги, неспешно волочит, неспешно связывает. Корабли перемигиваются фонариками: Ау! Ау...

– О чём ты думаешь, Сим?

Сим улыбается и начинает что-то рассказывать по-тайски. Я старательно слушаю. Сим горячится, но вдруг останавливается и тихо смеётся. Я отвечаю:

– Знаешь, милая, мне так хорошо с тобой, как давно уже ни с кем не было. И я вдруг понял, что готов всё отдать за твою бестрепетную привязчивость, пусть временную, к моему такому обычному телу. За припухшие губы, близкое дыхание, желанное тонкое тепло. За то, как ты и во сне не упускаешь возможности прикоснуться – бедром, грудью, плечом. Пробежаться пальцами, проверить: здесь? Не ушёл, не исчез?

А помнишь, мы играли в эту незатейливую игру, в которую все тут играют – кидаешь кости и смотришь, что выпало. Мне выпадали только шестёрки. Я даже расстроился. Ещё англичанин посматривал искося. А потом подошла горделивая пигалица с туго завязанным хвостом каштановых волос на затылке, подбоченилась, и ты шепнула:

– Алексей, посмотри, какая она красивая...

– Сим, как она может сравниться с тобой?

– Но ей так везёт, – с тоской сказала ты.

Автобус идёт. Идёт и останавливается. Внутри входит молодой парень. Он возбуждён, дёргается, глаза весёлые, яркие. Всех оглядывает, подолгу задерживаясь. Вдруг вытаскивает бумагу и протягивает ближайшей женщине. Та пугается. Но парень, шумно дыша, требует:

– Читай, читай, что там написано?

Женщина пожимает плечами и вполголоса начинает.

– Громче!

Читает громко.

Оказалось, письмо одного психиатра другому: больной бегал, дрался, опять бегал.

– Ты действительно бегал?

– Бегал, – с удовольствием подтверждает парень.

– Ты действительно дрался?

– Дрался, – светится улыбкой.

Неожиданно обращает внимание на меня:

– Вы не из больницы?

– Нет.

– Жалко, а то я думал, вы психиатр.

«Здравствуй, милый! Как ты? Это хорошо, что ты понимаешь, что я вынуждена работать, как я работаю. Музыка играет, на мне синяя коротенькая юбочка и такого же цвета кофточка, низко открывающая грудь. А на ногах туфельки, которые ты мне подарил. Я тебе до сих пор благодарна. Спрашиваешь, как я себя чувствую? О болезни давно забыла. Зато посылаю свои фотографии: я с цветами, я с тигром, я в национальном костюме. Правда интересно? Так когда тебя ждать? Сообщи обязательно! Целую. Сим».

– Алекс, ты всё-таки собрался ехать?

– Да.

– Так скоро?

– Я должен решить.

Господи, как тянет душу. Уехать – и вдруг разорвать, вернуться. А тут всё по-прежнему: набережная, пальмы, солнце, море. Девочка лепит замок из мокрой желтизны, кокосовые орехи в ведёрке со льдом. Японцы кричат и смеются, катаясь на надувной рыбе за подсакивающим катером. Женщина остановилась, смотрит с надеждой – в корзине на горячих углях исходят паром красные, клешнястые крабы. Ещё два часа – теснясь, набегают облака, начинает накрапывать, потом сильнее, и вот уже масса воды потоком льётся с щедрого неба. Пролилось и ушло, ручьи текут. Горизонт смешался с морем, и синь, прятанная в ветвях пальм, тихо спускаясь, окрашивает влажный воздух. В такие часы очень дешёвое пиво. Перейти дорогу, всмотреться – и вот сидит за стойкой медленно живущий жизнь очень знакомый англичанин, сверху человечек с тросточкой салютует. Телевизор рябит. Чуть дальше боксёры бьют друг друга жилистыми ногами под резкую музыку.

Всё знакомо, только Сим нет. Не встретила. Не позвонила.

За два дня я извёлся, ходил мимо, пытался разглядеть издали. Маялся, маялся:

– А где Сим?

Улыбаются. Пожимают плечами. Англичанин исподлобья посмотрел, сделал глоток.

– Будете что-нибудь?

Я потоптался:

– Виски. Да, виски.

Попробовал придвинуться к англичанину, но тот предупредил взглядом: не хочу. Произнёс полуслышно, голос хриплый:

– Я им не судья и не адвокат.

– А вот я психиатр. Просто клинический.

В далёкой Хайфе над полузатопленной зимними дождями улицей с плохонькими обшарпанными домишками глубокой ночью шевельнулась невеста. Моргнули и прояснились её глаза и недоуменно посмотрели на пучок проволоки в руке. Рука разжалась, проволока полетела вниз.

– Ромео, – позвала тихо, – мой Ромео...

– Да, да, – встрепенулся жених.

– Знаешь, я тут ко всему привыкла, – задумчиво сказала, – к грязи, флагам и экскурсиям, но каждый раз я выбрасываю эту мерзкую проволоку, а потом просыпаюсь – она опять в руке.

– Милая, мы уедем. Год кончится, мы уедем. Мы здесь не остаемся.

– И шлейф тяжёлый. Хотя бы камни убрали.

– Тяжёлый... Если бы я мог, я бы снял. Знаешь милая, давай я пока расскажу историю.

– Про кого?

– Про красавицу.

– Она такая, как я?

– Нет. В том-то и дело, что совсем нет. Итак, слушай: в некотором царстве, некотором государстве жила-была красавица, отдававшаяся за деньги немолодым немецким и английским рабочим...

...Здравствуй, дарлинг! Ну что ты обижаешься? Я не пришла? Зато сейчас пришла. Я ведь ничего плохого не хотела. Я ведь тебя люблю. Сколько у нас там дней осталось? Сейчас разденусь, ты как хочешь? Ну, подумаешь, был другой... А где он? Уплыл, уехал, улетел. Я уже и имени его не помню. Ну, хочешь, попрошу прощения? Не смогла. Не смогла удержаться. Он показался таким одиноким, таким печальным, ну прямо как ты. И так много дал мне той ночью. Я была счастлива. Или ой, я всё напутала. Он был шумным и громким. Его смех – заразительным. А руки – неторопливыми и умелыми. И спокойное знание в глазах. И так много дал мне той ночью. Ну, и где он? Я уже и лица его не помню. Извини, я ведь и твоё почти забыла... Но я вспомнила! Клянусь, как попрощались, сразу вспомнила! И прибежала. Сейчас-то я с тобой! Милый, не обижайся, лучше посмотри, какое сегодня море. Как темнеет и солнце совершает свой вековечный уходяще-приходящий путь. Играет музыка, разносят гирлянды из жёлтых дурмящих цветов, звенит колокольчиком продавец сладких-сладких сладостей, зажигаются разноцветные огни, и девочки протяжными голосами зовут: «One drink please...» Посмотри, наконец, на меня, ну посмотри же! Какая я красивая, плоть от плоти этой влажной, жаркой и горькой страны...

Тяжёлый был этот день, с самого утра тяжёлый. Не спалось, очередной хамсин, навалившийся на страну ещё в четверг и готовый по прогнозам терзать вплоть до воскресного вечера, в этот раз превзошёл сам себя гадостной липкостью. Виталий пытался бороться – побежал с утра купаться, но купание не принесло желанного облегчения. К тому же после рабочего дня в русскоязычной

газете он по дороге домой наглотался паров раскалённого бензина, от чего получил усиливающуюся головную боль.

Головная боль стихла только около семи, когда мутное солнце скрылось в средиземноморской пучине, а старый Яффо превратился в подобие затухающего костра с переливающимися оранжевым огоньками. Виталий, облокотившись на перила, стоял на балконе, подставлял голову слабому дуновению ветра, и мрачно смотрел на мусорную Аппенби, с наступлением шабата становящуюся всё тише, тише...

Раздался звонок.

– Да? Привет, Матвей!

– Виталь, Лёшка приглашает на выставку в Иерусалим.

– А кто?

– Слава Коппель.

Виталий подумал.

– Не, не поеду. Настроение скверное, да и голова болит.

– Говорит, у Славы очень интересные новые работы.

Виталий опять задумался.

– Точно не поеду. В этот раз без меня. Опять придётся водку пить, а у меня и так давление скачет. И какая-то жаба с утра на сердце.

– Привет жабе, – сказал Матвей и отключился.

Виталий повесил на место телефонную трубку и, беспрепятственно погружаясь в море японского пессимизма, начал читать «Солнце и сталь» Юкио Мисимы. В половине десятого его от чтения оторвал ещё один надоеда, известный под именем Борисик.

– Да, Борисик! Как дела?

– Кажется, это я звоню, – недовольно сказал Борисик, – я и должен спрашивать: «Как дела?».

Виталий усмехнулся.

– Читаю Мисиму.

– В такую духоту? Прекращай, пока в петлю не полез. Пошли лучше на море прогуляемся.

Толстый серьёзный Борисик с неизменной Ларисой прибыли минут через двадцать. Виталий спустился, и вскоре они уже шли в сторону Нэве-Цедек – с любовью отреставрированного района маленьких цветных домов и новой бульжной мостовой.

– Просто Дамаск какой-то! – выразил восхищение Борисик. – Никогда тут ночью не ходил.

– Да ты нигде не ходил.

– Почему? К тебе ходил, к Матвею ходил.

– Мальчики, а это что за люди?

За разговором они миновали Нэве-Цедек и приблизились к приморскому зелёному массиву, раскинувшемуся поближе к старому Яффо – немалое пространство, как всегда в пятницу, было густо усеяно арабскими семьями. Пылали мангалы, жарилось мясо, звучала музыка, и ходили женщины в национальных нарядах.

– Это твои соотечественники, Лариса, – любезно представил расположившийся табор Виталий. – Арабские жители Яффо.

– Они что, тут всё время ужинают?

– Нет, только по пятницам.

Друзья не стали углубляться в переполненный парк и двинулись к набережной вдоль пустынной нескончаемой автостоянки. Метров через триста бивуаки кончились, и подсвеченные электричеством

зелёные газоны начали радовать глаз. Впереди уже засверкали огни расположенного возле моря чудовищного аттракциона со взлетающей в небо пилотируемой железной клеткой. И тут зазвучала музыка.

– Штраус! – покачал головой Виталий. – Смотрите, какая прелесть!

На последнем парковом участке, граничащем с зоной шашлычных развлечений, неизвестные энтузиасты отгородили участок и залили его праздничным светом. Сквозь импровизированную хлипкую ограду виднелись вальсирующие фразные мужчины и женщины в бальных платьях.

– Да уж! – по своему обыкновению угрюмо сказал Борисик. – Там танец живота, здесь Штраус. А расстояние – двести метров.

– Может, и хорошо? – робко спросила Лариса.

Через пару шагов они приблизились к большому неказистому зданию, в ярко освещённый вход которого рабочие заносили ящики с пивом.

– А это что за китайский притон?

– Русскоязычная дискотека «Дольфинарий», – опять выполняя обязанности экскурсовода, представил Виталий.

– Серьёзно? – заинтересовалась Лариса. – А ты там бывал?

– Смеёшься? Тут дети до восемнадцати. Кому за тридцать, сюда носа не показывают!

– Мне, между прочим, всего тридцать шесть, – кокетливо напомнила Лариса.

– А на вид больше тридцати пяти не дашь! – отреагировал грубый муж и захохотал.

– Дурак!

– Ну и кто сюда ходит?

– В основном, – Виталий, нагнувшись, посмотрел на часы, – молодой русскоязычный пролетариат из Южного Тель-Авива.

Действительно, неподалёку крутилась стайка длинноногих белобрых малолеток, щебечущих по-русски.

– Девчонок пускают бесплатно, вот они и ждут.

Ещё пустая автостоянка перед дискотекой была усеяна осколками стекла, пластиковыми бутылками, пищевыми отходами.

– Тут всегда так загажено?

– Почти всегда. Лариска, осторожно!

– И куда мэрия смотрит?

– Явно не сюда.

– Может, пивка? – Борисик ласково улыбнулся пришедшей мысли. – Как вы смотрите?

– Вечер это явно облагородит! – согласился Виталий.

Они выпили пива, добрались до моря и, сняв туфли, пошли по песку. Поплескались в тёплой воде, потом, наслаждаясь, некоторое время прохаживались вдоль линии прибоя, всем сердцем радуясь фантастической в хамсинной душегубке приморской прохладе. Примерно в половине двенадцатого тронулись в обратный путь той же дорогой, мимо всё ещё закрытого «Дольфинария», около которого уже собралась изрядно увеличившаяся толпа молодёжи.

Звук глухого взрыва коснулся ушей, когда Виталий с Борисиком и Ларисой уже подошли к своему дому, а через минуту-другую ночной воздух разорвали сирены полицейских и скорой помощи.

– Уже пятая машина! – ахнул Борисик. – Ещё одна! Что-то случилось!

Они бегом поднялись по лестнице, Виталий открыл дверь, включил телевизор, оба израильских канала передавали обычную программу.

– Давай радио!

Виталий быстро включил приёмник, и хриплый голос тут же выпалил: «На эту минуту известно о десяти убитых... Более пятидесяти раненых. Русская дискотека... «Дольфинарий».

– Наши мальчишки и девчонки! – схватился за голову Борисик. – Это там, откуда мы только что ушли!

Прервалась передача по первому каналу ТВ, и на экране появилось схематическое изображение набережной с пылающим красным значком возле «Дольфинария».

Не в силах оторваться, они смотрели телевизор до двух часов ночи, потом Виталий проводил супругов и пошёл покупать сигареты, хотя всего две недели назад дал себе клятвенное обещание бросить курить. Через дорогу, в картёжном притоне, часть игроков столпились около телевизора и вопили так, что на улице были различимы отдельные проклятия. Другая часть по-прежнему неподвижно сидела с картами в руках.

Через день в редакции, у себя на работе, Виталий писал:

«Герой Сэлинджера видел себя человеком, спасающим малышей, беззаботно резвящихся во ржи на краю страшной пропасти. Но я не Сэлинджер и не знаю, как оградить от гибели наших детей, приплясывающих среди усеянного бутылочным стеклом асфальта. Пропасть ненависти окружает наш собирающий компьютеры, молящийся, торгующий, играющий в карты и временами вальсирующий мирок буквально со всех сторон...»

Звонок.

Виталий оторвался.

– Да? Ты, Алексей?

– Как... дела?

– Дела. Ходили там с Борисиком.

– Слышал.

– Бог сохранил. Если бы чуть позже... Ладно, мне статью закончить надо.

– Заканчивай.

Происходит теракт, начинаются звонки. Если в Тель-Авиве теракт, ты звонишь, если в Иерусалиме – тебе звонят.

В районе автостанции обычная мелкая деловая жизнь. Тут тоже происходят теракты, и тогда в Румынию, Украину, Молдову, Китай, Филиппины отправляются запечатанные гробы. Но сегодня ничего не случилось, и поэтому – «Приди и отдохни» – зовёт слоняющихся мужчин реклама красавицы под пляжным зонтиком. Манит, манит на задний двор, где уже отдохнувший бухарец застёгивает ширинку. Иди, и тебя встретит ленивая, с тяжёлыми бёдрами Даша. С крестиком меж маленьких грудей с беззащитными розовыми сосками и непроницаемым, как сметана, лицом.

Посреди дороги белобрысый двигает напёрстками на импровизированном столе. Бледные руки так и снуют. Вокруг зеваки.

– Оп-па, оп-па, кто хочет заработать? Тут кладем, тут забираем! Все видели? У нас честно! Так, кто пробует? Ты, мужик? Ну, молоко! Оп-па, оп-па, двести шекелей, триста шекелей!

– Друг, друг! – небритый-ломаный цепляет прохожих немощными пальцами, мучительно качается. – Два шекеля, – зудит, – два шекеля на автобус.

Крохотная филиппинка машет газетами:

– «Манила–Тель-Авив», «Бейджин–Тель-Авив»! Покупайте свежие новости! Свежие новости! Гуйчжоу страдает от серьезной засухи! Манила переживает нашествие НЛО! В Пекине новые законы!

Около неё зацепился огромный, презрительный, в белом до пят, негр. Рядом жена в тюрбане, чёрные полные руки в жёлтых кольцах.

Фальшивая водка на прилавках, ношенная обувь и джинсы на тротуаре. Голубая тень Джеки Чана, худые китайцы, пиво на столиках, галдящие румыны, шелуха от семечек, новый магазин электроники – всё блестит, мигают цветные лампочки у входа в пип-шоу, прикрытого поблёкшей красной тряпкой.

Посреди всеобщего движения равнодушно-тяжёлый деревянный индеец открыл рот в безмолвном крике. В выкинутых вверх руках израильский флаг. Около него, похожий на озябшего воробушка, Саша смотрит вокруг раскрытыми до предела глазами, судорожно тискает сумку, шепчет в восхищении:

– Эта улица как скользкое, жаркое чрево! Какая изумительная, мастерски выполненная какофония! Такую мелодию не просто создать! А автостанция сверху – минотавр, дитя несовместимого. Вертит звериной башкой, принюхивается, хочет к морю. Но не может выбраться из лабиринта мелких шебуршащихся тел. И воет, воет. Неслышно, но от этого воя мурашки по коже, и нестерпимая, липкая духота. Но где же Моцарт? Должен быть Моцарт! В каждой стране должен быть Моцарт.

# ЯФФСКИЕ ВОРОТА

---

*Рафаэль Шустерович*  
*ТЕМ ВРЕМЕНЕМ*

## ТРЕТЬЯ КОРЗИНА

Человек имеет право,  
человек имеет лево,  
человек имеет прямо,  
всё имеет человек.

Человек имеет здраво –  
мыслить, зрея для посева,  
и вообще с утра ни грамма,  
и глядеть на первый снег.

Человек с утра имеет,  
человек с утра лелеет,  
человек с утра радеет,  
ведь ему порым-пора.

Человек с утра бравеет,  
розовеет, головеет,  
руки греет; ветер веет  
резче, жёстче, чем вчера.

*XII.2008*

## БОГИ ПРОПИСНЫХ ИСТИН

*Из Редьярда Киплинга*

Пройдя через тысячи жизней, веков расцвет и распад,  
Я каждому Богу Рынка справлял надлежащий обряд,  
Сквозь пальцы следя за ними. Паденье сменяло успех,  
Но Боги Азбучных Истин переживали их всех.

Нам являясь во время оно, говорили (а Бог не солжёт):  
Вода ощутимо студёна, огонь ощутимо жжёт –  
Но нет в них Прозренья, Подъёма, бедны Всеохватным Умом,  
Пусть уж учат Горилл – пока мы шагаем Великим Путём.

Мы спешили по слову Духа, а они не привыкли к бегам –  
Не туч порожденье, не ветра (что свойственно Рынка Богам) –  
Нас догоняли на марше, и тут же – вся недолга –  
«Во льдах вымерзает племя, и в Риме – ни очага...»

С Надеждами нашего Мира им было не по пути,  
Твердили – Луна не из Сыра, даже Творога там не найти;  
На Мечтах, мол, в Даль не уедешь, и Крыльев нет у Свиной...  
Но по сердцу нам – Боги Рынка, и им, конечно, видней.

Не они ли в Кембрийскую Эру сулили блаженство нам:  
Мечи переделай в орала – и мир придёт к племенам?  
Мы послушались. Нас связали – и отдали на убой,  
А Боги Истин сказали: «Хоть Дьявол – да Дьявол свой».

На камне Первого Храма – Знак Любви был изображён,  
И мы полюбили соседей, потом полюбили их жён.  
Наши женщины стали бесплодны, мы веру оставили впредь,  
И сказали нам Боги Истин: «За Грех Воздаяние – Смерть».

Объявлено в Эру Карбона: пришла изобилья пора,  
Плати за всеобщего Павла, Петра лишив серебра.  
Пусть денег стало без счёта – еды не купить окрест,  
А Боги Истин сказали: «Не трудящийся да не ест».

И дрогнули Боги Рынка, пропали их говоруны,  
Смирились сердца самых дерзких – ведь истины были верны:  
Не Всё, что Сияет – Злато, Четыре есть Дважды Два;  
И Боги Истин, хромая, свои повторяют слова:

Так было, так есть, так будет – для тех, кто с деревьев слез,  
Ясны лишь четыре вещи с тех пор, как пошёл Прогресс:  
Пёс возвратится к Блевоте, Боров вернётся в Грязь,  
Дурак обожжённый палец вновь сунет в Огонь, скривясь,

И когда обустроится Социум, и проявит новую прыть,  
И вознаградит за присутствие, а за грех не заставит платить –  
Сказать, что Вода студёна, что жар идет от Огня,  
Вернутся к нам Боги Истин. И снова пойдет резня.

*1919 (1.2009, перевод)*

## **ДЕНЬ ПОБЕДЫ**

И может присниться Венеция  
в виде спиралевидной туманности

инерция нереализованной странности

Или Рим в виде созвездия семизвёздного  
или город ненаблюдаемый неопознанный

На скольких остриях провисает вселенная  
вопрос современной схоластики  
отвечающей по соглашению авторитетных элит

А он не порадуется  
он уже спит  
рядом покоится астроном  
и тот кто разгадал геном

туман в урочище Гееном  
и Иосиф Ф. прячась за обломком стены  
призывает защитников облагоразумиться  
записывает сказанное на восковой дощечке  
и тут же тщательно выправляет стиль

*V.2009*

### **ОАЗИС**

каждый день наблюдая пустыню  
у двойного окна  
позабудешь свою гордыню  
ни на что не годна

признают эти хмурые склоны  
только ласки зимы  
по ночам воздвигая колонны  
эндемической тьмы

то здесь воздух шафранной пылью  
то прозрачен до звёзд  
то скользнет меж агав и пиний  
то поднимется в рост

от стеклянного ртутного моря  
до изъеденных гор  
не преминут местные мойры  
потрепать за вихор

разорвётся гроза как вена  
зажужжит ли как шмель  
подбирая одной ей ведомую  
неизбежную цель

по такой по нелёгкой погоде  
между нами для нас  
говори о любви о свободе  
обжигает рассказ

и его серебристая корочка  
прикипает во рту  
и пустыня отходит с горечью  
зачерпнуть темноту

*I.2009*

\* \* \*

тем временем  
 когда ты жил тем временем  
 считались эти времена безвременьем  
 у тех кто жил не в эти времена  
 но это время знаю было временем  
 безвременьем  
 пускай оно безвременьем  
 для тех кто пригляделся из безвременья  
 кровь времени на время не видна

*III.2010*

### ПОЭТ И ТОЛПА

Куда несёшь поэта ты, толпа?  
 Он странные проделывает па –  
 что только не втемяшится ему,  
 чтоб только оказаться одному.

Она его несёт куда-то вбок,  
 ему же прямо – ей и невдомёк.  
 Она гудит и знай себе течёт,  
 а у него все дни наперечёт.

Ему осталось двести тысяч строк,  
 на большее не тянет этот срок.

*III.2010*

### СОТЫ

жало воск мёд  
 обламывается край сот  
 мёд капает в пыль в песок в траву

моё время понемногу обламывается как соты  
 оно ещё думает «живу»  
 его утешают ну что ты

стечение обстоятельств  
 теория катастроф  
 выполнение обязательств  
 поминальный штоф

по капельке от каждого воскового стаканчика  
 вощина заканчивается

*IV.2010*

## НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ

Та роза, что провожает тебя по утрам,  
не знает, когда вернёшься и как вернёшься,  
и будет ли она, роза, розой, и будешь ли ты собой,  
когда ты вернёшься –  
или другая роза,  
которая ждёт не тебя, никого не ждёт,  
поделится благоуханием  
с тобой.  
Или с тем, кто вернётся.

*IV.2010*

## БРОНЗОВЫЕ СОЛДАТИКИ

линия Мажино  
покинутая давно  
все линии укреплений  
как выяснилось говно

цветёт на линии мак  
без маков как-то не так  
глупой земле созвездья  
не подают знак

бывали и прежде дни  
приди в пустыню копни  
в толщу небесного ила  
с орлиных высот загляни

грозный бронзовый век  
меж двух плодородных рек  
когда о славе небесной  
уже мечтал человек

копни копни из песка  
пробьются былые века  
бронзовые солдатики  
привстанут гнилые слегка

вот первый второй Саргон  
сюда приходил и он  
весь состав его войска  
теперь песком занесён

шлем кольчуга копье  
теперь это всё твоё

дань собери за собою  
пустое оставь жнивье

но будет и здесь весна  
оглянешься мать честна  
всё маки по склонам маки  
под алым земля не видна

*IV.2010*

### **...И САМА НА МИНУТКУ**

NN просыпается от наркоза  
медсестра над ним как небесная роза  
что-то у NN отсутствует в теле  
не главное  
сестра при халате при теле  
и вообще славная  
как небесная роза

навесь ему на штатив побрякушку  
надломи ампулу поправь подушку  
умой побрей и всё что надо  
а он и на миг не отводит взгляда

пациент германский английский энский  
там одной ногой но профиль женский  
и другие проекции аромат и шорох  
держит в мозгу как последний сколок

несуществующего за стеной палаты  
NN проваливается медсестра куда ты  
NN выныривает довольно шустро  
выясняется через два дежурства

медсестра ты ангел или бесёнок  
предел наверное есть но тонок  
может ты меранская негритьянка  
незаживающая для кого-то ранка  
между NN и небесами мембранка

and now i'm going to have my coffee  
пока он барахтается в своей катастрофе  
пока приглядывается сквозь небесную розу  
к сонно парящему в сторонке року

*VI.2010*

\* \* \*

эволюция звёзд не вызывает отклика  
окружающих бездн,  
ни на каких расстояниях не дождаться окрика,  
никому не любезн  
ни огонь слепящий, ни мрак, наступающий позже,  
ни остаток сна  
началась порция и кончилась порция  
бездна одна

*VII. 2010*

### **СКАЗАТЬСЯ ЛИСТОПАДОМ**

Попробую сказатьсЯ листопадом,  
Хотя и ненадолго отговорка.  
Бывает увертюра длинновата,  
Заслуженная твердая четвёрка.

Заслуженная медная квадрига,  
Быть может, цареградского портала.  
Заслуженная черная коврига –  
Ужели ее мало, ее мало.

Попробую с похолоданием сладить,  
Подобно дендровидным, буролистым.  
Я изучал науку чистой страсти –  
И, кажется, чему-то научился.

Когда в бега подашься, и успешно,  
Когда начнёшь свой переход победный –  
Окинешь тусклым взглядом полк потешный,  
Свой полк потешный, глиняный свой, медный.

*IX. 2010*

### **ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ**

Пойти проверить, как отзывается слово,  
как ему там живётся, как плещется,  
чисто ль ему, светло – или темно, хреново,  
бьётся ли в некие прутья малая птица-пленница.

Крикнуть ли в пустоту – отзовись, отметься, отпойся,  
знак подай – довелось ли вкусить мимолетной нежности.  
Если же пропадаешь – держись, мужайся, не бойся,  
это – предусмотренные неизбежности.

*IX. 2008*

*София Шегель*

## *ПРОШЛОЕ НЕ ОТПУСКАЕТ*

### ТРУСИКИ

– Все мы остаемся детьми, пока живы наши родители. Или пока они функционально не превращаются в наших детей. Такое, поверьте, тоже бывает... – голос симпатичного доктора, немного похожего на портрет писателя Чехова, доносится глухо, как через подушку. Очень шумит в ушах и голова не перестает кружиться, хотя я стараюсь лежать неподвижно с той самой минуты, как добралась до постели. А доктор не умолкает: – Это не значит, что можно вести себя безответственно. Природного ресурса хватает только до сорока лет. Дальше – каждый сам кузнец, ваятель, творец и потребитель собственного организма. Так что отныне уделяйте больше внимания своему здоровью, а для начала – образу жизни.

Вот чего мне сейчас больше всего не хватает – так это нотации. Образ жизни... Именно что образ: утром на работу, вечером с работы, и там ну просто совсем не пикник – с таким главным редактором. А дома в мои как раз сорок я, оказывается, вправе чувствовать себя ребенком – мама, слава Богу, жива, хотя помаленьку превращается в дитя неразумное, и это куда тяжелее, чем постоянная необходимость подставлять руки. Так что образ жизни в моем случае успешно заменяет саму жизнь, и то обстоятельство, что я постоянно не высыпаюсь, или не успеваю позавтракать, или прикуриваю сигарету от сигареты, – это не безответственность, а суровая реальность, и влиять на нее не в моих силах. По правде сказать, зла не хватает. Вызываешь «неотложку» в надежде получить помощь, а получаешь втык, притом с самой неожиданной стороны.

– Спасибо, доктор, я все поняла, я постараюсь. Вы мне помогли. Спасибо.

– Ну что ж, вам как будто лучше, лекарство уже начинает действовать. На самом деле мне пора, но есть причина задержаться еще на минутку.

Дружелюбие из доктора просто фонтаном бьет. Интересно, это профессия или характер? *Что я, в самом деле, придираюсь. Кто виноват, что у меня спазмы сосудов и я падаю посреди улицы? Уж точно не врач неотложной помощи!* А он вдруг как бы смутился, заговорил скороговоркой и улыбается застенчиво.

– Говорят, все люди на планете через пять-шесть рукопожатий связаны друг с другом. Представьте себе, мы с вами живое тому подтверждение. Вы ведь меня впервые в жизни видите, да и не слышали обо мне до сих пор, не правда ли? И я вас прежде не встречал, но фамилию слышал. Дело в том, что ваш отец и мой тесть вместе встретили начало войны, они были сослуживцами. То есть доктор Равенский стал моим тестем спустя много лет, но тот день для всех памятен, и он, как все ветераны, пока был жив, все

вспоминал, как это было. А я вошел в семью уже после войны. Ну, поправляйтесь, звоните, если что. Все же мы не чужие...

Ушел доктор Винаров, муж девочки с летучей прической, и, честно говоря, больше мы с ним никогда не встречались, хотя с того визита еще целая жизнь пробежала, а может, и не одна. Болезнь оказалась просто самым первым сигналом машины времени, и пока я отлеживалась, поневоле прокручивала все те давние-давние воспоминания – в ярких красках и запахах незамутненного раннего детства. Со всем не помню лица, вообще облика доктора Равенского, хотя фамилия звучала в доме часто, почему-то с интонациями слегка ироническими. Может, оттого что был он для папы начальством по линии санэпидслужбы, жил с семьей в областном центре, а мы – в районном. Зато как живая перед глазами по сей день его дочь – тоненькая, легкая, тогда 15-16-летняя девочка со странным именем Ива. Рыжеватые волосы ее вздымались воздушной пеной, вздрагивали при каждом движении головы, и я очень боялась, что вот сейчас эта пышная шапка вспорхнет и улетит, потому пристроилась за ее стулом, чтобы подхватить этот светящийся в лучах солнца шар, если что.

Дело было в воскресенье, родители пригласили семью Равенских на обед, и уж мама расстаралась: янтарный бульон, фирменный пирог с печенкой и ненавистный рыжий цимес. Этот день стал определяющим не только в моей крошечной на тот момент жизни, но и в жизни всех людей, можно сказать, целых народов, а вот пока лежу в обнимку со своим критическим возрастом, вспоминается все по степени важности, линейно – за что память зацепилась, то и на картинке перед глазами.

Вот цимес. Столько вкусных вещей на свете: бабушка варенье варила – розовые пенки на блюдечке, няня Галя под шелковицей ягод набрала, они хоть и с песком, но если потряхнуть – во как вкусно, только чтоб мама не видела. Еще есть леденцы, называются рокс, такие кисленькие, по форме совсем как пуговицы с маминого выходного платья, только пуговицы невкусные, я пробовала. Столько всего кругом, а мама каждый день заставляет есть эту гадость. Но человек в четыре года уже может за себя постоять. Я, например, ставлю условие: ладно, съем, но только не за столом, а на подоконнике. А уж там всепросто, за окном помощников много, все дворовые собаки меня выручают. Конечно, пока мама не натывается на это безобразие собственными глазами. Что было – мне и по сей день вспоминать не хочется. Тем более что до цимеса в тот день дело так и не дошло: война началась. Нет, теперь-то мы знаем, что началась она на несколько часов раньше, но тогда, то ли за хлопотами, то ли по другой какой причине, только тарелка на стене молчит, все заняты едой и умными разговорами, а мне уже надоело караулить летучие кудряшки Ивы, и я под застольный шумок выхожу во двор и там слышу, как дворничиха Химка беседует с моей няней Галей.

– Ой, злякалы, – хлопает себя по бедрам няня, – мы дэ булы, там и будэмо, мени чи война, чи що – абы було що йсты. В мэна сэли порося е, картопли накопаю, а вы соби воюйтэ, як не вмие-тэ жыты. Люды кажуть, нимци тильки жидив побъють, нэ нас. Нэхай комуняки та жиды тикають, це йим трэба лякатыся.

А дворничиха не соглашается:

– Ты, Галю, рота закрой. Ты ж йим дытыну чотыры роки доглядала, и що тэпэр?

– Чи ж то моя дытына? Та нэхай йих хоч усих порижуть, як тых курей...

*Память услужливо подсовывает в мою усталую голову воспоминание о том, как мы вернулись через долгих четыре года и встретили Галю в мамином пальто, мама поехала к ней в село, а там вся наша мебель стояла, и моя железная кровать с шариками, и коврик с Красной Шапочкой на стене... И Галя отговорилась в том смысле, что кто ж знал, что нас не убьют, и ничего не вернула. Но это все потом, а тогда – я возвращаюсь в дом и торжественно повторяю все, что услышала – про войну, про жидов – знать бы, кто это такие, и про то, что няня уйдет от нас к своему поросенку, а нас всех убьют. Тут же получаю от мамы по губам, но радио все-таки включают, и настроение за столом резко меняется.*

Гости спешно собираются домой, в свой Чернигов, но, наверное, папа со своим начальником успевают что-то обсудить, потому что уже этим вечером папа вплотную занимается превращением своей санэпидстанции в госпиталь, а к ночи он хрипит, голос сорвал.

Галя, действительно, накинув на плечи тяжелую клетчатую шаль с бахромой и связав в другую, потоньше и побольше, свои пожитки, уходит домой, в село. Расстроенная мама забывает накрыть крышкой банку с вареньем и – первая жертва войны на моих глазах – мой ежик Шуршик, большой любитель сладкого, в ней и тонет.

На этом кончается детство.

Потом, конечно, были какие-то сборы, но я этого ничего не помню, зато ясно вижу наш громадный двор, весь изрытый окопами. Потом, после войны, он был все еще довольно большим, но спустя годы – я только один раз там была, и оказалось, что двор совсем крохотный, однако в голодном сорок седьмом он нас выручил – там посадили картошку и по периметру подсолнухи, все остались живы.

...И вот наступает момент отъезда. Нелепая моя, дорогая моя наивная мама держит в руках примус, бутылку керосина, заткнутую кукурузным початком, и... медный тазик. Зачем?

– А как же, у меня девочки, у них косы – как их мыть?

Загружаемся в обтянутые брезентом машины. Людей много, места мало, чемоданы безжалостно выбрасываются. Люди хватают друг друга за пуговицы, взывают к лучшим чувствам. все решает, как и положено, папа. Так было всегда, и по сей день, когда его так давно уже нет, невозможно привыкнуть и не сверять с ним каждый свой шаг.

Мы едем. Брезент на машинах все время норовит распахнуться, и взрослые по очереди держат его руками. Мы все сидим – кто на чемоданах, ящиках, узлах, кто просто на полу или на бортике кузова, кто у мамы на руках. Детей много. Помню тех, кто старше меня, совсем маленьких не помню. А в брезенте как раз возле меня – дырочка. И я вижу, как полощется на ветру белесое пламя – хлеб горит на полях... Наверное, я до того хлебных полей просто не видела, потому совсем не страшно: может, так и должно быть.

Ночуем на хуторе. Конечно же, я не знаю его названия, не помню, а может, и не знала имени хозяйки. Помню только серое лицо под платочком, нос уточкой и певучий, спокойный тоненький голос.

Эта ночь и этот хутор огромную роль сыграли в моей жизни на все четыре года войны.

Спать нас, маленьких, уложили всех поперек хозяйской кровати. Из любопытства ли я не сплю, из вредности или по какой другой причине – поди теперь разберись. Только все время что-то мешает, какой-то звук – то ли шуршанье, то ли хрюканье. По правде говоря, я догадываюсь, что это там, за стенкой. Еще когда я была маленькой, в прошлом году, папа однажды взял меня к себе на работу. Там на всю стену были установлены маленькие клетки, а в них – мыши, крысы, морские свинки. Папа занимался наукой, это был виварий санэпидстанции, которую он возглавлял. Мне совсем не понравилось: запах, мыши противные, с красными глазами, крысы такие же, хвосты голые, гадкие. Морские свинки, может, и поинтереснее, но погладить я их все равно не согласилась. Папа расстроился – понял, наверное, что научная стезя мне не светит. И вот теперь что-то похожее хрюкает где-то рядом, а вдруг сюда прибежит! Я, конечно же, начинаю реветь во весь голос – а это у меня получалось хорошо, может, потому теперь совсем не умею плакать, – прибегает исполошенная хозяйка, берет меня на руки, успокаивает, несет на свою половину, где сама ночует, пока мы в доме. А там у нее, за низкой загородкой, крольчата – черные, белые, серые. Ну, это ж вам не мыши-крысы, совсем другое дело, и они не в клетках, бегают по своему манежу туда-сюда, такие пушистенькие, хорошенькие, особенно вон тот, беленький, круглый, как помпон на моей зимней шапке с ушками. Хозяйка берет его на ладонь, разрешает мне почесать за ушком. Я глажу блестящую шерстку и снова начинаю плакать: я уже люблю его, а он ведь не мой, сейчас положат опять на эту общую кровать, а зверушка тут останется...

И тогда хозяйка тоненьким голоском мне рассказывает, как сказку:

– Ось послухай, дытыно моя. Вы вранци пойидэтэ, а трусыки залышаться, бо дэ ж йим у машини йихаты, та й що йисты? А як писля тойи клятойи войны вы пойидэтэ додому, то я тоби цього трусыка й оддам, та ще й пару до нього. Хочешь, чорного або билого, якого схочешь.

Я и теперь, спустя целую жизнь, не знаю, понимала ли эта женщина, что она для меня сделала. Никакой Ушинский, Макаренко или Песталоцци поврозь или вместе взятые не придумали бы более действенного приема для сохранения психики ребенка.

Всю войну, все эти четыре года – в поездах, под бомбежками, в голоде и ужасе, перед лицом смерти – я ждала этого счастья, этого волшебного момента, когда я возьму в руки своего – своего! – кролика-трусыка. И свято верила, что так и будет. Наверное, это была первая несбывшаяся мечта в моей жизни, но я же тогда этого не знала!

## ЭХ, ДОРОГИ!

Точно знаю, что уже ездила в поездах, потому что зимой мы жили у бабушки, а летом – дома. А вот самих поездок – нет, не помню. И потому, когда нас загружают в «телятник» – вагон-контейнер с встроенными по двум торцам нарами в два этажа, воспринимаю это как раньше горящие поля: это и есть поезд. Одно плохо – туалета

там нет, и вообще все в одной комнате. Устроили какую-то загородку из одеял, поставили в ней цинковое ведро, только я туда хоть лопну – не пойду: стыдно, все слышно. Мальчишкам хорошо, есть окошко, они в него и писают. А девочкам что делать?

Поезд между тем пыхтит сквозь совсем неинтересное голое место, бесконечный пустырь – такой пейзаж виден из окошка. Люди плотно сидят, лежат, толкуются – их больше, чем можно вместить, но – куда деться? Нары с обеих сторон глубокие, нас – старших брата с сестрой и меня – мама поместила наверху у стенки, и это, наверное, очень хорошее место: нас не видно снизу и окошко рядом. Моим старшим хорошо, они большие, могут сами прыгнуть вниз и потом вернуться, а мне приходится сидеть у этого окошка без движения. Ближе к краю нар – совсем другие люди, женщина с большим животом сидит, свесив ноги вниз. Верхние и нижние нары одинаковой глубины, и человек, который сидит внизу, поднимаясь, бьется головой о верхнюю доску. В который-то раз больно ударившись, он, призвав на помощь фольклор, выламывает эту крайнюю доску, и женщина вместе со своим животом грузно падает на пол. Скандал уже набух, он звенит в затхлом дыхании вагона, но тут раздается такой знакомый по последним дням вой, поезд останавливается, и слышится многократно повторенное: «Воздух!», люди выскакивают из вагонов, бросаются врассыпную по степи.

У мамы в руках защитного цвета суконное одеяло – мы потом еще много лет подстилали его, когда белье гладили, – и она, запихав нас в какую-то степную ямку, накрывает этим одеяльцем – маскировка. Но тут обнаруживается, что впопыхах мама оставила на нарах свою синюю сумку, а в ней – документы, денежный аттестат и фотография папы. Бомбы сыплются с неба, самолеты завывают (может, он вообще был один, но в памяти остался черный грай, и я теперь уже не знаю, видела ли его тогда в небе или потом в кино...), а мой старший брат срывается с места, бежит к вагону и очень скоро возвращается с маминной сумкой в руках. Он, конечно, совсем взрослый, ему уже тринадцать лет, и он совсем не испугался, только слово «сумка» губы никак не выговаривают – наверное, бежал слишком быстро. Хорошо, все живы, самолеты улетают – нет, все же их было несколько, люди, прежде чем вернуться на свои места, лезут под вагоны – не ватер-клозет, конечно, но все же...

Едем дальше. На нижних нарах живет мальчик Сема – мой ровесник. С ним бабушка и дедушка: наверное, родители его, как и мой папа, воюют. Вот кому хорошо – ему все позволяют. Игрушек, ясное дело, у нас нет, книжек тоже, играть негде. Сема стащил у дедушки карманные часы – просто хотел посмотреть, что там у них внутри. Дед обнаружил пропажу, когда часы еще можно было спасти, но тут на защиту внука встала бабушка:

– Лазарь, не мешай ребенку играть! – генеральским тоном скомандовала она, и дед сдался. Правда, потом демонстративно спрашивал у всех, который час, – чтоб видели, как ему не повезло в жизни.

Наверное, все бабушки одинаковые: помню, как мы прятались от гнева родителей за широкой бабушкиной спиной, за ее рясной сатиновой юбкой – синей в белых кольцах, там еще такой глубокий карман был – мне по локоть, а в нем – «краковые шейки». Бабушка

разрешала их оттуда выуживать, но я старалась этого не делать. Дело в том, что у нашей бабушки были очень красивые, белые и ровные зубы. Она их очень берегла и носила в кармане, том самом, где и карамельки, и только если кто-то приходил в дом, использовала по назначению. Представляете, как страшно – полезть за карамелькой, а наткнуться на зубы. Тем более что все это было еще до войны, в детстве, когда мы не знали про бомбы. А потом мы бабушку больше не видели, она погибла, и могилы не осталось. Но это к слову.

Поезд у нас очень длинный, и это не просто поезд, а военный госпиталь. В последних, дальних от паровоза вагонах живут служащие, в передней части, где вагоны обустроены по-другому, все госпитальные службы – там палаты для раненых, лаборатории, аптека, кухня, складские вагоны и даже операционная. Все это вместе называется эшелон. Странно, все эти трудные названия вполне естественно укладывались в голове, притом сразу как понятия. Конечно, судить можно только по себе, но все же, я думаю, всех нас, детей войны, спасало то драматическое обстоятельство, что мы познавали эту жизнь первично, нам не с чем было ее сравнивать, а потому мы не могли осознать всего ужаса происходящего. Не знаю, как другие, а я, по крайней мере, очень не сразу начала понимать, как такое детство отпечаталось на всей моей жизни...

В эти четыре года вместились столько понятий, событий, людей, и так все они сплелись и осели в моей душе, что совсем помимо желаний ими и поверяется вся последующая жизнь.

Та самая бабушка мальчика Семы позднее, уже после того, как его нашли и забрали родители, а ее муж, оставшись в госпитале, отправил ее «в тыл» – подальше от опасности, оказалась снова рядом с нами. Это я так подвела своих близких: я-то знала про себя, что я взрослый человек, а посторонние все еще принимали меня за маленькую, а с маленькими всех отправляли «в тыл». Этим таинственным тылом оказался город Актюбинск, где, правда, не стреляли и бомбы с неба не падали, но на самом деле прожитый там неполный год оказался самой черной страницей нашей жизни военного времени. И не только потому, что было особо голодно. За те годы нас забрасывало в самые разные города, в каждом надо было где-то селиться, снимать комнату или угол, и почти всех хозяев мы по сей день вспоминаем с благодарностью. Только в далеком от войны Актюбинске крупно не повезло. Хозяин домика, где сняли комнату, принял нас прямо на вокзале: на работе он был железнодорожником, а дома становился сукновалом – валенки катал в холодной пристройке с глинобитным полом. По тогдашним временам семья была зажиточная: не голодали, даже мясо ели иногда, я сама видела в замочную скважину. Это не мешало нашему хозяину половинить мешочки, в которых мама приносила с базара выменянные на носильные вещи продукты – пшено или муку. А та самая бабушка – жена аптекаря – поселилась через дорогу и, конечно, приходила к нам по вечерам – время коротать при свете коптелки. Хозяин ей и сказал однажды:

– У нас климат суровый, а ты пока свой толстый зад в дверь протиснешь – холоду в дом напускаешь. Ты когда приходишь – полено с собой носи, чтоб нам убытку не было.

С тех пор она к нам ходить перестала, но иногда, постучав в окошко, забрасывала через форточку обгрызенный мышами сухарик – она их целый мешок нашла на чердаке у своего хозяина, потихоньку таскала – для себя и для нас, тем и жива осталась. И нас удержала, хоть и на краю. В городе был введен режим военного времени: 1) людей без прописки на работу не принимать; 2) неработающих не прописывать. Потому держались только тем, что маме удавалось выменять на вещи, да еще этими сухарями от сердобольной старушки. Благо брата маме удалось определить в военное училище – там хоть как-то кормили. Выбраться из этого тыла было непросто: требовался вызов от госпиталя. Но когда в результате долгой и изнурительной переписки мама его уже получила – надо еще было как-то попасть на поезд, как-то уехать. Представьте, и это удалось. Что это был за вагон в тогдашней общей дорожной переполненности – вагон, заставленный какими-то большими предметами, и единственным его пассажиром был человек, давший нам попить горячего кипятку из красных в белых горошинах чашек, – то ли проводник, то ли хозяин этих зачехленных вещей, то ли фельд-служба, и как маме удалось уговорить его взять нас в вагон – этого я и по сей день не знаю. Через неполный год мы вернулись в войну.

## ТЕТЯ КАТЯ

Большой дом с высоким крыльцом, просторный двор с летней кухней, а в этой кухне – как в сказке, вся мебель тыквенная: самая большая тыква – стол, поменьше – табуретки, совсем маленькие, высушенные и выдолбленные, – фонарики на стенке со свечкой внутри. Интересно, а большая телега, на которой хозяин возвращается с работы, ночью тоже в тыкву превращается? Осенью все это уходит на корм скоту – лошади, овцам, корове. На мебель идут точно такие же плоды нового урожая. А уж маленькие медовые густо-оранжевые тыковки тетя Катя ломтями запекает в русской печке, и более вкусного лакомства не придумать... Может, дом не такой уж и большой, а тыква не такая уж вкусная, но мы же не редактируем свои воспоминания.

Тетя Катя подбирает нас зимней ночью на вокзале и через весь город приводит к себе домой, в слободу. Мытье нам устраивает прямо в просторной кухне: деревянная бадья, серое мыло и строгий наказ воду на пол без надобности не лить. И сразу – спать. В узенькой проходной комнате, скорее, коротком коридоре, на топчане и сундучке хозяйском. И как же там тепло и покойно, мы просыпаемся совсем новенькие, разбуженные непривычными и незнакомыми манящими запахами. Кухня уже не похожа на баню, большой семейный стол под оранжевым городским абажуром уставлен разной едой, но главное – на деревянной доске высокими горками лежат толсто нарезанные ломти теплого хлеба – белого и черного. Странные все же люди эти взрослые. Мама при виде такого великолепия вдруг начинает всхлипывать, прижимая руки к груди. Радоваться бы надо: столько хлеба, значит, мы не умрем с голоду, что я и объясняю маме, устраивая себе самый замечательный бутерброд, какой только можно придумать: на горбушку черного хлеба

укладываю ломоть белого. Я в самом деле никогда за всю свою теперь уже долгую жизнь ничего вкуснее не ела. А тогда совсем уж ничего не понять было: не только мама, но и тетя Катя вдруг захлюпала, уголком белого передника стала подбирать слезу...

Как много всего сошлось в этот морозный день. Ночью хозяйка ходила на станцию, отнесла какой-то снеди для голодных, их тогда всюду полно было, и она каждый выходной носила хлеб, печеные в печке яйца, ту же тыкву – одним словом, что нашлось в доме. Вот и нас, только что прибывших, она там подобрала, голодных и измученных, отыскавших, наконец, на уральской земле вызвавший нас госпиталь. Еще это, оказывается, день рожденья хозяйского младшего сына Павла, через год он уйдет на фронт, а старший Виктор уж год как присылает треугольники с фронтовым штемпелем. А еще это и мой день рожденья, о чем мне сообщают прямо за тем ломящимся от всяких вкусностей столом. Пожалуй, первый запомнившийся мне день рожденья.

Наверное, взрослым уклад жизни в этом доме мог показаться экзотичным, особенным, странным. Мне же не с чем сравнивать, да и кто пятилетний занимается сознательным анализом? Потому жизнь воспринимаю как она есть, на веру. И в памяти она укладывается послойно, эпизодами. Этот самый стол, где глиняная миска с черной икрой совсем некстати: мешает добраться до горки хлеба. А рисовый суп с рыбой надо есть непременно хохломской ложкой, и запах краски во рту помню до сих пор. И скобленный добела дощатый пол, с дырочкой на месте сучка. И соседи, пришедшие на нас посмотреть, меня так даже ошупывали, хозяин сказал – рожки и хвостик искали. Не нашли.

А еще помню, как хозяин, бригадир рыбацкой артели – вот его имя в памяти не зацепилось, кажется, Федор, а может, и Федосей – возвращается с путины, и вся его артель в летней кухне усаживается пить. Пьют долго, тетя Катя только издали поглядывает в ту сторону, всю еду и большие, в мой тогда рост бутылки со спиртом она загодя там оставила. Через какое-то время оттуда слышится неровное пение: «Хасбулат удалой», «Имел бы я золотые горы» и, разумеется, «Шумел камыш». Поют недружно, потом понемногу голоса редуют и, наконец, умолкают. А потом хозяин кричит с порога кухни:

– Запрягай, мать!

И она выводит лошадь, проворно запрягает большую плоскую телегу, кричит ему в ответ:

– Готово!

Он выносит своих артельных, как бревна, на плече по одному и, как бревна, складывает на телеге вповалку, а уложив всех, стегает свою рыжую кобылу, гикает на нее, не умеряя зычного рыбацкого голоса, выезжает в заранее растворенные женой ворота. Тут начинается у тети Кати самая работа: привезенную рыбу и икру подготовить в засол, летнюю кухню прибрать, чтоб и следа застолья не осталось, а главное – постель хозяину приготовить.

Возвращается он довольно скоро, ворота ждут его нараспашку, и он, въехав во двор, бросает вожжи, кричит жене:

– Я дома! – и тут же, прямо на телеге, сваливается бревном, как те, кого он только что развозил по домам. Тут уж хозяйка с дочкой или с сыном – кто есть под рукой – волочет его в дом, разде-

вает, укладывает в постель, и он засыпает до следующего дня. Все, больше в доме спиртного не будет до конца следующей путины. Назавтра он встает тихий, умиротворенный и немного растерянный: наступило время безделья. Недолгие эти перебивки между ловом рыбы и иными обязанностями – по дому, все же скотина и утварь требуют мужской руки, да и по артельным делам есть чем заняться не только в путину, а вот коротенькие перерывы переносит он тяжело, ищет себе развлечения, и бывают они, мягко говоря, необычные. Например, гвоздями прибить к полу туфли дочки у ее кровати. Или простегать на жениной швейной машинке поперек мои чулочки – а они у меня, может, единственные, как и у его дочки туфли. И Бог весть, куда бы забрела его фантазия, но тут случается событие почище всех прежних. С утра тетя Катя озабоченно хлопочет на подворье, все снует туда-сюда с какой-то зеленой бутылкой в руках, я и посейчас не знаю, что за бутылка, но резкий запах помню. Может, карболка? Или жидкое зеленое мыло? Потом она бежит за ворота, через дорогу, к соседу-татарину и приводит его в ограду.

– Проходи, Сафа, уж скоро, подсобляй! – И оба они удаляются в конец двора, туда, где хлев, сарай, курятник – одним словом, все службы и куда с самого утра наладился хозяин. А еще через малое время хозяин и сосед Сафа утомленно проходят на чистую половину, вслед за ними и тетя Катя на полусогнутых ногах семенит к дому, по дороге окликавая меня:

– Подь-ка, подь, дитяtko, чё увидишь, сроду не видала!

Вижу я в самом деле небывалое: по двору на подгибающихся тоненьких длинных ножках ковыляет рыжая и мокрая маленькая лошадка, я еще тогда не знала слова «жеребенок». Такой лошадки до того на подворье точно не было.

– Погладь, погладь, не бойся, – ободряет меня тетя Катя и сует мне в ладонь маленький осколочек сахара. – Угости Борьку, он только что родился, видишь, еще не обсох.

И на моих глазах этот рыжий Борька, слизнув бархатными губами с моей руки сахарок, крепче упирается своими длинными ножками в землю и даже начинает взбрыкивать, его уводят на конюшню, к такой же рыжей его маме, а я остаюсь со своими подопечными.

Ну да, я ведь еще не рассказала, тетя Катя, кроме всего прочего, была моей первой в жизни работодательницей. Сначала она меня за руку водила к гнезду, показывала наседку на яйцах, а потом вдруг эти яйца превращаются в пушистые желтенькие комочки, я получаю в руки игрушечное ведерко с настоящим пшеном, и тетя Катя строго приказывает:

– Большая уже девочка, неча бездельничать, все работают. Теперь ты мне за цыплят головой отвечаешь – чтоб сыты были, под забор не убегали и чтоб никто не придавил ненароком – ни ногой, ни дверью.

И я стала со всей честной детской добросовестностью отвечать головой. Цыплята снуют у моих ног целый день. Пшено для них и хлебные крошки я получаю утром, и до самого вечера мне хватает заботы, потому что мои подопечные так и норуют то в погреб упасть, то кому-нибудь под ноги подкатиться. А я старательно по-

могаю квочке сгонять их в стайку. Очень скоро желтый пушок на цыплятках превращается в сероватые перья, и теперь уже мама-курица справляется без меня, но до холодов на мне ответственность за их кормежку.

В субботу – баня. Своей нет, идем к соседу, через дорогу: Сафа татарин, он парится в четверг. Как там тетя Катя топит баньку, как собирает мочалки-веники – этого всего не помню. Честно говоря, и саму баню помню смутно, опыт мой оказался пронзительно коротким. Банька у соседа простенькая, курная, по-черному, и я, вдохнув горячего дымного пару, тут же и сомлев, сваливаюсь с ног. Не отменять же, в самом деле, банный день по такой пустяковой причине! Меня кладут на пол в предбаннике, приоткрыв дверь наружу, а сами уходят париться. С воли наматывает маленький сугробик, я, подышав морозом, прихожу в себя. Оклемалась и даже не простудилась, но после того в курную баню больше меня не берут. Однажды хозяйская дочь взяла с собой в городскую баню, все той же зимой. Там с мытьем и паром все нормально, но, пока мы моем, наш шкафчик с одеждой кто-то обчищает. Жалостливый вор не все уносит, оставляет нам снятое белье моей взрослой спутницы и ее длинную юбку. Так мы и возвращаемся домой: меня она укутывает в свои сиреневые фланелевые панталоны, сама надевает юбку на плечи, как пелерину, – «срам прикрыть», и босиком, со мной на руках бегом по морозу. Ничего, обошлось. Мама потом покрасила бельевой синькой фланелевые солдатские портянки – она ведь получает в госпитале форму как вольнонаемная, и тетя Катя из них сшила мне новое замечательное платье: мое-то украли.

Тетя Катя человек ответственный. Под ее неусыпным контролем вся жизнь. Куры, утки, жеребенок Борька, корова Лыска, тесто – чтоб не убежало из квашни, хлебы в печке на капустном листе – чтоб не сгорели и хорошо пропеклись, полы в доме – чтоб были чисто выскоблены, подворье – чтоб подметено, большой продвунной чулан – в нем высокие, выше меня кадки – с мукой, медом, икрой, солониной. И точно так же она стережет каждый мой шаг с утра до ночи. Нет, конечно, мои мама и старшая, совсем уже взрослая четырнадцатилетняя сестра тоже рядом, когда они не на работе, но они, кажется, когда не спят, всегда на работе, я их совсем не замечаю. Как воздух. И когда нам приходит пора уезжать, потому что госпиталь перебазируют ближе к фронту, тетя Катя сообщает маме свое решение:

– Ты ребенка-то под бомбы не бери, оставь мне. А война кончится, жива будешь, приедешь – отдам, вот те крест.

Мама молчит и задумчиво смотрит на меня. Становится страшно. А вдруг вправду решит меня оставить? Я ведь уже раз была виновата, когда из-за меня нас отправили в тыл и мы там чуть не умерли с голоду. А если опять хлеба не будет? И я, как маленькая, начинаю реветь в голос и умолять маму:

– Мамоchка, мамочка, я тебе обещаю, честное слово даю, я не буду никогда еды просить, ты только не оставляй меня, я буду хорошей девочкой, я уже большая!..

Всю жизнь я задаю себе вопрос: неужели мама могла меня оставить?

*Юлий Ким*

## *СКАЗОЧНЫЕ ПЕСЕНКИ* \*

### ТРИ ПЕСНИ О СТУКЕ

#### Придворный поэт

Вы слышите стук? Я слышу стук,  
Какой-то стук в прихожей.  
Быть может, враг, быть может, друг,  
А может быть, прохожий.  
Но наше дело сообщать,  
Как только что услышим.  
Профессор, слышите? Стучат.  
Теперь стучите выше.

#### Профессор

Вас понял, принял ваш доклад  
Про чей-то стук в прихожей.  
Теперь, как хочешь, рад не рад,  
Я должен стукнуть тоже.  
Такой теперь у нас уклад,  
А впрочем, был и раньше.  
Мадам, вы слышите? Стучат.  
А вы стучите дальше.

#### Главная фрейлина

Да этот стук уже вот тут!  
Я скоро озверею!  
Да я бы всех за этот стук  
Гнала бы с ходу в шею!  
Но я, увы, простой солдат,  
Система есть система.  
Премьер-министр! К нам стучат.  
А дальше – ваше дело.

---

\* Написаны к спектаклю «Голый король» по пьесе Евгения Шварца. Музыка к ним сочинил Геннадий Гладков. Кто захочет, может придумать свой вариант. Тексты на это просто напрашиваются. Лично я непременно попробую. – Ю. К.

**ФРЕЙЛИНЫ**

Вот – мы – фрейлины, отборные придворные.  
Мы проверены и полностью одобрены.  
Охотно и всецело  
На пляже и в бою –  
Везде душой и телом  
Мы служим королю!  
Эх, судьба-индеечка, птица-воробей!  
Раньше была девочка – фрейлина теперь!  
Не бойся, мама, не плачь по мне:  
Я нынче дама при короле!  
Почищу зубки, спою романс,  
Подмажу губки – поймаю шанс!

Вот – мы – фрейлины, отборные, отличные!  
Все – при – деле мы, проворные, привычные!  
Обслужим и уважим,  
И более того:  
Всегда мы грудью ляжем  
За шефа своего!

Ой, калина-ягода в поле зелена!  
Вот такая я была, а теперь умна!

Держись, подруга! Играй, труба!  
Обнимем друга! Побьем врага!  
Хозяин – душка, он любит нас!  
Нам только нужно, чтоб не погас.

**МОНОЛОГ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА**

Вот так вот прямо, откровенно,  
А также грубо говоря,  
Уже давно и несомненно  
Я занимаю место зря.  
Ну не могу я быть премьером!  
Увяла плоть, пропала прыть.  
Могу я только быть примером  
Того, каким не надо быть!

И самому осточертело  
Всё время кланяться и врать.  
Но тело к месту прикипело!  
Я зад не в силах оторвать!

А я ведь был такой романтик,  
 Лицом хорош и духом чист!  
 И астроном, и математик,  
 Поэт, и строгий моралист.  
 Без ложной скромности и позы,  
 Давайте правду говорить:  
 Я мог гораздо больше пользы  
 Себе и людям причинить!

И жизнь была бы интересней  
 И веселее во сто крат.  
 Но держит место, хоть ты тресни!  
 Ну где еще такой оклад?  
 И вот сажу на этом месте  
 И оторвать не в силах зад!

### ПОХОТЛИВЫЙ КАМЕРДИНЕР

Вот чего всегда мне хочется!  
 Вот зачем охота жить!  
 Дайте, братцы, поохотиться,  
 Дайте птичек половить!  
 Эти крылышки да пёрышки –  
 Век бы гладил и глядел.  
 Эти грудки, эти бёдрышки –  
 Так бы взял бы всё и съел!

Прилетели,  
 Подмигнули,  
 Клю-ну-ли.  
 Цыпа-цыпа!  
 Гули-гули!  
 Ай люли!

Ой ты страсть моя охотничья,  
 Как ты мучаешь меня!  
 Я и егерь, я и гончая,  
 И приманка тоже я!  
 Я за этой нежной дичию  
 Столько время погубил!  
 Что, бывало, и добычею  
 Насладиться нету сил!

Во лесу ли,  
 Во саду ли,  
 В небе ли –  
 Цыпа-цыпа!  
 Гули-гули!  
 Все мои!

**ВОЛШЕБНАЯ ТКАНЬ**

Всех людей наша ткань понимает,  
И её не увидеть тому,  
Кто ответственный пост занимает  
По знакомству, а не по уму.  
Ну а кто от рождения глупый,  
То такому скажу, не тая:  
Сколько хочешь смотри или щупай –  
Незаметна она для тебя!

Хороши из неё  
И штаны, и бельё,  
А камзол просто сверх-  
Импозантен!  
В нём тебя ждет успех:  
Он откроет для всех  
И твой ум, и твой пол,  
И характер!

На себе ощутить невозможно  
Эту нашу воздушную ткань,  
Люди носят её осторожно,  
А не так, как обычную дрянь.  
В ней ты ходишь, как будто раздетый,  
Словно весь твой пупок напоказ –  
Ну а сам абсолютно одетый  
Для любых понимающих глаз!

Кто умён, тот и глянь:  
До чего наша ткань  
Хороша и собою прекрасна!  
Эти шелк и трико  
Обнаружат легко  
То, что раньше скрывалось напрасно!  
Как легка эта ткань!  
Как тонка эта ткань!  
Как мягка, и плотна, и атласна!

**ПРИДВОРНЫЙ ПОЭТ (Как разговаривать с принцессой)**

Ваше величество говорит:

«Принцесса, я счастлив своею судьбой:  
Как солнце, на трон вы восходите мой,  
Всё-всё озаря своей красотой».

На это принцесса отвечает:

«Нет-нет, это подвиги ваши, король,  
Всё-всё затмевают повсюду собой».

Вы ей на это:  
«Принцесса, и снова опять счастлив я,  
Что цените вы по достоинству меня».

Она в ответ:  
«Достоинства ваши, их много у вас,  
Послужат залогом для счастья нас».

Ваш ответ:  
«И снова, принцесса, я счастлив, что вы  
Насколько прекрасны, настолько умны».

Теперь она:  
«Король, не могу я поверить глазам:  
Неужто и правда я нравлюся вам?»

А вы ей на это:  
«Мы любим друг друга, моя красота!  
Позвольте, я вас поцелую в уста!»

А принцесса на это:  
«Я в полном смущении,  
Но тем не менее...»

### **НАДОЕЛО ЛГАТЬ! (Монолог придворного поэта)**

Господи Боже!  
Сколько же можно?  
Лгу я без устали, лгу я и лгу!  
Господи, дай же  
Ну хоть однажды –  
Дважды уже не смогу –  
Выйти свободно  
И, принародно,  
Прокляв бессилье своё,  
Всё, что копилось  
И накопилось,  
Выплеснуть полностью всё!

Господи Боже!  
Как на духу:  
Веришь ли, больше  
Я не могу!  
Господи Боже,  
Я уже пожил,  
Скоро угасну и в рай полечу.  
Что мне осталось?  
Самая малость:  
Высказать то, что хочу.

Пусть я утрачу  
Пенсию, дачу,  
Пусть буду чина лишён!  
Я и без чина  
Всё же мужчина!  
Или уже я не он?

Господи Боже!  
Как на духу:  
Веришь ли, больше  
Я не могу!

Хочется правду, мне хочется правду сказать!

### **ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ**

По секрету всему свету  
Сообщаем вновь:  
Ничего на свете нету  
Лучше, чем любовь!

Тут неважно, кто принцесса,  
Кто простой пастух.  
Важно, чтобы от процесса  
Захватило дух.

Вдохновлённые любовью,  
Мы само собой  
Завоеем счастье с бою  
И пойдём домой.

Никого учить не будем,  
Как на свете жить,  
Лучше просто добрым людям  
Песенку сложить.

А они её подхватят  
С нами в добрый час.  
А когда её не хватит,  
Грянем ещё раз  
По секрету всему свету,  
И опять, и вновь:  
Ничего на свете нету  
Лучше, чем любовь!

*Михаил Шербаков*

## *ПОТДА И ПЛАМ*

### ПОЧТИ

Почти четырнадцать, а мир всё не родной.  
Всё та же оторопь. Должно быть, я – агностик:  
хочу, чтоб истина одна сияла предо мной,  
но их то две, то ни одной, то сразу гроздь их.

Иду сегодня я в райком, не то в горком.  
У них там истина всегда сияет ясно.  
И, если я не объявлю, что с нею не знаком,  
они железным наградят меня значком. Единогласно.

Мою фамилию включат они в учёт.  
И раз уж я не объявлю, что я агностик,  
то мне и грамоту вручат, и скажут: на-ка вот!  
Теперь ты – тот, кому почёт. Повесь на гвоздик.

Я всё приму, значок надену – не сниму.  
Навеки, детство, ты прошло-прошелестело!  
Цыплёнок тоже хочет жить, забудь мешать ему.  
К тому же, собственно, кому какое дело?

Большого моря малый плеск не исказит.  
Такие точно же значки полшколы носят.  
Никто на грамоту мою и ока не скосит.  
Однако я повешу, пусть пока висит. Еды не просит.

Иду сегодня я в горком, иду пешком.  
И через двор, и через парк, и через мостик.  
Обвёрнут я воротником, задёрнут козырьком.  
И сзади хлястик узелком. Как вроде хвостик.

### «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»

Меж вод и плит, чей двадцать лет назад  
пленил тебя разлёт победный,  
сегодня твой не в счёт холодный взгляд:  
ему что Летний сад, что Всадник Медный.

Здесь был ты юн и страстию сражён,  
её восторг любому ведом.  
Но тот счастлив, за кем она с ножом  
не век потом крадётся следом.

Счастлив ночлег в полночном полудне,  
в дому, что – да, таки доходен.  
Лицом к стене, на жёстком полотне,  
зато один вполне. Зато свободен.  
Пускай такой свободы ради вся  
прошла весна твоя в неволе...  
Но в белой тот рубашке родился,  
кто, взяв своё, отдаст не вдвое.

Покуда нет досуга небесам,  
досуг земной казнит и судит.  
Закон для всех, но кто казнится сам –  
авось, по всем статьям судим не будет.  
Кем слово «прав» и слово «невредим»  
устранены из лексикона,  
тот сам судья. Хотя – закон един.  
Вольно ж тебе не знать закона.

Не делать вид вольно, что пьёшь не яд  
и что сластишь его не мёдом,  
покуда флот прогулочный в Кронштадт  
за горсть монет везёт тебя по водам.  
Знобит с утра. Волна в Неве седа.  
Погода впрок отметки ставит.  
Но чья была весна не весела,  
того зима не вдруг раздавит.

## 2001

Не только мою конкретную цель я понял бы и достиг,  
но даже и общий замысел от меня бы не увильнул,  
когда бы я – хоть на миг, хоть сразу же как возник –  
хоть сколько-нибудь замешкался и мозгами бы шевельнул.  
Но – кровь, ни с кем не советуясь, размахнулась на долгий круг,  
стопа, не успев опомниться, изготовилась для шагов.  
И мне бы сто лет не крюк! Но всё это как-то вдруг,  
а главное – в высшей степени независимо от мозгов.  
Потом была биография, вся в затмениях, как на Луне.  
То насыпь, то котлован, иногда война, но больше возня.  
Участвовал я в возне – на чёрт знает чьей стороне...  
И всё это шло и делалось независимо от меня.

Мой век своё отревел, как бык, и сгинул, как мотылёк.  
И, тоже не от мозгов, я вместе с ним обмяк и померк.  
И вот уже год как слёг. Но выдержал полный срок.  
И почестям соответствовал, и газетчиков не отверг.  
Со вспышкой, сказали, снимем тебя, вставай, ветеран, с одра.  
Пойдёшь на ура на полосу, где кроссворд и хоккей на льду.  
Снимайте, сказал, с утра. С утра сойду на ура.  
А после обеда – это уже я вряд ли куда сойду...  
Кто хочет, потом лепи персонажу маузер на стегно,  
цепляй типажу медаль о двух сторонах на седую грудь.  
Но лет ему – сто одно. И ест он одно пшено.  
И всё это отношения не имеет ко мне ничуть.

И если ему, оставленному по выслуге без врагов,  
на каждом углу мерещится Пентагон, или Бундесвер,  
то это не от мозгов, нисколько не от мозгов,  
а только, в известной степени, от давления атмосфер.  
Они, атмосферы, давят себе, не глядя, в чью пользу счёт.  
А сборная из последних своих пытит лошадиных сил.  
Клюка мимо шайбы бьёт, медпомощь бежит на лёд,  
а лёд уже год как тронулся, в смысле – двинулся и уплыл.  
Сперва завалился в сточные катакомбы кусками он,  
затем через фильтры вылился – любо-дорого, аш-два-о –  
и дальше на волю, вон, туда же, куда уклон,  
и даже, в какой-то степени, независимо от того.

## СОКОЛЬНИКИ

Помедлив, пускался рейсовый в разбег –  
и, влево взяв за киноцентром,  
к Сокольникам катил. Нарядный, сам себе кино.  
Водитель, в микрофон урча, как бы с акцентом,  
судьбу предсказывал. Но я его не слушал, я смотрел в окно.  
Шёл август, не то июнь. Пора экзаменов, жара.  
На подступы к воротам твердынь учёных  
(воистину старинным – или так, под старину)  
смотрел и различал я дебютанток огорчённых  
и победительниц. И среди них одну.

С ней эхом ещё параграф говорил  
без запятых, подряд и слитно,  
но новым не мешал чертам, повадке, цвету глаз.  
Был взрослый титул ей к лицу. И любопытно,  
что вижу я её такую и сейчас. Вернее, лишь сейчас.

Тогда же – хоть и похожею примнилась мне она,  
но как бы десятию годами позже,  
в пейзаже, не способном уцелеть при монтаже...  
И я был тоже там и сам себе виднелся тоже –  
пока не за морем, но на море уже.

Мы, двое, теряли время у воды,  
ища мотива для дуэта.  
Обманывался слух, и речь давалась тяжело.  
Задумав, например, слова *пройдёт и это*,  
в её ответном взоре вскоре я читал слова *уже прошло*.  
А сверху, от базы отдыха, с акцентом, голоса  
кричали, что сезон закрылся пляжный,  
и сохнуть звали нас к огню и петь про Сулико...  
Один в Москве ходил тогда автобус двухэтажный.  
Высоко ездил я и видел далеко.

## ТОГДА И ТАМ

Тогда и там, когда и где назначишь,  
о небо, ты живыми нас опять, –  
неужто петь велишь, а ноты спрячешь  
меж тех же звёзд, которых не объять?  
Начав с нуля в оптические стёкла  
обзор высот, как ныне и досель,  
не к тайнам ключ, а только меч Дамокла  
найдем мы там – опять ужель?

Сегодня пусть осваивать изустно  
взаимы ничей нам выпало мотив.  
Бывало солоно, бывало вкусно.  
И мало кто ушёл не заплатив.  
Но завтра нас, уставших повторяться,  
ты, небо, вновь безмолвием не встретить.  
Не дай в твоих потёмках потеряться.  
Не дай в лучах твоих сгореть.

О звёздный плен! Тугая ткань паучья!  
Когда теням вернёшь ты кровь и плоть,  
отбей начальный такт, напой созвучья.  
Не все, но часть, не так чтобы, но хоть.  
Сыграй сигнал: не быть опять на страже.  
Опять мотив, но выше на ступень...  
Пусть раньше он подастся нам, чем даже  
насущенный хлеб на каждый день.

*Даниэль Клугер*  
**ВЕРНЁТСЯ ЛИ ВЕТЕР?**

**БАЛЛАДА О ХОЖДЕНИИ В ИЕРУСАЛИМ  
РАВВИНА БЕШТА И РАЗБОЙНИКА ДОВБУША**

Встретились в Коломые праведник и разбойник –  
Храбрый Олекса Довбуш, мудрый Исроэль Бешт.  
Был ватажок обличьем бледен, что твой покойник:  
«Вот и промчалось, друже, время былых надежд...»  
Сели в шинке еврейском, выпил разбойник водки,  
Молвил – и сам дивился тихим словам своим:  
«Знаешь ты все на свете, путь укажи короткий,  
Чтоб убежать отсюда в град Иерусалим!

Много пролил я крови, много добыл я злата,  
Стала душа томиться, и опостылел свет.  
Может быть, за горами легиня ждет расплата,  
Может быть, в светлом граде буду держать ответ!»  
Только ответил скорбно праведник – реб Исроэль:  
«Мы ведь туда дорогу сами себе творим.  
Но, так и быть, Олекса, путь я тебе открою,  
Ночью пойдем с тобою в град Иерусалим!»

В сердце Карпат спустились – из самоцветов стены  
Пляшущим, зыбким светом были озарены.  
Духи ли из могилы, бесы ли из Геенны  
Вились под сводом – свитком призрачной пелены.  
Темным подземным ходом, страхам уже не внемля,  
Внемля одной лишь вере, ведомой им двоим,  
О, как попасть спешили оба в Святую Землю –  
Довбуш и реб Исроэль, – в град Иерусалим!

Только Господень Ангел им преградил дорогу.  
Ярко сиял в деснице огненный смертный меч.  
«Вам воротиться должно!» – крикнул Посланник строго.  
Грозно нахмурил брови, молвил такую речь:  
«Поздно ты вышел, Довбуш, поздно ты спохватился.  
Будет тебе награда здесь, по делам твоим.  
Ты же, раввин Исроэль, слишком поторопился.  
Нет вам пути-дороги в град Иерусалим!»

...Оба они вернулись – Довбуш и реб Исроэль.  
Вышли из гор Карпатских и побрели домой.  
Медленно, краем сонным, утреннею порою,  
Только сердца объята плотной глухою тьмой.

Очи смотрели долу, были печальны лица,  
 А по траве струился призрачный терпкий дым...  
 Небо над ними – словно царская багряница.  
 Плыл в этом алом небе град Иерусалим...

*Существует несколько легенд, в которых рассказывается о дружеских отношениях между основоположником хасидизма, великим праведнике и чудотворце рабби Исразле [Исрозле] Бен Элизере Баал-Шем-Тове [Беште] (1700–1760) – и Олексой Довбушем (1700–1745) – знаменитым разбойником, «опришком», «карпатским Робин Гудом». Согласно хасидским преданиям, рабби Бешт до конца жизни не расставался с трубкой, подаренной ему Довбушем.*

### БАЛЛАДА О КАПИТАНЕ ВОЗНИЦЫНЕ

Ах, какие над Невой яркие зарницы!  
 Только звон колоколов и тяжел, и груб.  
 Погоди-ка, погляди, капитан Возницын, –  
 Для тебя давно готов тут смолистый сруб.  
 «Колот шпагой, пулями в двух местах прострелен,  
 И горел я, и тонул – вел со смертью спор...  
 Но не ведал, Борух, что жребий уж отмерен:  
 Нам с тобою – палачи да Гостиный Двор...»

Борух, что так плачешь ты, мой дружок еврейский?  
 Вон они, солдатики – все двенадцать в ряд.  
 Погоди-ка, погляди ты на люд расейский!  
 На миру и смерть красна – правду говорят.  
 А жена законная курвой оказалась  
 И надумала меня выдать на позор.  
 В ноги бросилась попу – и судьба досталась  
 Нам с тобою – палачи да Гостиный Двор...»

Борух, ты спроси, зачем я в жида подался?  
 Знаешь, братец, никому не был я своим.  
 Погоди-ка, погляди – чужаком остался!  
 Чужаком уйду сейчас в этот чёрный дым...  
 И далек родимый дом – да и нету дома.  
 И вовек не добежать до высоких гор...  
 Да и сердце давит мне смертная истома:  
 Нам с тобою – палачи да Гостиный Двор...»

Говорил нам твой сосед – добрый малый Тóвит:  
 Мол, бегите вы в Литву, убирайтесь с глаз...  
 Погоди-ка, погляди – баньку нам готовят,  
 Чтобы до костей прогреть нас в последний раз.  
 Помолись – и не пускай слёзы на ресницы –  
 О себе и обо мне, помня уговор.  
 Не тужи – с тобой идёт капитан Возницын –  
 Что нам сруб да палачи – да Гостиный Двор!...»

В небе гаснут без следа яркие зарницы.  
 День уйдёт, и побегут тени по земле.  
 Погоди-ка, погляди, русская столица, –  
 То ли облако летит, то ль курьер в седле...  
 Чёрен пепел, горек дым и мутна водица.  
 Не гудят колокола, не горит костёр.  
 И ушёл в небесный флот капитан Возницын,  
 И забылся до утра сном Гостиный Двор.

*Отставной флотский офицер капитан-поручик Возницын по неизвестным причинам вдруг перешёл в иудаизм – с помощью еврея-откупщика Боруха Лейбова. Об этом стало известно властям (донесла жена, получившая за донос имение Возницына и сто душ крепостных). За отступничество и нежелание раскаться он и его «соблазнитель» Борух Лейбов были приговорены к смертной казни через сожжение. 15 июля 1738 года они были сожжены в Санкт-Петербурге, в Гостином Дворе, в специально сложенных для этого срубах. Рассказывают, что по дороге к месту казни Возницын все время поддерживал своего друга-еврея, повторяя: «Погоди, Борух, не торопись!». Это была последняя подобного рода казнь в России.*

## КАПРАЛ И ШПИОН

Знамёна да ружья, трава да песок,  
 За лесом овраги да логи.  
 Французская армия шла на восток  
 По старой Смоленской дороге.  
 Солдатская жизнь – то поход, то привал –  
 И в кости играет, и в прятки.  
 Солдатам полковник Верже приказал  
 У роци поставить палатки.

А тусклое солнце клонится уже,  
 И ночь в ожидании скором.  
 И близкую роцу полковник Верже  
 Велел осмотреть гренадёрам.  
 Из роци солдаты пришли не одни,  
 К палатке Верже прошагали,  
 Ему доложили, что в роце они  
 Торговца-еврея поймали.

Полковник вскричал: «Ты лазутчик, еврей,  
 Для русского войска старался!»  
 Торговец твердил, что случайно, ей-ей,  
 Он здесь на французов нарвался:  
 «Купил для вола на базаре ярмо,  
 Про лагерь солдатский не знаю!»  
 Но в сумке большой у еврея письмо  
 Нашлось – к генералу Барклаю...

«Ну что же – теперь можешь врать иль молчать,  
 Нам правду бумага сказала!»  
 Шпиона полковник велел расстрелять,  
 И кликнул солдат и капрала.  
 ...Скупую слезою усы оросив,  
 Не глядя в солдатские лица,  
 Капрала бесстрастно еврей попросил,  
 Позволить ему помолиться.

Ответил капрал: «Скоро солнце зайдёт,  
 Пора!» И добавил сурово:  
 «Тебя без молитвы Всевышний поймёт,  
 Коль выписан пропуск свинцовый».  
 Рукою взмахнул и скомандовал: «Пли!»  
 Лес дрогнул от птичьего крика.  
 И залп прогремел... В придорожной пыли  
 Остался лежать горемыка.

...В молчанье солдаты сидят у костра,  
 Их лица и смутны, и строги.  
 Под гром барабанов им завтра с утра  
 Шагать по Смоленской дороге.  
 Забвенья искали в дешёвом вине,  
 Потом разбрелись по палаткам.  
 Мечтали они о предутреннем сне  
 Солдатском – глубоком и кратком.

...Капрал у костра оставался один.  
 Лишь хмурое утро подкралось,  
 Из ранца достал он сидур и тфилин  
 И бережно сложенный талес.  
 Набрякшие веки прикрыли глаза.  
 Негромко, без вздоха и стона,  
 Прочел он молитву еврейскую за  
 Еврейскую душу шпиона.

*Во время войны 1812 года еврейские подданные Российской империи занимали однозначно патриотическую позицию. Великий князь Николай (будущий Николай I) писал в своем дневнике: «Удивительно, что они [евреи] в 1812 отменно верны нам были и даже помогали, где только могли, с опасностью для жизни». Удивительно или нет, но евреи, по призыву р. Шнеура Залмана [«Алтер Ребе»] – основоположника движения ХАБАД, рискуя жизнью, становились русскими разведчиками, секретными курьерами, проводниками партизанских отрядов. Французы поначалу удивлялись такому поведению – ведь Наполеон был активным сторонником еврейской эмансипации, в его армии были евреи-офицеры и даже генералы (генерал-майор Роттенбург, бригадный генерал Вольф). Однако очень скоро им стало понятно, что под еврейским традиционным платьем, как правило, скрывается русский «секретный агент».*

## *Марк Азов* *ФИРА И ФРИЦ*

*Я знаю, Ты все умеешь,  
Я верую в мудрость Твою,  
Как верит солдат убитый,  
Что он проживает в раю.*

Булат Окуджава, «Молитва»

Фиру вызвали в военкомат:

– Твой год еще не совсем призывной. Но ты состояла в кружке Ворошиловских стрелков Дворца пионеров, так?

– Там мы стреляли только из мелкокалиберки.

– Ничего. Научим, если пойдешь добровольно.

«Если бы мама была, она бы легла в дверях и не пустила, – подумала Фира, – а папа, пожалуй, сказал бы: "Иди..."». И не успела ответить, как военком протянул бумагу:

– Направляешься в Москву, в школу снайперов.

Всю дорогу до Москвы Фира со страхом представляла свою жизнь среди грубых нахальных парней. Но оказалось, что в школе снайперов – только девушки. Много девчонок, самых разных – и грубые, и нахальные, под стать парням, другие вполне терпимы, а с одной, скуластенькой казашкой, они даже очень сдружились. В свободное время бродили по территории школы и воображали, что живут в XVIII веке, при царице Екатерине Второй, среди дам в колокольных кринолинах и кавалеров на тонких ножках. А как иначе, если школа девочек-снайперов располагалась в Кусково, загородном имени князя Шереметьева. Девчонки жили в графской оранжерее, длинном доме с наклонной стеклянной стеной, выходившей в регулярный парк с аллеями, статуями, искусственным гротом, прудами и разными потешными домиками: голландский, швейцарский, итальянский – и дворцом, который казался каменным с мраморными колоннами, а оказался деревянным, и колонны деревянные. Мрамор, видимо, на дороге не валялся. В парке был мраморный столб с надписью: «Сия стела поставлена в честь посещения императрицей Екатериной Великой, из мрамора, пожалованного самой императрицей». Ходили в гости со своим мрамором.

Но времени любоваться стариной оставалось мало, будущих снайперш гоняли, «как соленых зайцев», натаскивали, как охотничьих собак, и потому они порой делали стойку даже на тени прошлого в графском парке.

Однажды в сумерки, когда они шли по аллее меж двумя стенами из высокого кустарника в пугающей темноте, подружка застыла столбиком и как-то по кошачьи насторожилась:

– Здесь кто-то ходит.

Возможно, глаза этой «дочери степей», как ее, смеясь, называли, и правда кого-то видели из своих узких бойниц.

– Я не вижу, я чую. Может, она?

– Кто?

– Прасковья Жемчугова.

О Жемчуговой тут только стены не говорили, да и они, пожалуй, тоже. Кому, как не девушкам, слушать, разинув рты, о крепостной актрисе, на которой молодой граф женился официально и этим шокировал высший свет. Даже портрет показывали бывшей деревенской девчонки, беременной следующим Шереметьевым.

– Сказала! Она же умерла от туберкулеза.

– Бедная. Ее, конечно, пустили в рай за все страдания.

– Рая нет, – твердо сказала Фира.

– Конечно, – быстро согласилась подруга. – Раз Бога нет, какой может быть рай?

– Даже если Бог есть, все равно нет рая! – сказала Фира. – Мой дедушка верил, молился, он говорил бабушке, что души мертвых не возносятся, а терпеливо ждут, пока не наступит рай на земле.

– Коммунизм?

– Коммунизм для всех, а земной рай только для хороших... Ну, в общем, хорошие люди оживут, а плохие умрут окончательно.

В эту ночь Фира не сразу после отбоя провалилась в сон, думала: все-таки жалко, что Бога нет и все, что говорил дедушка, – сказки. А то бы они еще встретились когда-нибудь с папой, от которого осталась только похоронка, с мамой и братьями... Мама еще в июне сорок первого повезла младшеньких, Валика и Левика, к бабушке в местечко Паричи, что в Белоруссии на реке Березине. У бабушки была корова Зорька с телкой Звездочкой. Когда Фира была помладше, мама возила и ее купаться в Березине. По утрам она сквозь сон слышала дрожащий звук рожка. Открывались все ворота в местечке, коровы выходили на улицу к пастуху и шли на выпас, а пастух брел за ними, сонный, с кнутом на плече. Потом коровы приходили на вечернюю дойку и сами находили свои ворота. Пастух ко всем этим передвижениям не имел никакого отношения. Было похоже, что не он пасет коров, а коровы – его. Зато бабушка не знала отдыха: доила коров, кормила детей. Сновала, пыхтя, как маневренный паровозик, между сараем и русской печью, где томилось в глиняных горшочках топленое молоко с корочкой цвета шоколада. Кроме печки, занимавшей половину дома, был еще дедушка с книгой, над которой он раскачивался, словно поклевывал страницы. Внуков будто и не замечал, хотя их был целый выводок, всех привозили «на дачу» из пыльных городов сыновья и дочери, дай им Бог здоровья, пусть рожают еще. И в это лето привезли из Ленинграда и Харькова еще четверых внучат, двоюродных братьев Фиры...

А 22 июня объявили по радио, что началась война. Папу, он был старший политрук, вызвали в часть, а мама так и не вернулась, потому что 5 июля в Паричах уже были немцы. Что они сделали с евреями, Фира не знала. Но догадывалась... Окончательно выяснилось только после войны. Всех евреев местечка специальная команда с изображениями черепов на стальных шлемах вывезла в кустарник за деревней Высокий Полк, там расстреляли из автоматов и стариков, и женщин, и детей. Всех закопали в четыре ямы по десять метров в длину и шириной два метра каждая. А в ноябре 43-го, отступая, немцы разрыли ямы, три дня сжигали трупы, а кости, которые не взял огонь, рассеяли на колхозном поле.

Встретить маму и братьев Фира могла лишь в раю... Но учеба закончилась, и девчонок отправили в ад. В ад, наполненный воем снарядов, визгом рваного железа над телом девочки, вжавшейся в грязь или черный снег, и свинцовыми поцелуями пуль... У первого раненого, которого увидела Фира, была оторвана нижняя половина лица, он ворочал обрубком языка и жестами просил добить его. И только дело, которым она теперь занималась, заглушало страх. Она думала о том, как убить, а не о том, что сама может быть убита. Она стала машиной смерти, находила себе лежбище и часами ждала жертву. Как только в прицеле появлялся вражеский солдат, стреляла и повторяла, как в детстве мама, когда кормила с ложечки: «За бабушку... за дедушку... за Левика... Валика... Фиму... Сашу... Борю... Мишу...»

За папу она тоже не забыла срезать какого-то бедолагу с отвисшей мотней штанов.

Фира надувала толстые губы, всхлипывала, вспоминая имена родных, и делала зарубки на прикладе винтовки.

Пока ее не вычислили и не появился Фриц. Наверно, его звали как-нибудь иначе, но для Фиры это был Фриц, один из фрицев, который пришел завершить дело, начатое ими в Паричах, – убить теперь ее.

Среди тысяч пуль, решетивших воздух, Фира тотчас узнала пулю снайпера, адресованную ей.

До наступления темноты лежала, боясь шевельнуться, выдать себя, ночью поменяла позицию, а на рассвете, когда, расслабившись, вновь начала охоту на немцев, ставивших мины на плацдарме, раннее солнце блеснуло на линзе ее прицела...

Фриц раскрыл блокнот с фотографией мальчика в коротких штанишках под целлулоидом на обложке и аккуратно приплюсовал к своим победам смерть русского снайпера.

Фиру похоронили в общей могиле там же, на задонском плацдарме между устьями рек Хопер и Медведица.

Вскоре немцы, наступая, дошли до того берега, где русские поставили высокую фанерную звезду, и бризантный снаряд разорвался над головой у Фрица, когда он расположился у походной кухни с котелком и флягой...

Фрица, которого на самом деле звали Клаус, похоронили там же, где и Фиру, только не под высокой звездой, а под низким крестиком.

...И звезда, и крестик давно уже превратились в труху и смешались с землей. И под землей от тел убитых остались разве что кости. Но Фирин дедушка оказался прав: души мертвых не покидают земной юдоли, они остаются там, где смерть освободила их от телесной оболочки. Существуют, не ощущаемые никем, и ждут прихода Машиаха, потомка библейского царя Давида, маленького человека на белом ослике с ночными глазами, глядящими на дорогу изпод полуопущенных выпуклых век насмешливо и печально. Заслышав стук маленьких копыт печального ослика, души добрых людей вновь обретут тела и соберутся в Иерусалиме, чтобы провозгласить царство божие на земле отныне и навечно. И больше никто никогда никого не обидит, потому что злые души вернуться в могилы и зло покинет нашу исстрадавшуюся землю отныне и навсегда.

Там, на Задонщине, где когда-то похоронили Фиру, а потом и Фрица-Клауса, раскинулась большая станица, которая росла, вытесняя и лес, и поле, и луга. Еще до развала Союза многие дома за дощатыми заборами опустели, да и заборы покосились, зато выросли «хрущобы» – панельные пятиэтажки. А в девяностые годы старые дома засверкали свежей краской, некоторые хозяева надстроили мезонины и подвесили балкончики с балясинами; церковь, где при советской власти был склад вторсырья, обзавелась золотыми куполами. И появились доселе невиданные особняки, кирпичные, трехэтажные, окруженные высокими стенами, с бронированными воротами и «мордоротами» из местных парней.

Все это Фира видела, хотя Фиры не видел никто. Как душа Жемчужовой в аллеях Кусковского парка, так и душа Фиры теперь бродила по улицам станицы. Иногда пыталась уйти отсюда, вообще с задонского плацдарма, подальше от мест, где убивала и была убита, но воздух сгущался на ее пути, и сил не хватало одолеть невидимую преграду.

Если бы пуля Фрица не попала в цель, ей было бы уже далеко за восемьдесят, но Фриц не промахнулся, и время для Фиры зависло. Он была все той же полудевушкой-полуробенком, не узнавшей ни женской любви, ни материнства. Но телесная жизнь станицы не давала душе покоя, манила, соблазняла и вгоняла в тоску...

И Фира нашла себе мертвый дом – призрак дома, оставленного обитателями, с украденными из окон стеклами и забитыми кривыми гвоздями дверьми.

Окна Фиру не интересовали, забитые двери не мешали входить и выходить. Зато была русская печь, такая же, как у бабушки. Большая – дом в доме. Когда-то, еще на фронте, Фира видела целые деревни, состоящие из печей. Деревянные дома сгорали, оставались лишь кирпичные печи – голые сироты деревень. В доме, где тосковала Фирина душа, печь не топилась многие годы, да и Фира нуждалась совсем в другом тепле. В осенние мутные дни, когда ветер задувал в трубе, было слышно, как печь жаловалась на судьбу. А как плакала Фира, не слышал никто.

Но однажды ветхие стены задрожали, послышались голоса, кто-то поднял с земли упавшие ворота и во двор въехал грузовик. Мужик в потертой джинсовой куртке клещами вывернул из дверей кривые гвозди, вошел и хозяйским взглядом окинул помещение. Фиры он, конечно, не увидел. Загремели доски, которые сбрасывали с грузовика. Мужик снял куртку, остался в линялой тельняшке, и с тех пор только и слышно было, как он стучал молотком и сотрясал воздух рычанием электродрели. Ему помогали сыновья, один с пушком над губой, другой совсем как девушка. И крышу они крыли втроем, и штукатурили стены, красили двери, ставни, наличники... Мать приносила им борщ в кастрюле, мясо с картошкой и компот.

Когда дом стал как новый и улыбнулся протертыми стеклами, вошла крохотная девчушка с косичками, похожими на пшеничные колоски, и внесла кошку. Потом в дом вступила хозяйка, уже знакомая Фире. Она несла перед собой поясное зеркало в раме с полочкой. За нею стали втаскивать мебель, узлы, чемоданы, картонные коробки. Последней девочка лет двенадцати внесла шелковый, простроченный, в кружевах, конверт с самым маленьким

членом семьи. И мать тут же, среди разбросанных вещей, уселась кормить его грудью.

Фиры никто не заметил, кроме кошки. Она уставилась своими зелеными светофорами в ее сторону, но отвернулась и никому не сказала.

А хозяйка, уложив ребенка, стала готовить на таганке во дворе. Сварила гору картошки в мундире, и у Фиры защекотало в глазах от любви к этим людям. Она вспомнила женщин из деревни Кусково, рядом с Шереметьевским парком. Зная, что девушкам в снайперской школе дают только «суп рататуй» из горохового концентрата и по полчёрпака перловой «шрапнели», они приносили к чугунной изгороди картошку в мундире, прикрывая посуду телогрейками, чтоб не остыла. Всех девочек называли дочками, жалели бедняжек, мерзнувших в огромной оранжерее, и вообще, какие из них солдаты...

Семья, которая купила этот дом, была не из местных станичников, приезжая. Хозяин чуть свет заводил трактор и только к вечеру возвращался домой. Пьяных песен, как это было в других домах, здесь не пели даже по воскресеньям. Старший сын уезжал с отцом на поле. Средний, восьмиклассник, тоже уже научился править трактором, старшая девочка рвала траву для кроликов, малышка с пшеничными косичками сторожила коляску с братиком, а хозяйка кормила всех, включая кур и кабанчика в сарае. Фира видела, как у нее слипаются глаза, когда она укачивает ребенка, ребенок плачет, мать их с трудом разлипает, и наступает момент, когда уже подбородок утыкается в грудь, женщина начинает тихонько посапывать, сидя над детской кроваткой, и даже плач ребенка ее не будит...

А Фира не могла слышать детского плача – и однажды подошла к кроватке, стала тихо покачивать, и чувство до сих пор незнакомой, не девичьей, а женской тоски разорвало ее существо. Почему у нее никогда не будет детей?! Такой вот комочек плоти, доверчивый и беззащитный, никогда не прильнет к ней тельцем, не станет искать грудь и не назовет мамой. Проклятый Фриц одной пулей убил еще не родившуюся мать с еще не зачатым ребенком.

Одно утешало: у Фиры теперь была семья, хотя семья не знала об этом. Она ходила с ребятами в школу, но ее никто там не видел. Когда они «плавали» у доски, Фира подсказывала, но ее никто не слышал. Однажды даже пошла с классом, где училась младшая, Ира, в краеведческий музей. И там увидела винтовку со снайперским прицелом и зарубками на прикладе. Зарубки неглубокие, царапки, а не зарубки. Она сразу узнала: ее винтовка. Ребята рассматривали патроны, снаряды, пулеметные ленты под стеклом. Фира не отрывала взгляд от винтовки.

Спокойная жизнь семьи продолжалась недолго. Ими заинтересовались те самые мордовороты, гоняющие по станице на мощных лакированных машинах, которые они называли тачками. Когда эти машины проносились по улицам, станица как будто вымирала: захлопывались калитки, во дворах становилось пусто, даже цепные псы и те, поджимая хвосты, заползали в будки.

В одно из воскресений, когда хозяин в кои веки днем уселся со всеми за стол, за воротами раздался визг, будто задавили собаку. Но это они так лихо тормознули.

Без стука, без спроса ввалились вчетвером.

– С новосельем вас, господин фэрмэр.

– Ну? – хозяин насторожился.

– Вы бы, ребята, не курили, – попросила хозяйка, – у нас ребенок.

Один из гостей сплюнул горящий окурочок на ковер. Другой – сунул сигарету в ведро с питьевой водой, принесенной из колодца. Зашипело.

– Сердитое у тебя ведро, мамаша, – шутник подмигнул детям. – Ну как, мужик, – будем делиться?

– Не понял?

– Все ты понял.

– Допустим. С какой стати?

– А на чьей земле у тебя фэрма?

– Землю я арендовал по закону.

Слово «закон» вызвало такой хохот, что младенец проснулся, заорал.

– Отгадай загадку: кругом вода, посредине закон, чо будет?

– Слышал. Прокурор купается.

– Ну вот и плыви к прокурору. А здесь мы – закон.

– Понаехали, понимаешь, всякие.

Хозяин встал из-за стола, отошел от детей подальше на свободную часть комнаты. Сыновья было дернулись за ним. Он бровями показал: спокойно.

– Вот что, хлопцы, – сказал он гостям, – сниму урожай, тогда и потолкуем.

Снова хохот:

– Дорога ложка к обеду.

– Сейчас сбегая за ложкой для вас.

Вышел и вернулся с двустволкой.

– Хирург у вас есть, ребята? Картечь из жопы вынимать.

Гости с виду не очень испугались.

– На нет и базара нет. Хорошее у тебя ружье, только на всех нас у тебя дрови не хватит.

Но отвалили. Тачка снова взвизгнула по-собачьи и растворилась в пыли...

– Сходи в милицию, подай заявление, – сказала жена.

– А кто, по-твоему, служит в милиции? – сказал муж.

Но жена настояла...

Из милиции он пришел смятый какой-то и не смотрел в глаза:

– Не спрашивай. Как везде. Предложили свою крышу.

Фира не поняла: зачем им другая крыша?

– И ты согласился?

– А куда бы я делся? Но они тоже говорят «дорога ложка к обеду» – не хотят ждать до осени. А нам чем обедать? Тут хотя бы с ссудами развязаться. Пришлось послать их подальше.

Жена заплакала.

– Уезжать надо.

– На «уезжать» у нас тоже не хватит пороху. Все сюда вкатили. На улицу, что ли, с детьми? Ничего, меня тоже голыми руками не возьмешь.

...Валерик устроился в кустах у дороги. Промасленный брезент, в который было завернуто оружие, расстелил на травке, винтовку со

снайперским прицелом, новую, с рожком и глушителем – все при ней, уложил рядом, под правую руку, сам перевернулся носом вверх, курил, глядя в ленивые облака. Бояться ему было некого. Ствол не засвеченный, еще не стрелянный, прапор сегодня еще до отбоя поставит винтарь на место, где стоял. Прокола быть не может. Да и кто станет связываться с сыном райпрокурора? Себе дороже.

Мобильник задрожал в кармане. Ага, уже докладывают, что «фэр-мэр» заводит трактор. Подождем – не под дождем...

– Что ты сказал? Не сам на тракторе, а пацана посадил?

...Ни фига себе!.. Ну, пацана – так пацана. У фермера этих выблядков до хрена, а мало покажется, еще наклепают. По барабану. Главное, чтоб шобла знала, что Валера тоже не пальцем деланный.

Послышалось дырчанье трактора. Вот он, тракторишка с прицепом. На высоком сиденье фермерский сынок, в прицепе ящики свежесобранных помидоров.

Валерик перевернулся на живот, потянулся за винтовкой, нащупал брезент... Пусто... Винтарь исчез необъяснимым образом...

Валера встал на четвереньки, повертел головой. Никого. Выпрямился. Вокруг ни одной живой души.

Валера не знал, что бывают и неживые души. Война с немцами, которая прошла кровавым плугом по этой земле, была от Валерика так же далека, как битва с Мамаем. А Фриц, он же Клаус, все еще бродил здесь и не мог перейти очерченного кем-то незримого круга. Хотя кто бы понял, как он хотел домой?!.. Но кем-то всевластным ему не велено было покидать поле боя. Хотя от прежних окопов и ходов сообщения остались еле заметные валики, обрывки колючей проволоки превратились в бугристые сосульки ржавчины, блиндажи – в неглубокие впадины, проросшие насквозь деревьями. Но Клаус еще в самом начале своей посмертной жизни облюбовал один блиндаж, где сколотил койку из досок и стол, на который складывал дорогие воспоминания. Главное среди них – блокнот, вернее, то, что от него осталось: целлулоидная обложка с фотографией мальчика в коротких штанишках на шлейках и в рубашонке с галстуком. Мальчика звали Вилли. Отец любил с ним посиживать вечером за столом под зеленым абажуром и читать книжку. Ему самому в детстве мутер читала под этим же абажуром старинную, с затейливым готическим шрифтом и забавными рисунками автора, книгу Вильгельма Буша «Макс и Мориц. История мальчиков в семи проделках». Макс и Мориц были ужасные шалуны, они безбожно издевались над добрыми бюргерами: пекарем, портным, фермером, даже учителем, но шутки, как правило, плохо кончались для них самих. В конце концов сорванцы угодили под жернова, и мельница их смолола на мелкие кусочки, которые склевали утки. Так и было нарисовано: кусочки мальчиков на последней странице.

Вилли почему-то разозлился:

– Утки не людоеды!

– Конечно, мой мальчик. Утки не едят детей. Это просто писатель пошутил.

– Значит, он сам людоед.

И не захотел больше смотреть картинки в этой книжке.

Где теперь Вилли? Его, наверно, не узнать... А мальчик, который уже водит трактор, совсем как Вилли, если бы Вилли было, как это

му мальчику, не пять лет, а пятнадцать. Такие же волосы, почти белые, и щеки с ямочками. Как жаль, что я не дождался, когда Вилли тоже сядет за руль трактора!

В чем, в чем, а в сельском хозяйстве Фриц разбирался. Помидоры чуть-чуть не дозрели, самое время снимать, и русский фермер не дурак, вся семья собирает: сыновья и девочка лет двенадцати... А говорили, русские не трудолюбивы...

Ветер, текущий вдоль дороги, пахнет помидорной ботвой. Мальчик, похожий на Вилли, везет ящики с помидорами в прицепе за трактором...

А у дороги в кустах какой-то балбес развалился рядом... с винтовкой незнакомой конструкции, со снайперским прицелом и рожком, как у автомата. Вот мальчик подъехал ближе, и балбес потянулся за винтовкой... Хорошо, что Клаус оказался рядом. Не дай Бог... Как он впоследствии проклинал себя за то, что не пристрелил бандита из его же винтовки.

...Станица вздрогнула и замерла от ужаса. Рынок, который обычно работал до полудня, опустел, едва начавшись. Крикливые бабы пугливо перешептывались, собираясь по двое, и разбегались с появлением третьей. Все ворота закрылись одновременно. У приезжего фермера вырезали всю семью. Ночью закололи ножами, зарубили топорами и размозжили головы спящим: отцу с матерью, сыновьям, одному семнадцать с половиной – уже вызывали в военкомат, другому пятнадцать, двум дочерям – двенадцати- и пятилетней, даже младенца не пожалели...

Милиция окружила дом, никого не подпускают... А никто и не приходит... Растянули полосатые ленты, фотографируют, ищут отпечатки, даже собаку-ищейку привели. Хотя кого искать? Вся станица знает, кто это зверство совершил. Все знают и все молчат. Да и кто поверит. Убийцы даже семимесячного Андрюшку не оставили в свидетелях. Лучший свидетель – мертвый свидетель.

А он был... Фира узнала всех четверых, которые приезжали в то воскресенье, видела, как Валера занес ножевой штык над кроваткой ребенка. Но что она могла сделать, если ее саму убили шестьдесят восемь лет тому назад? Что?!

Если вам захочется умереть после вашей смерти второй раз, вы поймете, какая невыносимая боль раздирала ее душу.

Милицionеры задевали ее локтями, но не обнаруживали присутствия, она ходила по лужам крови и не оставляла следов. Ее не было, но она была.

А Фриц пришел на огороды посмотреть, чисто ли проведен сбор помидоров, и не обнаружил ни фермера, ни трактора с прицепом... Ну кто же еще спит в такое время? Все-таки русские есть русские. И пошел проверить. Лучше один раз увидеть... И увидел детские игрушки в луже крови. Тела, длинные и короткие, выносили к «труповозке». Он так боялся увидеть среди них своего Вилли, то есть похожего на Вилли мальчика с белой головой. И увидел. Лицо его накрыли простыней перед самой машиной. Оно теперь стало таким же белым, как голова...

Приехал прокурор и еще какое-то районное и областное начальство. Множество автомобилей заправили улицу у самого высокого

забора станицы, за которым торчал особняк с окнами «типа мавританских». Среди машин, которые заехали даже на тротуар, были и знакомые станичникам джипы, на которых мордovorоты носились по ночам, пугая визгом тормозов присмирившее население. Они были там, все за одним длинным столом. На улице было слышно, как чокались хрусталем и орали здравицы.

К утру стали выводить, а кого и выносить к машинам. ...И тут первый выстрел ударил и прокатился эхом. Шутник, который требовал ложку к обеду и, улыбаясь, перерезал горло малышке с пшеничными косичками, упал, проехав ногтями по лакированному крылу своей тачки. Остальные спяну приняли выстрел за салют, но вторая пуля скосила убийцу фермера и жены, что сперва оглушал обухом топора, потом уж резал. А теперь валялся в блевотине у ворот. Третий успел выхватить ствол, но пуля попала в глаз... А шустрый Валерик, который «кончал» младенца на глазах у Фиры, успел спрятаться за колесом джипа, и его пуля досталась начальнику милиции. Фуражка отлетела назад, и даже крови не было, только дырка между бровями. Протрезвевшие гости подняли беспорядочную пальбу, но невидимый киллер продолжал методично отстреливать одного за другим... Пока у него не кончились патроны. Тишина наступила необыкновенная, и «непромокаемый» Валера встал из-за колеса. При виде его довольной рожи Фира заплакала от обиды, и винтовка с развилки дерева соскользнула в траву. Валера первый метнулся и подобрал винтарь. Снайперская винтовка – точь-в-точь как в музее: черный тяжелый оптический прицел, и даже зарубки на деревянном прикладе те же. Выходит, другой винтовки у фраерка нет, если пришлось тибрить из музея... Уцелевшие воспряли духом, стали вылезать из-за тачек и, уже не боясь, кольцом окружили Валеру с винтовкой... Как вдруг он упал и задергал ногами. Только потом услышали хлопок, будто открыли бутылку шампанского. Но поздно: еще один снайпер бил с тыла, с третьего этажа, из окна «типа мавританских». Прокурору пуля попала в затылок, очки свалились, остались стеклянные глаза, за ним рухнул пузом хозяин особняка... У этого снайпера была новая винтовка, скорострельная, полуавтоматическая, с глушителем и многозарядным рожком – на всех у него хватило смерти... Все легли звездочкой вокруг Фириной винтовки.

Оплакивать расстрелянных здесь уже было некому. Только чей-то джип, на котором сработала сигнализация, кричал, задыхаясь, как ишак, над трюпом хозяина.

Клаус-Фриц отбросил опустевший рожок в одну сторону, бесполезную винтовку – в другую и пошел прочь. Шагал, шагал, пока не заметил, что валик от последней траншеи обрывается в траве. Выходит, очерченный кем-то круг он уже переступил, и ничего не случилось. Значит, поступило разрешение покинуть поле боя... И пошел домой...

А Фира вдруг увидела землю далеко внизу. Нитки дорог с ползущими автомашинами, трещины оврагов, светлые жилки рек Хопра и Медведицы, которые сошлись углом, и вспомнила, как в школе снайперов девчонки гадали по ладони: «линия жизни», «линия судьбы», «линия головы» и «линия сердца»...

Земля разжала свою ладонь и выпустила птичку.

*Александр Варакин*

## *ПОЭМА ЛЕСА*

Сомневался: а нужно ли публиковать то, что написано, пусть и тобой, аж четверть века назад? Сомневаюсь и теперь, но, впрочем, решился.

Много утекло воды. Тогда... Эх, тогда бы!..

У нашего поколения остались те еще, советские заблуждения относительно собственных публикаций: тебя узнают, тебя услышат!.. Поэт... та-та-да... больше, чем поэт... Теперь литератор – такая же профессия, как любая другая: ничем не лучше, ничем не хуже, а главное – не доходнее. Упали шоры, заблуждения рассеялись.

Вот касательно заблуждений. Намеревался подредактировать и приписать внизу: «1986–2011», – так ведь многие делают. И вдруг понял – ни в коем случае! Не потому что авторский принцип или строка на вес золота. Все просто: там, в тех старых стихах, столько тогдашних примет, в том числе и заблуждений... Примет времени и места: написано в Ташкенте – том Ташкенте, которого больше не будет. Заблуждений, сотканных из идеологического тумана в голове: если обратить внимание на датировку событий внутри поэмы, там вычислите и 1861-й, и февраль и октябрь 1917-го – ВЕХИ! А отношение взрослого ведь уже автора к отрицательному персонажу? Сейчас вижу – за отрицательные черты выдается вовсе не набор свойств личности, а ее место в социальном раскладе: купец, потом белогвардеец, потом – предатель Родины... Неужели тогда не был мне очевидным абсурд этой «эволюционной» линии?.. Хотя бы, к примеру, как можно представить превращение истинного купца в белогвардейца? Да и кого он потом предавал, и за что?.. Этот должен был «утечь» в Париж еще в 1915-м. Повторюсь: дрессировка, начиная с детского сада, еще не позволяла мне ничего толком разглядеть.

В общем, сумбура в мозгах, если говорить об оценочном процессе, хватало. И тем не менее. Все же поэма не о конкретных людях, даже вовсе не о людях: все герои – символы. Тогда же я ошибочно считал себя... символистом, хотя, конечно, ни жанр, ни стиль к русскому символизму не имеют никакого отношения. Зато высказывался искренне.

Вот чтобы ничто из этой искренности не пострадало, и подумал, что – нет, править ничего не стану.

Мне кажется, осталась слышна тогдашняя атмосфера и присутствует Восток. Откуда вот Запад – мне и самому не совсем ясно. Рыцарь? – вовсе для меня не характерный поворот. Тем более что даже с толкиенистами впервые столкнулся лишь спустя пять-шесть лет – на «Аэлите». Я и сейчас не догадываюсь: а можно ли вообще снести голову в процессе рыцарского поединка на копьях? Или рогатинах?..

В любом случае – что есть, то есть. Судите.

**МЕЛОДИЯ**

Пора сенокоса настала.  
И штатные косари,  
По летнему лугу пластаясь,  
Звенят от зари до зари.

Как вящие отпущенья  
Тяжёлых и лёгких грехов,  
Плывут по земле отраженья  
Густой белизны облаков.

Их контуров рваные космы –  
Как добрые кудри судей –  
Двоятся, наткнувшись на косы,  
И плавно обходят людей.

**СВЕРЧОК, СВЕЧА И РЫЦАРЬ**

Когда на свете потемнело,  
Наверно, чёрному сверчку  
Я показался пятимерным,  
Когда зажгёт в ночи свечу.

Болела мгла святой надеждой,  
Что будет утро.  
Но свеча,  
Светя во мглу из-за плеча,  
Вполне понятно почему,  
Наоборот, сгущала тьму –  
Всё сделалось черней, чем прежде.

Ни зги, ни молнии не видя,  
По безразмерному холму  
Врезался в темень храбрый рыцарь,  
Валя деревья на корню.

Громадный рыцарь входит в дом.  
Копыта глухо бьют о доски.  
Сверчок чирикает с трудом.  
И рыцарь молвит по-мордовски:

– Я за свечой летел вдогон,  
Боясь, что вдруг задвинут шторы.  
Земля, я видел твой огонь,  
Но я забыл твои просторы.  
Я о себе сказать хочу, –  
И словом затушил свечу.





«З-зараза, – процедил, – играет в прятки!»  
 Но понял, что девочке всё равно никуда не деться,

И пошарил еще... Нежная горячая кожа  
 Обожгла его, как заблудившегося в лесу –  
далёкие человеческие голоса.

Но голодная девочка юркнула в угол, как кошка.  
 И Антон разглядел в темноте горящие, как угли, глаза.

Купчине вдруг сделалось не на шутку  
 Не то чтобы плохо или страшно,  
 А... всё-таки немного жутко, –  
 И следа не осталось от гнусной страсти.

«Голодна, поди, – пробурчал хрипло. – На!» –  
 Зачерпнул со стола первый попавшийся кус.  
 Девочка была настолько голодна,  
 Что от её громкого чавканья  
Антон совсем потерял к ней всякий вкус.

А утром, проснувшись и обнаружив, что девочка  
ещё не спит,  
 Житников ухмыльнулся ей по-своему мягко и незло:  
 «Иди-ка поешь, я гляжу, у тебя зверский аппетит, –  
 Сказал и подумал: – А всё-таки девчонке повезло...»

Вспомнил дикость и темноту затерянной в лесах деревни.  
 Оглядел девочкины лохмотья.  
 «И вправду, что ли, мордва живёт на деревьях? –  
 Опрокинул чарку и добавил: – Ох, мать её...»

Девочка неожиданно отлепилась от угла,  
 Вынула из-за спины его же, купеческий, нож –  
 И сказала так твёрдо, как только могла:  
 – Ты думал, купчина, меня так просто возьмёшь?  
 Заруби на своем красном носу, вражий потрох:  
 Я бывала и не в таком бою.  
 Я знаю монаха Жанно, изобретшего порох,  
 Ты понял?

И тихо добавила:  
 – Мать твою...

В каюте несколько дней было тихо –  
 Ровно столько дней, сколько отмерял  
 Речные вёрсты пароходик типа  
 «Святой Марьян».

**ЯРМАРКА**

Ведет к махорочной фабрике  
Духмяная табачная стезя.  
Напротив – ряды веселой ярмарки:  
Куда уж мимо, разбегаются глаза.

– Несвежую не свешаю! –  
Торговец-говорун.  
Вослед – ряды кромешные  
Потусторонних рун.

Приказчики галантные  
Лавчонок лубяных  
Почти со всей галактики  
Товаров скобяных.

Жених, приди за тканями,  
Невесту подивишь:  
Застынут истуканами  
Одесса и Париж!

А там, за самоварами,  
В осьмнадцатом ряду,  
Сидят хохлы с бандурами,  
С турчанками понурыми,  
Блистают шароварами –  
Держите, упаду!

Антон идет в правление,  
Девчоночку ведет,  
Их демон сожаления  
Встречает у ворот:

– Надьсь пришли-затеяли  
Четыре душ армян.  
Хозяин, значит, с теими  
Пошёл по деревням.

– Надолго ли, эй, пьяница? –  
Антону невтерпёж.  
– Кажись, вернутся в пятницу...  
Куда ж теперь пойдёшь?

Купчина девке – денежку:  
– Поди испей кваску.  
А ежли куды денешься –  
Поймаю, засеку»

И крякнул на завалинку,  
В тенёчек, в лопухи –  
Как тот поэт захваленный  
(То бишь его стихи).

**ПОБЕГ**

Наталья бежала, как быстрая речка,  
Мешал сарафан, как прибрежные камни.  
Скакала с крыльца на другое крылечко,  
Летели за нею арбузы и ткани.  
Летели варенья, соленья, картошка,  
Мелькали картонки, духи, сапоги.  
И праздные лица тускнели в окошках,  
Как будто шептали: «А ну, убеги!»

Наталья влетела в соборное эхо –  
На древней горе красовался собор.  
Монах сладковатый очнулся на это –  
И к белой купели хламиду простёр.  
Наталья шагнула. И дрогнули свечи.  
И батюшка вымолвил: «Тоже – душа...» –  
И громко икнул, и в таинственном свете  
Виднелись черты золотого ковша.

И, как в немоту отворившейся пасти,  
Толкнул полуглупое полудитя.  
И брызнул Наталье на волосы пастырь  
Из злата ковша, и: «Натальею тя...  
Отныне и впредь... нарекаю»... Крестины!  
Сыскался поблизости крёстный отец...  
И люди хрипели, как будто простыли,  
И мнился ей в каждом поганый купец.

Язычница, девочка, череп высокий!  
Душа-продолжатель теснится в груди.  
Тебя в христиане?!  
И в полном восторге  
Попы и зеваки.  
А жизнь впереди...

Горячие слезы, они опоздали.  
Но взывала Наталья на крест у попа.  
Из города в лес пробиралась задами,  
Да всё ей мерещились смерть, черепа...

Очнулась, когда у веселой криницы  
Одна оказалась в дремучем лесу.  
И молвил Наталье живущий в ней рыцарь:  
– Чего ты боишься? Ведь я же спасу.

Я сам гугенот – ну и что я такое?  
А вдруг – басурман, – ну, и что же тогда?  
...Шумели дубы, истомясь от покоя.  
И первая в небе качнулась звезда.



В иерархии измерений следом за пятым шло третье: высота.  
Она располагалась сначала в левой от Земли части.  
А потом, как в спорте, когда высота взята,  
Сместилась вправо, как отучаствовавший участник.

Высота была не только пространственным,  
но и звуковым мериллом:  
Она скрипела и дрожала на весу, словно спортивная планка.  
До появления пятого измерения она диктовала, теперь – молила,  
Но оставалась постоянной, как постоянная Планка.

(Планк – это такой ученый, им дана  
Приблизительная физическая цель поисков истины.)  
Вслед за высотой на том же уровне в субстанции – длина:  
И она звучала, на свист высоты отзываясь посвистыванием.

Длина втекала в высоту, изредка из неё вытекающая.  
Нужно ли рассказывать, как важны  
эти два измерения во вселенной!  
Чаще всего длина скрывается в высоте,  
то растворяясь в ней, то выступая, –  
В зависимости от принятой направленности  
физических отождествлений.

Душою мер и весов, несмотря на то что душа должна быть лишена  
Каких бы то ни было пространственных и весовых черт,  
несомненно

Является ширь – ширина:  
Она суть человечески-понимаемой вселенной.

А правда: чтобы объяснить бесконечность, ещё на заре  
Общечеловеческой, не говоря уж о прикладных, науки  
Настоящие учителя уподобляли её «тире» –  
Графическому знаку, похожему на понятие «раскинув руки».

В этом учёные напоминают первобытных рыбаков:  
Чувствуется, жест уходит корнями в глубокое прошлое.  
И, хотя Земля проделала вокруг Солнца  
гигантское количество витков,  
Жест не изменился и получил распространение довольно хорошее.

Ширина опиралась весомо на две ноги, вовсе не пытаясь ходить.  
На одной она тоже вряд ли бы устояла.  
Ширина – это женщина, которая постоянно должна родить  
Высоту и длину, и только из собственного материала.

Время – оплодотворяющая категория,  
Отец (несмотря на доставшийся ему в языке средний род),  
Оно везде – и нет его, время – энергия гордая,  
Состоящая из секунд-сперматозоидов,  
одна его весомая порция – год.

Время клубилось, вспыхивая красными и белыми пятнами.  
Время было цветом аморфной субстанции.  
«Время покажет», – гласит до сих пор измерение пятое –  
Язык человеческий,  
единственное мерило временной дистанции.

Пятое измерение – то, открытое Лесом –  
Имело рёбра и склоны, скользящие вверх и вниз, крутые.  
Впрочем, это не так уж сложно представить, оно известно:  
Это вселенский закон возрастания,  
а в данном случае – убывания, энтропии.

По новой Лесной иерархии время  
было вторым измерением (помните?),  
Оно располагалось чуть ниже пятого (острия).  
Оно – пожар в замкнутой на себя комнате,  
Оно («время покажет») – вектор, графическая стрела.

Неизменными в Лесу остались жучки и паучки.  
Возможно, это просто счастливый случай.  
Они всею кожей вслушиваются  
в странные неравномерные толчки:  
Время, как категория, заставляет себя слушать.

## КУПЕЦ

Купец махнул рукой на запад:  
Туда девчонка утекла,  
И от неё остался запах,  
Как звон разбитого стекла.

А запах этот перебило  
Каким-то варевом чужим.  
В носу Антона засвербило,  
Но он остался недвижим.

А голод, словно порох в гильзе,  
Толкал купчину на обед.  
И вот, на миг забыв о гильдиях,  
Он понял, что девчонки нет.

«Скажу отцу, что сделал дело, –  
Подумал Житников Антон. –  
Поди-ка, тоже надоела...  
Того гляди, не спросит он».

Тогда, весёлый и довольный,  
Купец поправил свой армяк,  
Потрогал крестичек нательный  
Да и отправился в кабак.



Где он то одноклеточной водорослью летал по свету,  
То медленно ползал океанским слизнем.

Его память осталась неконтролируемой для созвездия Льва:  
Наталину память стерли, а он-то её записал!  
Во всем виновата случайная чужая голова,  
С которой рыцарь в Архив Памяти попал.

Об этом и будет следующая история,  
Которой по хронологии положено быть первой.  
Её следует отнести куда-то в походы крестовые,  
И жаль, что она на интересном месте прервана.

## ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ

Тогда не знали любви, была только рыцарская любовь.  
Впрочем, солдатская, совсем уж плотская, тоже существовала.  
Из-за той и другой разбилось столько лбов,  
Что даже по сравнению с хорошей войной это было немало.

Всё равно как его звали – допустим, Рыцарь.  
Давно потеряны в мире звуков, или в звуках мира,  
его позывные.

Каждый рыцарь любил чью-нибудь даму,  
а женился на своей девице.  
У нашего Рыцаря дамы были сплошь и рядом козырные.

Четырнадцатого числа забытого месяца  
Рыцарь родился в замке Баррэ на юге Франции.  
Для сведения, родился гугенотом –  
словно в чёрной книге отмечился,  
Или, более похоже, стал на собственной родине иностранцем.

Любовь Рыцаря расцвела в Париже.  
Париж был тогда захудалой деревней,  
но одним из центров культурного мира.  
По числу завоеванных сердец Рыцарь состязался  
с Виктором Рыжим,  
Однако даже в сумме им обоим было далеко  
до недавнего бухарского эмира.

Победив на турнире, счастливец имел даму,  
противник ретировался  
И, полный достоинства, искал другую, позвякивая стремянами  
Мордобой тогда слабо культивировался –  
Он привнесён в общечеловеческую культуру гораздо позже,  
славянскими племенами.

Итак, рыцарский мой роман короток.  
Они сшиблись с Виктором Рыжим, сидя в сёдлах.  
После первого дружеского наезда оба стали похожи на шпроты  
Или на сардинелл пряного баночного посола:

Их головы скатились к копытам коней,  
А их тела еще некоторое время продолжали  
оставаться всадниками.  
Наконец мелкие дворянчики подобрали их головы  
и, встав на колени,  
Приладили головы к мёртвым телам, и ошиблись досадно.

Дальнейшую историю Рыцаря вы знаете.  
История Рыжего не представляет интереса.  
Любопытно одно: в Архиве сочли мозг Рыжего  
совершенно ничем не занятым:  
По картотеке он числился как болван и повеса.

А это была душа – или квинтэссенция – нашего героя.  
Она-то и вселилась в девочку Наталью из мордовского села.  
А душа Виктора Рыжего, и так и не ведавшая горя,  
Прошла дополнительную очистку и явилась на Землю  
совсем уж чиста и весела.

И для нашего сочинения,  
Посвящённого явлению Леса,  
Не имеет никакого значения,  
В кого потом вселился и вселяется Рыжий повеса.

## БАРД

А рыцарь был когда-то бардом, играл и на гитаре, и на органе.  
По секрету сказал мне, что всей душой полюбил мордву.  
Как-то однажды он пожил немного клопом на Арбате –  
И с не меньшей любовью вспоминал старую Москву.

Его слова порой проникали в сердце острее кинжала.  
Слегка пижон, он носил на пальце почти пушкинский перстень.  
Без спроса сорвал со стены гитару и голосом Окуджавы  
Спел сочинённую им недавно песню:

*Мордовочка монисто примеряла,  
Монетки шевелились на груди.  
Она одну монетку потеряла,  
И дырочка зияла на груди.*

*Папаша и мамаша успокоить  
Мордовочку до ночи не могли.*

*Увешанной монетками по пояс  
Найти одну монетку не могли.*

*А женихи в соседнюю деревню  
Поехали по просеке лесной,  
Увешанных монетками деревьев  
Не замечая в тишине лесной.*

Потом он попросил у меня насовсем словарь Даля,  
Но у меня его нет, и мы об этом оба сожалели.  
У порога растроганная песнью лошадь взхлёб рыдала,  
А за окном первые облачка заалели.

Рыцарь попрощался, оставил мне на память правый доспех  
(Правая рука его осталась без защиты),  
Выдавил на прощанье звук, напоминающий сквозь слёзы смех,  
Пробурчал: «Меня не ищите», –

И, вскочив на коня,  
Скрылся в сторону восхода.  
Эта пропахшая пылью веков перчатка до сих пор хранится у меня,  
Хранится с одна тысяча девятьсот девяносто девятого года.

## СОСНА

Кончаются весны до ужаса тихо.  
Крадется на цыпочках белый июнь.  
Лишь дятел, работая методом тыка,  
Нарушит пространство – задорен и юн.

Его хохолок – норовистый и ладный –  
Со свистом врезается в запах лесной.  
На диких полянах сиреневый ландыш  
Готовится мир удивить белизной.

Вот-вот заиграет, на этой неделе,  
Настроенный в лад многострунный оркестр.  
И строчки на белом берёзовом теле  
На память приходят, как песенный текст...

Почти восемь лет жила Наталья у беглых.  
Они ютились в землянках, питаюсь лесной пищей.  
Выросла она телом статной, лицом – белой,  
Тридцать лет ходи по свету – другой красавицы не сыщешь.

Лес простирался от края до края. За восемь лет  
Наталья не видела ни одного чужого лица.  
Она видела и знала только лес.  
И кругом, говорили, леса, леса, леса.

В чистой воде раскрытых небу озёр  
 Ловилась в избытке рыба.  
 Девочка любила иногда бросить взор  
 На всю эту землю с одного крутого речного обрыва:

Верстах в двадцати, в чащобе, плутала та самая река,  
 По которой Наталью везли на пароходе «Святой Марьян».  
 Над обрывом свисала толстая сосновая ветка, будто рука  
 Человека: глядите, ничем не замарал!

Наталья забиралась на эту сосну, садилась в ладонь –  
 И любовалась хвойной щетиной планеты Земля.  
 Осенью лес напоминал движущийся по земле огонь:  
 То тут, то там краснела или желтела  
 какая-нибудь лиственная семья.

Её дыхание здесь, на сосне, на ветру становилось неровным.  
 Она стала женственной, мягкой, даже краснела слегка,  
 Хотя прежде обладала таким железным норовом,  
 Что беглые, не сговариваясь,  
 давным-давно считали её за жоака.

А потом она плавала в воде,  
 Видела подводный мир и соизмеряла его с наземным.  
 Поэзия земли и воды сливались здесь, как нигде,  
 В единую поэзию природы – голубизны и зелени.

Ветры летние легки –  
 Всё равно какого толка.  
 На песке её следки  
 Оставались ненадолго.

А в заманчивой воде  
 Мимолётностей не меньше,  
 Правда, это не везде –  
 Там, где мельче.

По руслу всё еще курсировал тот самый пароходик.  
 Пассажиры не высовывались: комар кусался.  
 Но кое-кому всё же везло: при хорошей погоде  
 Можно было встретить под обрывом обнажённую русалку.

## БРАТСТВО

Как-то само собой получалось,  
 Что среди шестерых мужчин и двух женщин  
 Наталья жила слишком самостоятельно –  
 по характеру отличаясь,  
 Да и по внешности не меньше.







Они затихли одновременно. Сквозь их тела пробились побеги  
Неизвестного растения.

Митрофан в голос горевал на пне.  
Его полушубок дымился, а он горевал.  
Вдруг остальным показалось, что голос звучит уже извне,  
И кто-то из мужчин горящий полушубок с главаря сорвал.

Они не нашли его под полушубком.  
Митрофана не было, не осталось абсолютно ничего –  
Как у отца семейства, который загулял не на шутку  
После долгих хождений по приятелям, с ночевой.

Исчез, оборвался голос.  
Дико вскричала женщина, затряся волосами.  
Через секунду у второй задымились волосы.  
Обе испарились мгновенно – так, что, наверно,  
и не заметили сами.

Трое оставшихся мужчин одновременно бросились к колодцу.  
Каждый стремился добраться до воды первым.  
Борьба была удивительно короткой:  
Двое нырнули в колодец и погибли в кипящей пене.

Один, оставшийся, вжался в горячую землю,  
Разгребая пальцами раскалённый песок.  
Он почернел, как лампа, покрытая серебряной зернью.  
Сквозь позвоночник и рёбра тут же пробился красный росток.

Три ростка сплелись между собою, и нестерпимая жара  
В жиденькой тени прозрачного шатра резко упала.  
К шатру подползла Наталья, чуть жива,  
И, совершенно обессиленная, вовнутрь шатра упала.

Придя в себя, она подумала,  
что это языческий бог помог ей укрыться.  
С красных ветвей капал голубой сок, исцеливший её ожоги.  
«Это Вселенная», – сказал Наталье Рыцарь:  
Он не дремал, а тоже пропадал в глубоком шоке.

«Души, души друзей твоих витают! –  
Вскричал он, узрев души умерших,  
ещё не отправившиеся в Архив.  
– Ты осталась одна! И возможно, на всей Земле, Наталья!»  
– Одна!.. – повторила она, глаза приоткрыты.

Одинокий пронзительный глаз  
Глянул на неё из-за облаков, дыма и страшного Леса.  
Он и по сей день внимательно смотрит на нас,  
Только заметить его  
мешает повседневных забот дымовая завеса.



Серый забился у неё под ногами,  
Затем, в агонии, скатился и затих возле обгоревшего куста.

Это было за восемь месяцев до пробуждения.  
Наталья опять залегла в свою берлогу.  
Поднялась пурга, но ветер останавливал движение,  
И снег укладывался в сугроб у самого «порога».

Лес будто берёт Наталью для последней,  
решающей баталии.  
И вот, похорошевшая, она очнулась от сна.  
«С добрым утром!» – пожелал Рыцарь Наталье.  
Нельзя было понять – то ли поздняя осень в природе,  
то ли ранняя весна.

Подойдя к краю вспученного холма, почти горы,  
Она качнулась.  
«Осторожно!» – предупредил Рыцарь.  
Но, словно подвластная законам  
какой-то неведомой, но захватывающей игры,  
Наталья шагнула в обрыв...  
И обернулась белой птицей!

Полёт... Секунда полёта... Две... Три...  
Наталья летела так, будто с рожденья умела летать.  
...А с востока, в свете утренней зари,  
Навстречу ей летел неведомый тать.

Рыцарь среагировал раньше Натальи:  
«У тебя нет оружия, предстоит битва!»  
Над мертвым лесом они немного полетали –  
И вдруг обнаружили звонкий меч-кладенец,  
будто кем-то забытый.

Меч лежал на камне, сверкали его острия.  
Наталья схватила его двумя лапами, но уронила.  
Меч подхватила тугая воздушная струя  
И отбросила в воду – чёрную, как канцелярские чернила.

«Не нужен меч!» – растерянно сказал Рыцарь.  
Действительно, тать разросся  
до размеров небесной чащи: это был Лес.  
Беспокойно хлопала крыльями белая птица.  
И правда, что ему обоюдоострое лезвие!

Одиноко и пронзительно крикнула Наталья.  
Эхо пронеслось между мёртвым лесом – и верхним, живым.

Птица рванула ввысь, крылья захлопотали,  
И почувствовала приступ знакомой жары.

Жара сжигала.

Бедная птица-Наталья ощущала её и на клюве, и на хвосте.  
Лес монотонно звенел, будто её дожидаясь,  
И этот звон тоже проникал везде.

И вдруг Наталья со всего размаху  
Ударилась в невидимую стену!  
Рыцарь шепнул: «Прощай, птаха...»  
Ринулось вниз Натальино тело.

Падая, она превращалась то в человека,  
то в какого-нибудь зверя.  
Её изящное тело было в любом обличье изящное тело.  
Она покоряла века и пространства, оценивая трезво,  
Мимо каких пластов она летела.

Наткнувшись на вогнуто-выпуклую поверхность планеты,  
Наталья умерла через несколько мгновений.  
Но она прочла историю Леса, Рыцарь поведал мне об этом,  
И проникла в суть высших, чем третье, измерений.

Мелко рассыпались по Земле Натальины брызги-дребезги.  
Улетела в Архив Разума Натальина матрица.  
Последняя записанная в ней мысль  
была всё же не о будущности или древности,  
А – об отце и матери.

## СОН

Я видел сон, где я ломаю булку  
На две совсем неравных половины.  
И голос матери, призвавший гулко:  
– Она вам на двоих.

Я подержал в руках две половины.  
Не предпочёл ни ту и ни другую.  
Я к брату мать по-своему ревную,  
Но и его люблю.

И брат приходит, и стоит над булкой –  
Не предпочтёт одну из половинок.  
Из двух, неравных, он веками будет  
Предпочитать одну.

Мне ясен смысл дележа по-братски.  
Ему он тоже допредельно ясен.  
И суть не в том, кому за это братья,  
А – как оценит мать.

Не предпочесть большой – хороший принцип.  
Брат честен и, конечно, благороден.  
Но голоден, как волк на огороде...  
А надо выбирать.

И вот стоим. И материнский голос  
Молчит и не подскажет нам решенья.  
И ни при чём тут самый зверский голод.  
В ошибке – нить потерь.

Конечно, мне придётся взять большую,  
Ему поднять поменьше половину,  
Потом пойти к родимой и по чину  
Всё матери отдать.

А вдруг она сыта? Такого крена  
Мне сон ни в коем смысле не подставил.  
Решение задачи некорректной –  
На пользу ли кому?

И мы стоим. И жаждет мать ответа.  
И мчатся дни, и месяцы, и годы...  
И стыдно нам, и гадостно, и гордо...  
И вышел я из сна.

## СКАЗКА

В Казани казнили двоих казнокрадов.  
В огне раскалили казённый казан.  
И масло, стреляя осколками радуг,  
Упорно старалось попасть по глазам.

Усталый судья козырными устами  
Сказал казнокрадам про страшный казан.  
А два казнокрада настолько устали,  
Что каждый из них ничего не сказал.

Когда же свершилось и люди узнали,  
Что надо бояться того казана,  
Исчезло всё масло, что было в Казани,  
Исчезли дрова, опустела казна.

**КУПЕЦ**

Железо непременно тонет.

В том числе и железный характер.

Антон Житников был человек последовательный и точный:

В Великую Отечественную он был главный каратель.

Именно так поворачивается любое повествование,

Начатое автором с времен дореволюционных.

Но на этом кончается читательское узнавание:

Антон не был судим и повешен после войны –

ни целиком, ни, если хотите, порционно.

Сделав себе приличные документы,

пластическую операцию,

Обзаведясь настоящей женой, и даже детьми,

Бывший купец, бывший белогвардеец, бывший каратель –

У нас, а не в Боливии – очень поладил

с нормальными людьми.

Его выбрали в профком: на большее он и не рассчитывал.

Антон хорошо изучил КЗоТ, другие официальные документы –

И осуществлял посильное соруководство

одним предприятием в глубине России,

Честным трудом добывая монеты.

Девочки Натальи он, конечно, не помнил.

Разве он такими масштабами жизнь измерял?

Но вот однажды в черную полночь

Ему приснился пароходик «Святой Марьян».

Ему причудился железный голос

Забытой девочки, перед которой купец случайно

остался чист.

Ему показалось, что гудит космос,

Будто кем-то потрясаемый железный лист.

Антон открыл глаза. Ему было семьдесят четыре года.

Первый отряд космонавтов уже поднялся с Земли.

А он, Антон, почти полсотни лет пробирался в жизнь

с чёрного хода,

Боролся, но так нового порядка и не изменил.

Он, Антон, возмутился привидевшимся сном.

Подожёл к окну. Дождик капал в подставленное корытце...

Но там! За окном!! За растворённым окном!!!

Молча сидел на лошади средневековый рыцарь...

**ПО РЕКЕ**

Мы уплыли по ходу спокойной реки  
За далёкой и красочной целью.  
И махали руками вослед рыбаки,  
Растянувшись по берегу цепью.

Мы встречали по ходу других рыбаков,  
Обгоняя друг друга по ходу.  
Мы теряли друг друга на веки веков  
На огромной реке в непогоду.

Мы слышали ночное гуденье сирен,  
И оно до сих пор не умолкло.  
И не всякий из нас до утра уцелел.  
И на всяком одежде намокла.

Мы тащились по ходу коварной реки,  
Проклиная одежды сырые.  
И всё реже встречались в пути рыбаки,  
Но мы плыли в знакомом порыве.

Для кого написалась иная судьба,  
До впадения доплыть не успели.  
Мы теряли друг друга, теряли себя  
В боевом продвижении к цели.

Мы доплыли – и вот впереди океан,  
Бесконечные водные глыбы.  
Он лежит между зорь – той и той осиян, –  
В нём другие пространства и рыбы.

В перезвонах сирен, наглотавшись беды,  
Мы приплыли к означенной цели.  
Но к чему нам пространства солёной воды,  
Мы друг друга спросить не успели.

Нам не страшно в объятых бесчисленных вод:  
Мы и так повидали-то сколько!  
Но согласно решили: уверенный ход  
Оборвать – и вернуться к истокам.

И встречают с потерями нас рыбаки,  
Непогоды, сирены, погосты...  
Против хода, пусть даже спокойной, реки  
Трудно плыть, и отчаяться просто.

**В АРХИВ И ОБРАТНО**

Лес раздвинул земные облака:  
Пятое измерение служило ему верой и правдой.  
В ночи белела Рыцарская рука –  
Та самая, без перчатки правой.

Вот из правого острия Лесных измерений  
выдвинулся страшный глаз.  
Вот он указал ветрам на Рыцаря.  
И вот Рыцарь уже плывёт в пространстве – резвый галс.  
И вот уже успел за облаками скрыться...

Лес переваривал железо медленно, неохотно.  
Лес не торопился всё это к сроку прожевать.  
Лес вытянулся в пространстве от порта Находка  
До самых северо-западных пределов,  
где только возможно человеку проживать.

Он наказал Рыцаря не за убийство купца.  
Не за то, что Антон Житников был порублен  
на мелкие части.  
А за странствования по времени без начала и конца –  
В этом было Рыцаря несчастье.

Архив Разума получил память Рыцаря в один момент.  
Но архивариус растерялся: к какому реестру её отнести?  
К тому же, несмотря на несуразицу,  
имелся нормативный документ:  
Архив работал только с двух и до шести.

Закрыв дверь на замок, архивариус отправился спать,  
Оставив матрицы на съедение крысам.  
А на другой день Архив опять  
Открылся.

Но пришел другой сотрудник, взял в руки матрицу Рыцаря,  
Которая почему-то лежала в числе стертых,  
Взвесил на аптекарских весах: миллиграммов тридцать...  
Ого, ничего. Да идёт он к черту!

И, проглядев список пронумерованных жизней матрицы,  
разложенный на столе,  
Сотрудник выбрал для Рыцаря более современного рыцаря.  
И отправил на Землю: в этот момент на Земле  
Он как раз должен был родиться.

**ТУМАН**

За окном моим туман –  
Света край.  
На краю стоит подъёмный  
Птица-кран.  
А за краном, а за краном,  
Вся закутана туманом,  
Еле-еле обрисована  
Земная грань.  
Так и хочется поверить  
Этой млечности,  
Что на свете не бывает  
Бесконечности.  
Что Земля моя и в космосе  
Не вертится.  
Да что мне на ней живётся  
И не смертится.

**ВНОВЬ О ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛКАХ**

Махорочную фабрику сломали.  
Открыли пеньковый комбинат.  
Теперь на Волге и Урале –  
Отечественный высококачественный канат.

Ярмарка тоже как-то заглохла в этом небольшом городке.  
Пароходы перестали реку бороздить:  
Стало мелко на когда-то полноводной реке,  
Теперь дай Бог немного рыбки наудить.

Обгоревшая земля в районе бывшей землянки  
Даёт неплохой урожай.  
Правда, меньше стало ягоды земляники,  
Но пока что, если хочешь, каждый в гости приезжай.

Небесный Лес – вот главная причина оскудения  
земных пространств.

Жаль, что воочию наблюдали его немногие.  
Да и те, что наблюдали, вели себя довольно странно:  
Вместо того чтобы познавать неизвестное науке явление,  
уносили ноги.

Летающие тарелки – горькая Лесная смола.  
По сравнению с Лесом они настолько мелки,  
Что странно, почему это поверье  
никто ещё по-настоящему не сломал,  
И нет-нет да и услышим басню про летающие тарелки.

**МЕЛОДИЯ**

Пора сенокоса настала,  
Но штатные косари,  
По летнему лугу пластаясь,  
Лежат от зари до зари.

Как вящие отпущенья  
Тяжёлых и лёгких грехов,  
Плывут по земле отраженья  
Густой белизны облаков.

Их контуров рваные космы –  
Как добрые кудри судей –  
Двоятся, наткнувшись на косы  
И плавно обходят людей.

1986

*Амиран Тригоров*

## *ЮЖНАЯ МОЯ РОДИНА*

### САД ШАФРАННЫХ ДЕРЕВЬЕВ

*Посвящается той, которую люблю*

«Когда пушусь в свой путь последний, когда войду в долину забвения, помни обо мне, любимая, не оставляй меня и там, пока всю коротенькую вечность будут цвести шафранные деревья в саду моего сердца».

Мой двоюродный брат, Рафаил, был и есть самый настоящий *лоты*<sup>1</sup>. И если правду говорят, что в душе горского еврея сосуществуют (причём отнюдь не мирно) мистически настроенный философ с наибом имама Шамиля, то в случае моего брата наиб одержал чистую победу нокаутом. Рафаил поменял несколько школ, закончив тем, что программу восьмого класса, своего последнего, доучивал в отдалённой школе в бакинском микрорайоне, именуемом Восьмой километр, нигде ближе его не брали.

Занимаясь боксом, он стал чемпионом города среди юношей; при этом всю использовал полученные навыки на улицах и в подворотнях малой родины, заработав тут непререкаемый авторитет. Впрочем, предполагалось наличие у него ещё одного чемпионства, ведь он был единственным известным мне человеком, в руках которого я никогда не замечал ни единой книжки, включая Тору, читать которую, в общем-то, нам вменялось в обязанность. Ему это прощалось, как и всё остальное, порой мне казалось, что отец мой явно предпочитает племянника сыну, полагая его более достойным своего расположения, — впрочем, до известных событий, говорить о которых мне бы не хотелось.

Короче говоря, брат был чертовски ограниченным всеми обласканным мерзавцем. Особи противоположного пола к нему так и липли, при этом обращая на вашего покорного слугу не больше внимания, чем на витринное стекло при разглядывании выставленного за ним товара. Как можно было ему не завидовать? Эта зависть красной нитью прошла через всю мою школьную эпоху, увенчанную неразрешённой девственностью и золотой медалью за успехи в учёбе.

Не раз и не два я выходил из арки нашего двора, думая о брате, по обыкновению, с ненавистью, и раздвигал плечи в стороны, как будто их распирают трицепсы, бывшие у меня не толще бельевых верёвок, раздувая щеки и, высоко задирая подбородок, как это делает Рафик. И две старухи, постоянно одетые во всё чёрное, тётки Зиба и Сария, сидевшие сутками у ворот в качестве своеобразного почётного караула, переглядывались и тихонько цокали языками, полагая такое поведение следствием употребления анаши, хотя я и сигареты-то не курил.

---

<sup>1</sup> Лоты (*азерб.*) — прибалтнённый человек.

Если говорить кратко, то после армии мой братец обзавёлся машиной и русской женой, после чего отправился водителем в какую-то научную экспедицию на Северный Кавказ.

Я же учился в университете и заодно – у пожилого грузинского раввина, которого если и было в чём-то сложно упрекнуть, так это в отсутствии консерватизма.

Приехав из своего турне по горным аулам, брат заявился к нам и спросил меня:

– Ами, ты учишься у ребе?

– Рафик, ты не простыл там, в горах?

– Отчего это я должен простыть?

– С чего это вдруг тебя заинтересовал ребе?

– Ты можешь сказать мне всё, что знаешь об одной вещи?

– Я не знаю о боксе ничего, кроме того, что от него развивается слабоумие.

Странно, но он совершенно не собирался злиться. Неожиданно, смиренным тоном, он сказал:

– Спроси у ребе про одну вещь, ладно?

– Про бокс ребе ничего не знает.

– Ами, ты должен спросить у ребе про сад шафранных деревьев.

– Ты странно шутишь.

Тут он сказал – ласково, медленно и отчётливо, как говорят с детьми или слабоумными:

– Спроси у ребе про сад шафранных деревьев, дорогой, или я тебе башку оторву.

– Так же ребе...

«Жеребёнок, снежно-белый, прекрасный, уже не первый год приходит к дому. Как странно, что появляется он только в самом конце месяца ияр, кружит у дома нашего, но близко не подходит. Осторожный. Не могу понять, почему он не вырастает, – может, каждый год приходит новый жеребёнок? Много об этом думал и хлебом клянусь, что это тот же самый, его ни с каким другим не спутать, дивных глаз его не забыть, смотрящих с человеческого укором, будто хочет что-то сказать мне, а не может».

– Ло-о са-акир п-оним!<sup>2</sup>

– Позвольте вопрос?

– Ло-о Ло-о са-акир по-оним, хейван<sup>3</sup>!

– Ребе, прошу вас, один вопрос!

– Ло-о-о! Ло-о-о!

– Сад шафранных деревьев!

Повисла гробовая тишина. Габо Элигулашвили, девяностолетний чрезвычайно вредный старец, цель которого на сегодняшний вечер – заставить меня и прочих поскорее вызубрить недельную

<sup>2</sup> Ло сакир поним (*искаж. иврит; правильно: ло такир паним*) – не лицеприятствуй. Фрагмент стиха из книги «Дварим» («Второзаконие»), глава «Шофтим» («Судьи»). Полностью стих можно перевести следующим образом: «Не извращай закона, не лицеприятствуй и не принимай подношений, ибо дары ослепляют глаза мудрых и извращают слова праведников».

<sup>3</sup> Хейван (*азерб.*) – скотина.

главу и самому отправиться играть в нарды, застыл с распахнутым ртом. Все остальные, увидев столь странную картину, замолкли.

– Насколько я тебя знаю, Амик-джан, ты не сам придумал этот вопрос. Слишком умный вопрос, да? Тебя подучил это спросить Адам Израиллов, этот неуч, да? Учит Торе, берёт двадцатку с носа, а сам иврит не знает! Скажи негодяю этому, что ребе просил передать такую притчу. Как-то у одного озера, где обитала всего одна рыба, жили пять рыбаков. Они каждое утро отправлялись с неводами на озеро и по очереди ловили эту рыбу и отпускали её обратно в озеро, потому что у тех...

«Утех не ведая, рук не покладая, мы шли много дней с нашим грузом. Вспоминал тебя, любимая, и в тот самый день, когда погиб караван Ибрагим-бея. Только лишь миновали Вади-э-Урум, только вышли на открытое пространство, и сердца у всех забились радостно, и грубые и, по обыкновению, угрюмые погонщики отпустили по паре шуток, как раб Ибрагима, юноша по имени Юсуф, дико закричал, указывая на горизонт.

Все мы уставились на границу неба и земли, и молчание воцарилось среди нас. Смолкло и всё кругом: перестали трещать жёлто-зелёные персидские кузнечики в сухостойной траве, смолкли птицы. Часть неба раздувалась грибом на тонкой ножке, набухая и чернея на глазах. Молчание сменилось криками, заревели верблюды, наискось распахивая желтозубые пасти, правоверные, не подстилая ковриков, кинулись на песок, умоляя создателя отвести беду, завыли, раскачиваясь в сёдлах, еврейские купцы. Какой-то перс, выпучив глаза и визжа, метался между животными и людьми, и пена стекала по его крашенной в медный цвет бороде. Я крепко зажмурился, скованный страхом смерти. Молитвы на разных языках, крики людей и верблюдов слились в один хор отчаяния.

Всё стихло внезапно. Только появился странный, ниоткуда взявшийся гул, напомнивший звучание басовой струны кяманчи, при том условии, что кяманча эта размерами не меньше минаретов гератской Джума-мечети.

Я открыл глаза и увидел, что нахожусь в центре облачного столба и на расстоянии двадцати шагов вокруг меня летят, переворачиваясь в воздухе, верблюды, люди, тюки с товаром, проносятся полотница размотавшихся чалм, поднимаясь всё выше и выше.

Подняв глаза наверх, я увидел округлое окошко неба, чёрного, как в самую ночь, посреди которого горела равномерным немигающим светом одинокая звезда. Тут я подумал о тебе, любимая, красивая, как весь сотворённый мир, страх мой ушёл, ты только не забывай меня, не забывай меня, помни, что я был...»

Ты знаешь, колесили мы по Дагестану, ездили из аула в аул, с нами был махачкалинский профессор один, по фамилии Алиев, и двое русских из Москвы. Долгожителей искали. Ну, как водится, нашли нескольких столетних стариков, вопросы им задавали, давление мерили, в прибор какой-то дышать их просили. Махачкалинец всё рассказывал про женщину по имени Цурба, которой вроде как исполнилось уже сто семьдесят лет. Мы поехали в горы и через пару часов тряски по разбитой грунтовке добрались до аула, где живёт она. Спросил у прохожих, где тут дом Цурбы, показали.

Заходим, обувь снимаем, в сакле пусто и прохладно. Мебели нет никакой, только в углу стоит резная деревянная колыбель, такие встречаются во всех горских домах, и в каждой рождается не одно поколение людей. Знаменитой старушки нет нигде. Ну, думаем, сейчас кто-нибудь придёт и объяснит нам, где она. Подошёл я к колыбели и смотрю – младенец в ней лежит, замотанный в пёстрые тряпки, но больно уж странный. Чёрный, как старая древесина самой колыбели. Рот его беззубый был полуоткрыт, запавшие глаза прикрыты сморщенными веками, на голове – несколько длинных тонких волосинок. К перекладине над изголовьем привязано было ожерелье из серебряных бусинок, что говорило о том, что младенец этот – девочка. Тут махачкалинский профессор указывает глазами на колыбель и говорит шёпотом:

– Ты знаешь, Рафаил, кто перед тобой? Это она, мать Кавказа, великая Цурба.

Когда ей исполнилось сто сорок лет, она стала уменьшаться и становилась с каждым годом всё меньше и меньше. Одновременно она стала забывать слова и лет через десять перестала говорить, потом перестала плакать и смеяться. В последние годы она всё время спит, в той самой колыбели, где началась её жизнь.

Мы стоим вокруг колыбели, глядя как заворожённые на древнего младенца.

– А что она говорила перед тем, как потеряла дар речи?

– Говорят, какой то сад вспоминала. Сам понимаешь, разум уже покидал её, и сад этот был у неё как навязчивая идея. Сад шафранных деревьев.

С тех пор всё никак не могу забыть про это. У меня двоюродный брат есть, он псих ненормальный, однако книги читает, у раввинов учится. Думаю, может, он что-нибудь слышал про этот сад? Или спросил бы у своего учителя. Он спросил, ребе сказал, что ответит в другой раз, а ночью вдруг взял да и умер.

У ребе Габо Элигулашвили было когда-то множество учеников. Потом они выучились и ушли от него, а новые не нашлись. Габо потерял свой заработок, и питаться ему приходилось только фруктами своего старого сада. Будучи человеком неизбалованным, он не переживал по поводу своей приключившейся бедности. Единственное, что его угнетало, так это то, что ему, словоохотливому человеку, не хватало общения. Завёл он говорящую птицу, священную майну, думая, что она скрасит его одиночество. Но глупая птица, открыв замок клетки соломинкой, вылетела и стала строить гнездо на крыше, не зная, что тут во всей округе нет ни одной другой майны. Габо аккуратно снял это гнездо и перенёс в дом, думая, что птица одумается и вернётся, и тут заметил, что оно сложено не из веточек, а из кусков исписанного пергамента. Сев на ковёр, Габо стал читать.

«Часто приходится признавать, что мир чисел устроен необычно и сильно отличается от нашего мира. Кто бы стал утверждать противное тому, что в кувшин для омовения войдёт больше просяных зёрен, чем в пиалу? Не стал бы никто, рискуя прослыть безумным.

В мире же цифр всё по-другому. В целую бесконечность, как писал аль-Басри, можно поместить только одну цифру из числовой после-

довательности, тогда как в бесконечно малое пространство порой можно вместить бесконечное число цифр. Утверждение Адама Израилова о том, что наш мир бесконечен, потому что на самом деле помещается в бесконечно малом пространстве, есть грубая ересь...»

Ребе покачал головой и взял другой пергаментный клочок.

«...Ибн Сина. Он утверждал, что гашиш помогает от болезни лёгких, помогает страдающим от болей в костях и рекомендуется тем влюблённым, чувства которых не разделены. Он разжигает аппетит не менее чем корень травы Марута. Однако следует заметить, что курение гашиша – занятие, требующее знаний и большого умения. Тот, кто добавляет в кальян семена мака и листья ката, тот враг себе самому. Следует поручать заправку кальяна только опытному, сведущему рабу. Есть одно странное явление, известное всем курильщикам гашиша, когда начинает казаться, что время твоё замедляет свой бег, люди ходят медленнее, кони медленнее бегут, даже звуки теряют свою скорость. Адам Израилов, человек неумный и самонадеянный, утверждал, что это зависит только от самого курящего, хотя всякому известно, что это явление зависит только от слуги, который заправляет кальян, а также от...»

Взяв третий фрагмент, Габо приблизил его по привычке к глазам и заметил, что читать ему стало легко, как будто зрение его улучшилось.

«...о смерти. Человек умирает примерно за три минуты, и это недолгое время только для окружающих. Для самого умирающего эти три минуты растягиваются в одну короткую вечность. И если ты хочешь, чтобы эта вечность была для тебя прекрасной, чтобы она прошла в Саду шафранных деревьев, вспомни имя той, которую любишь, имя её, единственной. Что же касается жизни...»

Габо Элигулашвили вскочил с ковра, почувствовав, что ему это удалось с необычайной лёгкостью. Выбежав во двор, он увидел белого жеребёнка, стоящего у садовой ограды, который, против обыкновения, не стал убежать, а просто растворился, как маленькое облачко. Посмотрев затем на деревья своего сада, ребе увидел, что все их ветви покрыты крупными цветами шафрана.

## ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Однажды, в то лето, когда я впервые влюбился, идём мы со старым отцом по городу, поднимаемся вверх, потому что город наш спускается к морю, так и идём: город спускается нам навстречу, а мы поднимаемся, и в редких лужах отражается небо, и оттого эти лужи выглядят, как пролитая синяя краска.

Идём через старые кварталы, минуем особнячок в стиле модерн, в три этажа, с выщербленной верхней ступенью крыльца, на которой ещё можно прочесть «Salve», набранное мраморной крошкой. За ним – дом, в котором жил музыкант Араблинский, с вязью по фасаду и бронзовыми коронами над водосточными трубами, а дальше – неизвестно как попавший в наш город деревянный терем, сложенный из колоссальных брёвен, с резными русскими наличниками, ещё дальше, на другой стороне – сквер с газоном, зажатый кирпичными стенами.

«Раньше тут дом стоял, пока сюда не упала немецкая бомба во время войны», – говорит отец.

«А разве бомбили наш город?» – спрашиваю.

«Один-единственный раз. Какой-то немец, родившийся у нас, просто решил полететь и посмотреть свой дом. Но этот немец не рассчитал пути. И тогда он решил сбросить бомбу, чтобы лететь было легче и хватило керосина на лететь обратно».

«А почему он не бросил бомбу в море?»

«Война была. Да и злодеи эти немцы».

Переходим дорогу. Отец стучится в древние ворота специальным молоточком – кольцом, зажатым в пасти льва, морда которого плохо различима из-за множества нанесённых слоёв краски. Никто не отзывается, и, постучав ещё раз, дед толкает дверь, та поддаётся, и мы входим во двор. Двор большой, залитый растрескавшимся асфальтом, в углу узловатый виноградный ствол, оплетённый сеткой, тянется по стене, рядом – погасший мангал с углями. Посреди двора – столы, составленные в две шеренги, а на них – множество грязных тарелок, бутылки, скомканные салфетки – всё, что обычно остаётся после застолий. Две женщины в тёмных платьях и платках собирают со столов, а рядом на двух табуретках лежат музыкальные инструменты – кяманча, барабан и два кларнета. Отец мой проходит через двор и скрывается за одной из дверей, повелев мне ждать. Я стою, разглядываю окна и вдруг слышу голос отца, как будто он ругается с кем-то. Я бегу на голос, распахиваю одну дверь, а там толстая старуха моет кастрюлю. Извиняюсь, бегу к другой двери, открываю, вижу маленькую девочку с котёнком в руках, бегу дальше, и страшно так становится, не приведи Господь как страшно, открываю третью дверь, а там вообще никого, только стоит на полу корзина с бараньими головами, а вокруг неё натекла небольшая кровавая лужа.

«Папа!» – зову. Никто не отзывается. Выбегаю обратно во двор, там тоже никого нет, женщины ушли, инструменты куда-то подевались, и вроде много времени прошло, потому как стало темнеть и подул вечерний бриз. Снова смотрю наверх, и кажется мне, будто отец мой смотрит на меня сквозь оконное стекло со второго этажа, я ему рукой машу, а он пропадает, и хочется кричать от страха, набираю воздуха полную грудь, и тут...

– Тут – очень полезная вещь. Самая сладкая ягода, какая только бывает. И даётся она Творцом полной жменью. Собираешь её, ешь, от души ешь, варишь её; казалось бы – вот и всё, хорошего понемножку. Но нет, через неделю новая порция созревает, опять собираешь, опять ты сыт! Вот как бывает иногда на свете. Это как ман! Знаешь ман? Бог нам дал с неба этого мана, когда мы шли через пустыню. От души дал. Хочешь, так ешь, хочешь, вари, хочешь, жарь! А когда ты ман кушаешь, то его вкус – это твой любимый вкус. Вот ты лобио любишь? Так вот, у тебя ман будет как лобио. А если ты, к примеру, чанахи любишь, то у тебя был бы ман со вкусом чанахи. И так далее, да.

Сказав это, Габо Элигулашвили достал своими узловатыми, изувеченными артритом пальцами болгарскую сигарету и принялся её разминать. Высыпав из сигареты часть табака, Габо скрутил её кончик и прикурил, щёлкнув бензиновой зажигалкой.

– Ну так вот, – сказал Габо после паузы, – люди, которые были нерадивые в своей вере, и праведниками их было не назвать, они вкуса мана не чувствовали. Им нужно было его варить, готовить, да. А праведники так его ели, им готовить не надо было. Вот теперь и скажи, кому жить легче – тем, кто грешит, или тем, кто соблюдает.

И затаился сигаретой, бросив короткий взгляд на песочные часы, стоящие на столе.

– На сегодня урок закончен, через неделю приходите, дорогие мои.

В этот момент я поднимаю руку, и Габо, не любящий перерабатывать, посмотрел на меня с неудовольствием.

– Ребе, скажите, а когда мужчина испытывает сильные переживания?

– Три раза в жизни испытывает, – сказал Габо, слегка пожевав губами, – когда узнаёт, что однажды умрёт, когда узнаёт, от чего, и когда узнаёт, когда. Но это не у каждого.

Когда мы уходили из дома Габо, я поймал себя на мысли, что первое из трёх сильных переживаний я точно испытал, а второе и третье мне только предстоят – в будущем, которое неизвестно. Стоял осенний вечер, из тех вечеров, когда краски меркнут в одночасье и только медленные расписные шершни остаются яркими на фоне стен, серых, как афикоман, забытый на столетие где-нибудь за ставней. Вечер, в котором запахи стоят больше звуков, как на войне молчаливые храбрецы дороже робких говорунов. Осень никак не выглядит, осень пахнет, и только слепым дано оценить её по достоинству. И в этот раз, закрыв глаза, стоя в коротком арочном коридоре, ведущем на улицу, ты снова ощущаешь запах моря, отдалённо похожий на запах порезанной петрушки, и знаешь, что так пахнет море только осенними вечерами. В которые оно покрыто множеством однообразных мелких волн, как кипящий суп, оттого что два ветра, одинаковые по силе, одновременно дуют с двух сторон и не могут друг друга перебороть. Всё затакнуто мраком, и только Баилловский мыс...

Мы с отцом идём по городу, и кажется, поднимаемся вместе с ним – город идёт от моря, и мы идём от моря, и с каждым шагом становится всё жарче, и отец время от времени останавливается, вытаскивает из кармана платок и вытирает потное лицо. Пусто кругом, и нет ни малейшей тени, как будто все тени, подобно лужам, иссохли ещё в прошлом месяце.

Идём через старые кварталы, мимо двухэтажного особнячка в стиле модерн, с простой бетонной ступенькой у входа, мимо ещё одного обшарпанного дома с четырёхугольным пятном на фасаде, видимо, на месте прежде висевшей таблички. Дальше стоит изрядно обветшавший деревянный барак, похожий на те, что строят в России, идём ещё дальше, переходим на другую сторону улицы, минуем сквер, обрамлённый тёмными стенами, дед стучит кулаком в древние разошедшиеся деревянные ворота ближайшего двора, никто ему не открывает. Отец поворачивается ко мне, улыбается и говорит:

«Дом человека должен быть меньше самого человека. Если не так, если человек меньше дома, то это плохо. Душа должна быть больше тела, во всяком случае, я так думаю».

«А как это – дом меньше человека? Человек ведь живёт в своём доме, а не наоборот?»

«Когда человек слишком долго живёт в своём доме, то и дом начинает жить в своём человеке. По мне, это так».

Отец мой толкает дверь, та поддается, и мы входим во двор, обыкновенный двор, таких множество в нашем городе, залитых асфальтом цвета пыли, увитых лозами, со множеством глядящих в самое сердце двора разнокалиберных дверей и окон. Во дворе полно людей, двое мужчин разжигают мангал, размахивая кусками фанеры, ещё несколько мужчин ставят столы, вынося их из квартир, женщины ходят туда-сюда со стопками тарелок и тазиками, в которых возвышаются горки укропа и торчат составленные пирамидами сизо-зелёные стрелы лука-порея. В углу, возле виноградного ствола, четыре привязанных барана глядят на всё происходящее бессмысленными очами, время от времени опуская голову и пытаясь нащупать губами несуществующие тут травинки. В другой стороне два музыканта, полный пожилой мужчина в кипе и юноша в папаше, негромко переговариваясь, настраивают кяманчу, ещё один юноша в папаше сидит поодаль на корточках, меланхолично выбивая костяшками пальцев дробь на барабане.

На нас никто не обращает внимания, даже не здороваются, и мы проходим через двор, входим через одну из дверей в большую кухню, где сидящие на полу женщины в платках рубят топориками зелень, проходим следующую комнату, где, болтая ногами, сидят на высокой деревянной лавке дети, одетые во взрослые костюмы и оттого похожие на лилипутов. Затем начинаем подниматься по шаткой деревянной лестнице, отчаянно скрипящей, на второй этаж, и тут отец, оглянувшись, велит мне идти назад и подождать на кухне. Я возвращаюсь обратно, через комнату с детьми, зайдя на кухню, вижу, что женщины ушли, оставив свои топорики, сажусь на табуретку и начинаю ждать. На кухне светло, и слышно, как сочится вода из двух зеленоватых кранов, сделанных в виде черепашек. С потолка свисают гирлянды лука и чеснока, рядом – связки колбас, на полу стоят плетёные коробки с помидорами и баклажанами, мешок картошки и металлическое блюдо с неочищенными безголовыми курами. Я смотрю на отлично надраенные песком медные сковородки, висящие в нише над плитой, и вижу, что слепящие солнечные блики на них стали гаснуть, и понимаю, что прошло уже достаточно времени, и отправляюсь искать отца. Поднимаюсь по лестнице, открываю дверь второго этажа – а там пусто, нет ни людей, ни ковров, ни мебели, и на полу слой пыли. Пробегаю комнату, вхожу в следующую, а там тоже голые стены и нет никого. Подхожу к окну, смотрю во двор и вижу – двор тоже пуст, только столы накрыты, и отец мой, один-единственный, сидит в торце стола и ест. Я кричу: «Папа, папа!», а он посмотрел наверх рассеянным взглядом, но меня не увидел и продолжил есть.

Я снова зову его, со страхом и обидой, зову громко, как только могу...

Могучий ветер несётся поперёк приморского бульвара, так что свист его наполняет мир подобно тому, как деньги наполняют тебя уверенностью в будущем. Деревья пахучего лоха плещут изогнутыми ветвями, норовя хлестнуть тебя по лицу, но ты их не слышишь из-за свиста, и идти под ними – как попасть в драку глухонемых, в которой нет голосов, а есть только удары. Уже и гранаты

отцвели, душа моя, уже и осыпались они, уже жуки отлетали, закончив свою коротенькую жизнь, лишённую пищи и тревоги, полную единственно соитий и оттого – бесконечную. Уже завязались маслины, мелкие, как горошины, под листьями оливок, почти незаметные. Уже успели пропасть бесследно первые оперившиеся голуби, рождённые в начале года, которые собрались стаями, как дети, прирученные дудочкой крысолова, и улетели все до одного, переворачиваясь, словно обрывки бумаги, поднятые выше облаков. Уже и не помню тебя, душа моя, хотя думаю о тебе часто, каждый день, по многу раз думаю. Но когда пытаюсь тебя вспомнить, появляются только тени, отброшенные листьями инжира одним летним вечером на асфальт твоего двора. В равномерном свете, падавшем из фонаря, приколоченного к дереву, свете, в котором вились мохнатые неуклюжие ночные совки. И – твой профиль, время от времени возникающий среди тех теней. А больше ничего не помню, ни самого двора, ни окон твоих, ни голоса. Лишь ещё свист ветра, могучего ветра, несущего прочь стаю маленьких голубей.

– Убей в себе такого человека, который боится! Убей! – вещал Яша-ассириец, начищая двумя щётками мой левый лакированный туфель. Правый был уже начищен, и я гляделся в него, удовлетворённо видя отражение своего лица, искажённый потолок сапожной будки и даже кусок неба.

– Знаешь, почему трусливых людей первыми валят? Потому что это безопасно. Подойди и скажи: Фрида, я тебя люблю так, что прямо не могу без тебя даже жить, и хочу жениться, да. Но я бы в твоём возрасте не торопился, пожара нет. Ладно, да, денег не надо, ты за сегодня в четвёртый раз подходишь!

Я сунул рубль в карман и отошёл, смотрясь в туфли. Вот уже неделю я стоял на углу, через два квартала от кинотеатра, ожидая одну хорошую бакинскую девочку, стоял практически весь день, но только завидев её издали, я прятался в садике за домом, потому как подойти мне не хватало духу. Выйдя к арке у кинотеатра, я закурил болгарскую сигарету, выпустил дым, скорбно размышляя о своей трусости, и мне показалось, будто я вижу эту самую девочку в конце улицы. В ту же минуту, не успев даже подумать, я бросился в садик. Там росли две приземистые вишни с достаточно густыми кронами, и за ними я и прятался. Подхожу к тем вишням и вижу: отец мой стоит под ними, в чёрном длинном плаще, в шляпе, тоже чёрной, весь осыпанный лепестками отцветающей вишни. Отец смотрел на меня, сощурившись и слегка улыбаясь, смотрел с интересом, как будто видел впервые.

«Так вот где ты целый день торчишь?»

«Нет, говорю, я не тут гуляю, я случайно тут оказался, вон у Яши туфли чистил».

«А, понятно, а я подумал, что ты из-за Фриды тут стоишь. Я бы против ничего не имел, хорошая у Додика дочка. Но есть информация, что они уже о свадьбе договорились, так что опоздал ты, если речь об этом идёт. Как говорится, если не знаешь – спроси, да».

Я почувствовал в эту минуту, как сердце моё забило со страшной силой, так быстро, что, казалось, голова моя стала слегка кивать в такт этим ударам. Ещё момент – и сердце остановится, подумал я отчётливо, но это совсем меня не испугало.

«Э, э, ты чего, слушай? Мы придумаем что-нибудь, э! Приди в себя».

Отец схватил меня за руку и слегка потряс.

«Я тебя, конечно, понимаю, но вот так себя я никогда бы не стал вести, уж прости своего отца за эти слова».

Я промолчал в ответ, и отец повёл меня из сада, в этот момент я увидел, что шедшая там, в конце улицы, девушка – совсем не та, которую я ждал, и даже ничем не похожа. Мы с отцом пошли вниз, через кварталы, старые, как воспоминания мёртвого о мёртвом, кварталы, сожжённые великим множеством полдней и высушенные бессчётным числом бризов. Мы шли, а наш город крался за нами, спускался на цыпочках, стараясь ничем не выдать своего движения. Проходим несколько домов, настолько, на первый взгляд, одинаковых, что, только хорошо приглядевшись, можно отличить один из них, деревянный, от остальных, каменных, так выцвели они все. У одного дома около порога криво намалёвано граффити «Salve» и торчит с балкона спутниковая тарелка, у другого дома, напротив и чуть поодаль, на дворовых воротах висит новёхонький бронзовый дверной молоток в виде льва, во рту которого зажато кольцо. Отец стукнул этим кольцом о львиную морду, и в ту же минуту ворота распахнулись – нас тут ждали. Посередине двора столы, составленные в подобие буквы «П», ломились от всяческой снеди. Вокруг столов восседала добрая четверть мужчин нашего квартала. Музыканты за отдельным столиком играли что-то протяжное, светлое и очень-очень знакомое, то, от чего у любого человека из наших, несомненно, приближаются к глазам слёзы, самые чистые из всех. Отец сел рядом с Габо Элигулашвили, который для такого случая был облачён в черкеску и льняную белую шляпу.

«Как вы поживаете, ребе?» – спросил отец.

«Если вы ждёте, что я отвечу «не дождётесь», то как раз не дождётесь, я и сам жду – не дождусь, а то ведь переживёшь ненароком сто двадцать лет, и ангелы начнут тебе завидовать», – ответил Габо, улыбаясь и перебирая чётки.

«Ой, знали бы вы, ребе, какие тут проблемы! Вот он (тут отец показал на меня пальцем, как на неодошевлённый предмет) влюбился в Давидову дочку».

«А что, хорошая дочка!» – сказал Габо медленно, наморщив лоб, видимо, извлекая из древнего шкафа своей памяти нужную фотографию.

«Ну, так вы ж знаете?»

«Знаю, да, знаю. Не думал, что он так быстро у тебя вырастет, ну что, паровоз ушёл, девушек много на свете, и даже хороших много. У Мардахая так вообще три дочки, и все прекрасные у него дочки, так что советую тебе обратить внимание».

Тут Габо взял бутылку коньяка, отвинтил пробку, понюхал и, покивав головой, разлил нам по рюмкам.

Я посмотрел на Мардахая, сидевшего неподалёку, приземистого лысого толстяка с торчащими из ноздрей пучками волос, в этот момент что-то с жаром рассказывавшего по-горски своим соседям, и мне снова стало нехорошо. Выпив коньяк и закусив лиловым тутом с тарелки, я встал из-за стола и пошёл к выходу. Прохожу

сквозь дым мангала и аромат жареной баранины, сквозь пронзительные звуки, творимые кларнетистами в папах, с лицами, раскрашенными, как у античных актёров, страшно надувающими щёки и выпучивающими глаза. Прохожу под худой кровлей весеннего виноградника, сквозь которую небо видит нас.

Распахиваю ворота, гляжу – а там нет всей противоположной стороны улицы, дома исчезли, и прямо напротив двора расстилается берег моря. Море зелёное и спокойное, и ничего не видно, кроме моря, только высоко-высоко летят, возвращаясь домой, голуби, родившиеся в начале года, похожие на обрывки бумаги. Выхожу к берегу и встаю у самой кромки прибоя, так что волны достают до острых носков моих лакированных туфель. Солнце уже готово закатиться, оно лежит, поделённое горизонтом, как разрезанный мандарин, и светит оно добрым светом, мягким и мудрым, как отец, которого у меня никогда не было.

### КОТЁЛ ИЗ ТБИЛИСИ

Помню, как дед мой, в длинном, почти до земли, габардиновом плаще, зажав губами пустой мундштук, ходил по тбилисской барахолке у моста через Куру, разглядывая самовары, чётки, картины под Пиросмани, зеркала в стиле модерн, разнообразные портреты Сталина, где тот всегда молодой и красивый, медные подсвечники, мельхиоровые подстаканники и всё прочее, созданное за целый век и успевшее подёрнуться плёнкой увядания.

Иногда дед начинал торговаться. Однажды приценился к набору шахмат без ладьи и двух пешек, выставленному маленьким седовласым гурийцем. Они долго обсуждали цену, постепенно входя в раж, так долго, что я успел заскучать, разглядывая коврик, на котором вытканый ядовитыми красками прекрасный махараджа в тюрбане умыкал пышнотелую красавицу в розовом лифчике и кисейных шароварах. В конце концов дед довёл почтенного гурийца до белого каления, и тот стал совать прямо деду в руки свои шахматы, добавив к ним бюстик Дзержинского и крича:

– Бэри так, забывай, толка ухади! И эта тожи бэри, нэгадяй!

Но дед не взял. Ушёл, качая головой, сказав мне чуть позже:

– Что за интересные люди эти грузины?

Так мы и ходили бесцельно по базару, пока в один момент дед не заприметил большущий медный котёл, покрытый зеленоватыми разводами, лежавший среди всяческого лома. Заглянув в этот котёл, дед зачем-то достал из кармана связку ключей и принялся скоблить одним из ключей внутри. Лицо его посветлело, и, не торгуясь, дед выложил ушлому тбилисцу целую кучу денег, и котёл этот перешёл к нам.

Потом мы пошли в хинкальную недалеко от вокзала, ту самую, где, по легенде, Есенин и Табидзе ели хаш. Был вечер, за соседними столиками стояли упитанные грузины, розовые от водки, как младенцы после купанья, и невероятно громко, перебивая друг друга, обсуждали свои дела. Я пил чай, и дед мой, выдержав небольшую паузу, извлёк из кулака, как фокусник, шоколадную конфету. Я сделал круглые глаза, хотя наизусть знал этот трюк, и даже

видел, как дед берёт эту конфету у своей знакомой, усатой армянки, хозяйки кондитерского рундучка.

Потом, когда мы шли к автобусу и я купил надувной шарик, дед произнёс с неудовольствием:

– С ума сошёл? Тебе что, пять лет?

И я ответил, что в шарике тбилисский воздух и, значит, кусок этого города останется с нами ещё надолго. Дед посмотрел на меня внимательно, но ничего больше не сказал. И мы, с котлом и шаром, отправились домой, в Баку.

По дороге я спросил у деда, зачем он скоблил внутри котла, на что дед, развернув бумагу и выставив котёл на свет, сказал:

– Посмотри внимательно, что видишь?

Приглядевшись, я увидел, что на стенки котла нанесены уровни в виде неглубоких насечек и напротив каждого идёт процарапанная надпись еврейскими буквами.

– Вот посмотри, тут написано два слова: рис и плов, баранина и плов и так далее, да. До этого уровня нужно насыпать рис, если ты плов делаешь. А до этого – баранину нужно положить. А тут написано, сколько шафрана класть, сколько гранатового сока лить, сколько лука класть. Ты даже не представляешь, каких больших денег этот казан стоит! А если на дно посмотришь?

Я посмотрел на дно, куда указывал дедов палец, дублённый временем и оттого походивший на только что извлечённый из земли корень тёмно-синей моркови, и увидел, что всё дно котла исписано, хотя часть надписи была скрыта коркой окислов.

– Тут говорится, что в субботу нельзя готовить, а ещё пожелание хорошего аппетита тем, кто не пренебрегает заповедями. Вот как люди раньше делали, с пониманием делали.

Позже, уже дома, дед долго и тщательно чистил покупку медной проволокой, полировал особым мелким песочком до тех пор, пока котёл не засверкал, как если бы был золотым. Самое интересное, что мы ни разу на моей памяти в нём не готовили. Часто, когда дома никого не было, я доставал этот магический предмет, сиявший, как самовар русского царя, и разглядывал, проводя пальцем по утопленным надписям на его дне и стенках, представляя его то набитым червонцами на палубе пиратского корабля, то ломящимся от мусульманских сокровищ из «Тысячи и одной ночи».

Вскоре дедов двоюродный племянник Додик положил на него глаз, и всякий раз, бывая у нас дома, он нудно и многословно выклянчивал этот котёл, придумывая всё новые и новые поводы его заполучить. От мифической рекомендации доктора есть из медной посуды до столь же невероятного сна о котле, привидевшегося якобы его беременной жене. Когда же дед отказывал, то Додик пытался этот котёл купить, причём с каждым разом назначал всё большую цену. Предлагал он небрежно, как бы между делом, но по особым искрам, вспыхивавшим в его выпуклых, обычно невыразительных глазах, было ясно, что покупка его крайне интересует. Но дед не продавал.

Один же наш сосед по двору, многодетный сапожник по имени Манашир, не просил котёл и не пытался купить, но всегда им восхищался. Дед снимал котёл с полки и всякий раз читал Манаширу, не знавшему наших букв, надписи со дна и стенок, причём,

на моей памяти, они всегда звучали по-разному, но сапожник не замечал этой разности и хвалил старое время, в котором жили такие мастера с пониманием и любовью к людям. Манашир этот жил один, потому как жена его умерла несколько лет назад, дети разъехались и, только время от времени появляясь, привозили ему внуков. Тогда было видно, как он, сидя во дворе, качает очередного потомка, напевая что-то вроде: «Йося-мося кушала, Хаямая мушала». Был он не очень старым, моложе деда, но стал сильно сдавать. Встречаясь с нами во дворе много раз за день, сапожник всякий раз здоровался, ещё он часто забывал снять тфилин с головы и так и ходил с ним, пока кто-нибудь ему не говорил об этом, или подстригал бороду только с одной стороны. По всему было видно, что он болеет.

Когда у нас на юге выпадает снег, это совсем не то, что снег на севере. Он выпадает обильно, без всякой подготовки, сыплется сплошным потоком на пейзажи переспелой осени. Буквально за считанные часы заносится всё вокруг: исчезают застрявшие машины, бульварные кусты обращаются в исполинские снежки, а пальмы становятся грибами-дождевиками на тонких ножках. Через недолгое время останавливаются трамваи и превращаются в голубоватых слизней, подсвеченных изнутри, и замерзает газ в трубах. Электрический свет вскоре пропадает, потому как электрифицирован наш старый квартал таким образом, что множество проводов под всеми углами тянутся от деревянных столбов к разнокалиберным изоляторам, вбитым в деревья, стены и коньки крыш, и во время снегопада вся эта причудливая паутина обрывается и в домах воцаряется чуланная тьма. Я обожал это время, когда сидишь и смотришь из окна на улицу, освещенную легким фосфоресцирующим светом, и звёзды над городом становятся велики, и их высыпает так много, что не остаётся никакого свободного от них неба.

Как раз в день такого снегопада было обрезание Додикиного сына, и мы отправились к нему в фотоателье, долго шли через спящую белизну, обсуждая один щекотливый вопрос, касающийся старухи по кличке Дедеяхунна, женщины, которой весь квартал, не сговариваясь, отдавал пальму первенства в умении наводить порчу. Дед был уверен, что Дедеяхунна на праздник не придёт, потому что Додик её не пригласит, я же думал, что эта жуткая старуха, которую я никогда не видел, появится всё равно.

Придя в фотоателье, в котором были занавешены одеялами витрины, накрыты столы, а по стенам развешаны новогодние гирлянды и шары, мы застали там оживленную дискуссию на ту же тему. Женщины ходили туда-сюда, разнося еду, а за столом не сидели, потому как брит-мила – праздник мужской. Дед подошёл к родне, и они некоторое время шептались. Через несколько минут в зал закатили коляску с младенцем, украшенную искусственными розами и лентами, и поставили в углу.

В зале было человек двадцать мужчин, тут мы и увидели Манашира, сидевшего рядом со своими тремя сыновьями, сильно исхудавшего, так что плечи на его пиджаке повисли, и, как казалось, бормочущего что-то себе под нос. Кроме него, там было ещё

несколько знакомых мне лиц, но в основном присутствовали родственники Додикиной жены, выходцы из Губы, выглядевшие откровенно по-сельски.

Гости расселись, и начался праздник, все крепко выпили, и в разгар веселья дед мой, встав со стаканчиком водки, произнёс:

– Когда мужчина видит своего родившегося первенца, то что происходит с мужчиной? Мужчина счастлив? Да, он, конечно, счастлив, и счастлив он бесконечно. Но есть ли в этом счастье и некоторое количество грусти? Да, есть! Потому как ты тут понимаешь, глядя на своего сына, что отодвигаешься чуть-чуть подальше от земли, и начинаешь быть ближе к Творцу. Теперь сына будут любить больше, чем тебя, и все твои будут его любить больше, чем тебя, а ты теперь никогда не ребёнок, потому что ты теперь – родитель. Как говорит наш любимый рав Габо, когда мужчина впервые видит лицо первенца своего, то мужчина впервые понимает, что сам когда-нибудь умрёт. Но мы знаем, так положено у Бога в Его мире. И сейчас наш Давидик, которого самого брит-милу я помню, как будто она была вчера, – самый счастливый человек на свете, и мы все – счастливые люди, мы будем радоваться и будем веселиться, как и положено тем, в чей дом пришло счастье.

Тут дед выпил водку под одобрительные крики поднабравшихся губинцев и закусил солёной черемшой. В тот момент распахнулась входная дверь, на которой болталась табличка «Закрито», и какая-то незнакомая мне женщина буквально вбежала в фотоателье. Она встала перед столом, отряхивая снег и оглядывая помещение, немедля воцарилась тишина, лишь по рядам сидящих шёпотом пронеслось её имя, вернее, кличка, только Додик, сидевший с братьями своей жены спиной к входу, её появления не заметил и продолжал громко обсуждать какие-то денежные дела. Женщины, бывшие в зале, звеня тарелками, побежали в фотолабораторию, бывшую на время кухней.

Я во все глаза смотрел на новую гостью, поняв, что это и есть Дедаяхунна. Она оказалось совсем не старой, во всяком случае, волосы её были выкрашены хной, а лицо – лишено морщин. Впрочем, хорошо разглядеть её я побоялся и усталился в тарелку, отметил только, что на лице Дедаяхунны не было бровей, они были выщипаны, а затем жирно и несимметрично нарисованы высоко на лбу, там, где бровей никогда не бывает.

Она же подошла к Додику сзади, встала за ним и громко сказала:

– Не позвал старуху? Думаешь, старуха тебе зло сделает? А был бы умный, так бы не думал. Что, тебе жалко старуху накормить, родню показать? Жадный ты на деньги. А для кого ты не жадный? Для любовниц ты не жадный. Тут ты добрый.

От этих слов воловы, выпуклые глаза Додика, казалось, ещё больше выкатились, став похожими на две чёрные виноградины, и он застыл на своём месте, не поворачиваясь. Дедаяхунна стала обходить стол. Подойдя к моему деду, она произнесла:

– Всё пьёшь, Гидон? Столько лет живёшь, а без рюмки тебя никто не помнит. Сын спился, и внук пьёт с дедом. Старуха всё знает! Пей, пей. Тебя уже в аду ждут. Там вина много!

Тут я дёрнулся, но в этот момент дед сжал мне руку, я посмотрел на него и увидел, что дед улыбается. Пройдя дальше, где сидел

Бадал, заведующий продуктовым магазином в Дербенте, почётный в некотором роде гость, Дедяхунна вдруг пронзительно взвизгнула – так, что изо рта Бадала вылетела маслина, и он, схватившись двумя руками за горло, закашлялся, побагровев. Дойдя до места, где сидел Габо Элигулашвили, обязательный гость на всех праздниках нашего квартала, старуха разразилась такой тирадой:

– А вот и мудрец! Скажи, мудрый человек, где в твоих книгах написано, что можно старуху, бабушку, сироту к тому же, обновить? Угощения лишать? Давай скажи, да. Сказками своими скажи. Не удивительно ли, что у нас в квартале живёт такой великий мудрец, а никто его в мире не знает? Почему с телевидения не приезжают тебя снимать, старый пень? Праведник! В квартале все пьют и гуляют, злодей на злодее, а наш праведник всё одобряет. Пример даже подаёт, несмотря на годы, да?

Габо с полным спокойствием достал из кармана спичку и с блаженным выражением на лице принялся ковырять ею в ухе.

Вдруг старуха увидела коляску в конце зала и, смеясь, пошла туда, периодически выделявая ногами странные танцевальные па.

– Сейчас посмотрим, кто у него родился. Уай, какой красавчик! Вылитый Додик, одно лицо, такой же красавчик! Дай старуха тебя поцелует, да! Балашка! – раздался голос Дедяхунны, исполненный ликования.

Вдруг она завизжала, причём всем стало понятно, что визг этот абсолютно непритворный, и кинулась к выходу, сбив по дороге стопку тарелок с угла стола. Натолкнувшись на фотоаппарат, накрытый сверху тканью, старуха едва его не опрокинула и побежала в другую сторону, забыв, очевидно, где был вход. Наконец кто-то догадался распахнуть ей дверь, и она выскочила на улицу.

Когда всё стихло, раздался хохот – смеялся мой дед, закрыв лицо руками, смеялся Габо, обнажив беззубые дёсны, заливался Манашир, периодически стряхивая слёзы с лица, и через некоторое время смеялся весь зал.

Дело оказалось в том, что ребёнка спрятали, а мартышку по имени Лора, которая делила с семьёй Додика стол и кров, трудясь в качестве модели для съёмок с детьми, туго запеленав и нацепив на неё чепчик, положили в коляску вместо младенца. В тот момент, когда старуха схватила, как ей казалось, ребёнка, Лора, разозлённая своим положением, зашипела и пустила в ход зубы.

Праздник продолжился с прежним размахом, у молодёжи началась даже лезгинка, и казалось, никаких проблем теперь не будет, как вдруг сыновья Манашира вскочили с мест и по столу разнеслось: «Манашир упал, Манашир упал». Ему вдруг сделалось плохо, кто-то приводил его в чувство, кто-то кинулся звонить в скорую помощь, и веселье прекратилось.

Пока неотложка добиралась через заснеженный город, мы стояли вокруг старика, которого положили на стулья, а тот виновато улыбался и махал нам рукой, мол, садитесь и продолжайте, всё хорошо.

Через неделю, когда его выписали из больницы, мы с дедом пошли к нему. Старый сапожник сидел на кровати, сведя брови

домиком, и медленно раскачивался. Перед ним стояла нетронутая тарелка манной каши, приготовленная невесткой. Сама невестка, крупная, рослая девушка, гремела посудой на кухне, в комнате, несмотря на день, горела лампа и беззвучно работал телевизор.

– Почему не кушаешь? – спросил дед.

– Не могу, вкус не чувствую.

– А ты настоящий плов с бараниной покушай, да, такой вкус почувствуешь.

– А кто мне приготовит? Никто уже не умеет, слушай, – с этими словами Манашир посмотрел на висящую над телевизором, сильно ретушированную фотографию своей покойной жены.

– Ладно, да, сейчас я тебе наш казан принесу, с ним любой человек плов приготовит, – сказал дед и послал меня за котлом.

Вернувшись с ним, я увидел, что сапожник настолько разволновался, что встал с кровати.

Я поставил котёл, и сапожник принялся водить дрожащей рукой по сияющим бокам этого изделия, превращённого, неизвестно по чьей прихоти, в кулинарную книгу.

– Гидон, ты мне его даришь?

– Нет, поцеловать принёс.

– Сейчас я Саре скажу (Сара – это невестка), куда класть, что класть, даже она сумеет плов сделать, – говорил он, глядя на деда и улыбаясь.

Поговорив с нами ещё немного, Манашир заклевал носом и вскоре лёг на кровать, дед поставил котёл рядом, и через минуту сапожник заснул, держась рукой за его край, и мы пошли домой.

Дед закурил папиросу, думая о чём-то, пока мы пересекали двор, и мне показалось, что деду жаль котла, по правде говоря, и мне было жаль дарить такую замечательную вещь.

– А как он прочтёт рецепты? – не выдержав, прервал я дедовское молчание.

– Никак не прочтёт.

– А тогда как плов ему будут готовить?

Дед посмотрел на меня, выпустил дым из ноздрей, и сказал:

– Это на самом деле не самое главное. Главное другое.

– А что главное?

– Щедрость в твоей душе, – ответил дед.

Через три дня сапожник умер, а ещё через год снова выпал снег, да такой, что город буквально утонул в нём. Электричество снова отключилось, хлеб пропал, машины встали, а мы сидели при свете керосинки, и дед, надев очки, читал мне вслух историю царя Шауля, потерявшего от зависти голову. Я глядел на улицу, окна которой превратились в цепочки керосинных светляков, уходящих вдаль, до самой тьмы, и думал о том, что старость, в отличие от детства и молодости, имеет начало, но не имеет определённого конца. Ещё я подумал, что когда-нибудь стану стариком. Тогда у меня обязательно будет внук, и мы поедем с ним в Тбилиси, самый красивый город на свете. Там, на базаре, около моста, где шумит мутно-зелёная Кура, на развале, среди подсвечников и подстаканников, мы обязательно найдём наш котёл.

## ДЕРЕВО ЯКОВА

– В тот день, когда Яков родился, в одной отдалённой стране было посажено дерево, из плоти которого потом сделают гроб Якова. На самом деле это дерево никто не сажал и посеялось оно само – недалеко от реки, извитой, медленной, как трамвай на Гагаринском мосту, на равнине, такой, что если лечь на спину, то покажется, что тебя накрыла голубая поливная пиала. Дерево это – тополь, или очень похожее на тополь, быстро истлевающая древесина которого используется в последние лет сто восточными евреями для изготовления последнего ложа. Яков родился на Востоке, в семье настолько бедной, что деньги там никогда не заносились в дом, а сразу менялись на еду в продуктовых рядах базара, и настолько многодетной, что разница между самым старшим ребёнком и самым младшим была сравнима с не самой короткой человеческой жизнью. Яков был самым младшим и оттого видел своего отца только стариком, а отец видел Якова только ребёнком, и они так и не успели пообщаться как равные, хотя, с другой стороны, отец и сын никогда между собою не равны. Жизнь Якова шла своим чередом, а жизнь дерева – своим, и нигде в своих жизнях они не пересекались, и только смерти суждено было соединить Якова с его деревом. Где-то на пространстве отдалённой страны ветра гнули это дерево, солнце палило его немилосердно, пауки-волки прятались в его кроне, ткачики сплетали в нём свои затейливые жилища. А Якову в своей земле тоже приходилось несладко – ему сполна доставалось всё то, что обычно приходится получать младшему сыну, наследующему лишь старость своего отца. Хлеба ему доставалось, только чтобы не умереть с голоду, воды – только чтобы утолить самую сильную жажду, а чего было много, так это пыли и побоев, потому как жил он в чужом городе среди чужих. И однажды ночью, столь светлой, что можно было различить рыжий и чёрный волоски, Яков заснул, поужинав, по обыкновению, только пылью и солью, осевшей за день на его губах, и увидел во сне одинокое дерево, стоящее среди незнакомого пейзажа, и он знал, что это то самое дерево, из которого сделают для него последнее ложе, то, что служить ему будет дольше всех других. И он, в этом своём сне, услышал...

Тут я не выдержал, и перебил:

– Хватит, да, достал этими историями!

И Треугольник, прозванный так за форму головы, выбриваемой каждое лето, обиженно замолчал. Звали Треугольника Натаном, но имя его на улице практически не употреблялось. Родители Треугольника были глухонемыми, а вот он мало что разговаривал, ещё и был на редкость словоохотлив. Кроме того, он корчил потешные рожи, иллюстрируя сказанное, как это принято у глухих, с той только разницей, что последние говорят только жестами. И сейчас Треугольник изобразил лицом обиду, сведя брови домиком и опустив уголки рта, и притом замахал ладонями в мою сторону, мол, теперь от меня ни слова не дождётесть.

Сидели мы кружком вокруг самовара, во дворе, и южная ночь уже успела накрыть нас. В самоваре нарастало урчание, и из трубы

его периодически выскальзывали цепочки искр, но дыма видно не было, потому как его поглощала тьма. Рядом с самоваром стояла допотопная керосиновая лампа Треугольника, испускавшая неяркое трепетное свечение. Нас было четверо: Гена, сутулый, мало-разговорчивый мальчик, который вёл себя как взрослый, Армен, сын соседа – зубного врача, и мы с Треугольником. Два других слушателя были со мной вполне солидарны.

– Слушай, я вчера вечером шёл к вам во двор, а там смотрю – не поверишь, э, что видел! – сказал Армен, обращаясь ко мне.

– Что видел?

– Берту голую видел!

Берта жила в начале улицы. Это была незамужняя девушка лет двадцати пяти, сложенная столь основательно и наделённая такими округлостями, что в моменты, когда она проходила по улице, по обыкновению громко шлёпая тапками, все разговоры прерывались и все мужские головы поворачивались, жадно провожая её взглядами. Впрочем, было простое объяснение тому факту, что Берта не замужем. У неё было сильнейшее сходящееся косоглазие, «глаза на переносице друг с другом целуются», как говорил мой отец, что в сочетании с длинным унылым лицом придавало Бертиному облику черты, жуткие и комические одновременно.

– Ладно, да, что ты гонишь, так прямо она голая по двору ходила! – сказал Гена.

– Не по двору, я же не сказал, что по двору. По хате своей ходила, да.

– Хорошо, э, она по своей хате голая ходила, а ты как это увидел?

– В окно посмотрел, во дворе темно было, а внутри светло, да.

– И что ты увидел? – спросил Треугольник, разом забыв обижаться.

– Всё!

– Ну и как она? – по голосу Треугольника было ясно, что он ждал подробностей.

– Хорошая! Товар есть у неё! – с этими словами Армен очертил перед собой ладонями умозрительные футбольные мячи.

– Гонит, э, ничего он не видел, – сказал Гена, доставая сигарету «Прима» из пачки.

– Ты что, я не понял, не веришь, что я говорю? Ты чего, попутал, я не понял? Видел, говорю!

Гена пристально поглядел на Армена, держа сигарету над ламповым стеклом, и только, очевидно, хотел ответить, как высоко над нашими головами с треском распахнулось окно и громкий, дребезжащий женский голос разнёсся по двору:

– Генка, домой иди! Иди домой, сказала, ты где, блять?

Гена, не глядя вверх, коротко крикнул:

– Иду, мам!

– Не иду, а иди, сказала, домой, бля, иди!

Гена быстро сделал две-три затяжки, выбросил недокуренную сигарету и стал собираться.

– Уходишь, что ли? – спросил я.

– Пойду. Не видишь, пьяная она, – с этими словами Гена, не прощаясь, ушёл в темноту.

Оставшись втроём, мы некоторое время молчали, глядя на череду самоварных искр, чертящих во мраке ослепительные зигзаги, и курили. Через некоторое время наверху раздался визг с руганью и зазвенело стекло.

– Пахан Генин опять маханю его казнит, – сказал Треугольник.

Я кивнул, и снова повисло молчание, которое Треугольник расценил как приглашение к продолжению рассказа.

– Ну так вот, спит Яков, и видит во сне далёкую страну, где стоит его дерево, и это дерево видит, и знает, что оно спит, потому как в той стране тоже ночь, а по ночам спят и деревья. И дереву тому снится сон, и во сне том дерево видит Якова. Дерево знает, что жизнь их прервётся в одно время, и желает, чтобы Яков был здоров, пусть же он не знает нужды ни в чём, пусть же ему будет жить легко, и пусть он живёт подольше, думает дерево. И в своём сне дерево плещет ветвями, шуршит листьями, желая добра Якову на своём языке деревьев. Проснувшись, Яков подумал о том, как найти ему место, где то дерево растёт, и он бы поливал его, и он бы отгонял от него птиц, и он бы людям не позволил портить его. Потому что умрёт то дерево – и Якову...

– Чай готов! – сказал Армен, поднимая тряпки, которыми был накрыт заварной чайник. – Подожди, попьём, потом дорасскажешь, брательник.

Через минуту мы пили чай с колотым сахаром, вприкуску, как это было у нас принято. Сахар приносил я, и это были серые, твёрдые, как гранит, мелкозернистые куски с неровными краями. Каждый кусок было нужно обмакнуть в стакан, подождать немного и только потом – кусать. Ночью, когда прохлада воцарялась над нашим измученным зноем городом, на улице начиналась самая жизнь. Ничего нет лучше, чем глядеть, как вечерницы низко проносятся в небе, как звёзды высыпают по-южному густо, как неказистые кварталы в нагорной части города превращаются в скопления светляков.

Что ты видишь в начале дня, кроме теней, которые бегут от солнца, как люди – от своей смерти, и прячутся в складках простыней, под коврами и между книжных страниц, что ты видишь?

Печальная земля моя, освещённая сполохами зарниц ускользающих, у самого горизонта, пересечённая сетью трещин, достаточно глубоких, чтобы впитывать тени в самый летний полдень, печальная земля моя.

Как тебе идёт ночь, как тебе к лицу темнота, южная моя родина.

Чаепитие было прервано внезапно и грубо. В круг, освещённый лампой, бесшумно вошёл старший брат Треугольника, по имени Рафаэль.

Он был глух, как полено, и чрезвычайно силен. Говорили, что раньше он занимался боксом, но его выгнали из секции, потому что, не слыша гонга, он бил соперника, пока тот не падал замертво. Правда это или нет, никто сказать не мог, но с Рафаэлем обычно никто не связывался. Издав вместо приветствия что-то подобное мяуканью, Рафаэль быстрым движением вlepил брату затрещину, и после небольшого разговора, выглядевшего как ма-

хание руками, Треугольник повернулся к нам и сказал, изображая лицом вселенскую скорбь:

– Ребята, я пошёл.

В этот момент Рафаэль, злобно мыча, снова занёс над ним руку. Вообще-то у нас на улице никто Треугольника и пальцем тронуть не мог. Потому что нельзя его обижать – он не такой, как все. И несмотря на страх перед глухонемым здоровяком-братом, я вскочил и, стараясь как можно больше шевелить губами, сказал по-татски:

– Не делай!

Брат посмотрел на меня и принялся что-то лопотать, крутя пальцами у лица.

Треугольник, вздохнув, тут же принялся переводить:

– Рафа сказал, что я не прав, потому что ушёл из дома и никому не сказал, что буду во дворе сидеть. Ещё сказал, что мама нервничает. И ещё он думает, что мы анашу курим.

– Не, Рафа, мы план не курим, – сказал я, помахав для убедительности ладонями.

Рафа внимательно посмотрел на меня, потом на Армена, понюхал початую пачку «Примы» и даже стаканы с чаем. Потом, колебавшись, он сел на корточки около нас и снова принялся жестиковать пальцами. Я впервые видел его так близко и в свете керосинки разглядел, что Рафа очень похож на Треугольника, может, только лицо его несколько грубее, чем у брата. Посидев минуту, Рафа резко встал, и они с братом ушли, прихватив самовар и лампу, а мы остались вдвоём, почти в абсолютной темноте.

– Теперь расходимся, да? – сказал я.

– Да, э, да, а что ещё делать.

Мы встали и пошли со двора, а на улице, тёмной, как самоварная сажа, кипела жизнь: кто-то храпел, растянувшись прямо на тротуаре на вынесенной из дома перине, вдалеке стучали игральные кости, раздавался приглушённый смех, и пахло жарящимися семечками. Мы шли, впитывая запахи ночного города, и любопытная вечерница, крутясь в воздухе, увязалась за нами.

– Слушай, – сказал Армен, остановившись на углу, где нам надо было идти каждому своей дорогой, – а если бы Берта была не косяя, ты бы на ней женился?

– Нет, э, ты что, она же старая.

– А я бы женился на ней, бля буду.

Мы постояли немного и пошли по домам. Тихо войдя к себе, я быстро разделся и лёг, и почти мгновенно уснул, и тут увидел, что стоим мы с Арменом на углу улицы Димитрова, там, где обычно встречаемся, и собираемся в гости идти, а на улице ночь, но притом светлая такая, как день, светлая. Идём мы, а над нами кружит вечерница, белая, будто голубь. Идём и говорим о своём, а на дороге нашей жизнь кипит: люди не спят, кто в нарды играет, кто слушает радиолу прямо во дворе, кто ест холодный суп на кислом молоке, который в наших краях «довга» называется. Идём мы мимо горской синагоги, идём по улице Видади, мимо маленькой мечети, превращённой в типографский склад, и смотрим: около своего дома стоит Треугольник, а рядом на корточках сидит его брат, и оба приветственно руками нам машут.

«Привет, ребята!» – говорит Рафа.

«Смотри, он говорит!»

«Привет, Раф! Привет, Треугольник!» – говорю.

«Пошли во двор, чаю попьём?»

«Пошли, у меня как раз есть сахар кошерный, из Кубы, дядя послал!»

«Тот самый сахар?»

«Тот самый».

Заходим уже во двор, как Треугольник дёргает меня за рукав и глазами показывает, посмотри, мол, назад. Оглядываюсь и вижу: в чёрном платье с блёстками, улыбаясь чему-то, идёт по улице Берта, держа букет, и вижу, что лицо её изменилось – никакого косоглазия в помине нет, и была она так красива, что у меня аж дух перехватило.

«Женился бы на ней, Амирам?» – шёпотом спрашивает Треугольник.

«Конечно женился бы!» – отвечаю.

Заходим во двор, а там светло, как ночью, самовар стоит на всех парах, вокруг него на ковре разложены подушки, заварной чайник стоит, накрытый сверху тряпками, чтобы тепло не ушло из заварки, рядом сидит Гена и раскладывает стаканы «армуды». А чуть в стороне, у стены, допотопная керосинная лампа источает тьму, легкую, как паутина.

«Сколько можно ждать, э?» – сказал Гена, улыбаясь.

«Пять минут поговорить стояли», – отвечаю.

Рассаживаемся на подушках, Армен разливает чай по стаканам, я сахар выкладываю, твёрдый, как гранит, сероватый пасхальный сахар. Только собираюсь сделать глоток, как вдруг слышу отдалённый шорох, такой мелодичный шорох, такой убаюкивающий, что сразу и засыпаю. Сплю и вижу отдалённую землю, ровную и светлую, по которой течёт река, медленная, как трамвай на Гагаринском мосту, под небом синим, как полива. И посреди той земли стоит одинокое дерево, высокое, вроде тополя, с кроной пирамидальной, и порывы ветра рвут листву, и все листья трепещут жалобно, и ветви скрипят, и в этом шорохе и скрипе я слышу:

«Будь здоров, дорогой мой, живи легко и живи долго, как можешь».

*Марк Харитонов*

*ИЗ ВЕРЛИБРОВ 2009 ГОДА*

## **В НАЧАЛЕ БЫЛА МЫСЛЬ**

Бизон на своде пещеры убит, будет пища.

Выходишь, над головой тревожная россыпь.  
Надо что-то с ней делать, составить в созвездия,  
Придумать им имена, подобрать слова  
Для свидетельства о сотворении мира,  
Пусть оно произошло до тебя,  
Творить его заново каждый день,  
Назвать совокупление любовью,  
Воспроизводство рода – историей,  
Ритуалом – поглощение пищи,  
Провозгласить добытую истину,  
Отстаивать ее насмерть.

## **ПРОРОК И ГЕНИЙ**

Напиши о пророке, о том, кто не был услышан,  
Когда он кричал об очевидном, о неизбежном,  
В доме собраний, на площадях, полных народу.

«Вы, приносящие жертвы ложным богам,  
Опомнитесь! Уже заколебалась земля.  
Уже поднялись, подступают всё ближе воды.  
О чём вы заботитесь? О насыщении, об утехах?  
Ваши сокровища станут черней угля,  
Ваши девы станут добычей пришельцев,  
Обрушатся горы, и стены падут на землю».

Морщатся, отворачиваясь: охота ему пугать?  
«Не от себя говорю, пославший меня воззвал:  
Пусть мятежный, лживый народ не требует от провидца  
Чтоб ублажал их приятным, не предсказывал правды,  
Пусть в устах твоих слово моё станет огнём,  
Народ этот станет дровами, и огонь их пожрёт».

Обидные, дикие речи. Только наладилась жизнь,  
Не хуже, чем до изгнания, да ты успели забыть,  
Обросли кой-каким добром, чем ему это плохо?  
Обвиняет, хрипит, как в падучей, грязный, босой,  
В грубом верблюжьем плаще, на губах уже пена.  
Гоните его по добру, а не то побейте камнями.

Злободневный сюжет, герой тебе чем-то близок.  
 Опередивший других всегда при жизни отвергнут,  
 Не услышан, не понят. Был, наверное, косноязычен,  
 Не отработывал произношение, набирая камешки в рот,  
 Думал, убедительность воплю дает не умение, а вода,  
 Когда уже подступила, грозит затопить, огонь,  
 Когда уже полыхает вокруг и жжет.

Еще не создана *ars poetica*, литература не началась.  
 На бумаге за ним найдется кому записать.

Обработают, позаботятся о выразительном стиле,  
 Убедительной композиции. Поколения будут читать,  
 Изучать, восхищаться прозорливой, глубокой мыслью –  
 Но не те, кого он надеялся предупредить.

Постарайся найти слова. Пусть и тебя услышат не сразу,  
 Время произнесёт свой суд, оценит достоинства, слог,  
 Талант, наконец. Глядишь, когда-нибудь даже скажут: гений.

Но не пророк. Вот что попробуй сперва понять.

## МАНИФЕСТ ДРУГОГО ИСКУССТВА

Выродилось искусство. Где битвы богов и титанов,  
 Экстаз элевсинских мистерий, ритуальная растворённость?  
 Где кровь на арене, катарсис, где смерть на подмостках?  
 Где хор, а не подпевалы, не публика, а народ?

Придуманные слова скользят мимо жизни и смерти,  
 Растворяются в шуме, в разговорах о катастрофе,  
 Которая между тем происходит неощутимо.

Войны, взрывы, смертоубийства – зрелище на экране,  
 Торжество пиротехников, способ укрыться от жизни,  
 Ощущая себя живущим, насыщение без вкуса..

Порнография не возбуждает, не пугают компьютерные фантомы.  
 Ницета иллюзорного правдоподобия. Фокусы – не волшебство.

Прорвёмся к другому искусству, без рампы и рамы:  
 Не сцены страданий и страсти, расписанные по ролям, –  
 Подлинность жизни и смерти. Пусть художник от самого себя  
 Отрезает с кровью куски, доводя до истерики слабонервных,  
 Пусть искусство станет войной, религией, братством безумцев,  
 Вдохновенных самоубийц, услышавших голос свыше,  
 Чтоб пробудить нас от спячки, вдохнуть в нас новую жизнь.

\* \* \*

Переборы невидимых крыльев, встревоженный воздух.  
 Щуришься, прикрывая глаза, боишься ослепнуть.  
 Или боишься увидеть?  
 Зажмурься, увидишь яснее.

# ПЛОЩАДЬ ФРАНЦИИ

*Алексей Зайцев*

## *ФИЗИКА ВАТАНТОВ*

\* \* \*

Знаешь, меня вдруг покинули деньги.  
Смылись. А только что были со мной.  
Здравствуйте, песни парижской подземки,  
Наигрыш долгий гармошки губной.

Здравствуй, Река и Железная Башня!  
Здравствуйте, Камни, Афиши, Стекло!  
Сколько же радости жизни вчерашней  
Между ладоней моих утекло!

Дай же мне, Господи, силы проснуться,  
Не вспоминая вчерашнего дня...  
Что же касается денег: вернутся.  
Как же им, бедным, одним? Без меня...

\* \* \*

Словно всадник отважный династии Минь или Тан,  
Красноглазый монгол в телогрейке, почти великан,  
Сердцем слушая вой своего «кавасаки», летал  
Девятьсот сорок третьей дорогой на Сен-Флорентан.

Если б я Ходасевичем был... Да ведь я не таков,  
Чтобы взять и воспеть, как прекрасны сады за рекой,  
Где гниют лимузины испанских цыган-батраков,  
А грузины друг другу приветливо машут рукой.

Где зулусы, топтавшие гиблые русские льды,  
На которых любой вертолёт попадёт в переплёт,  
Отложив попечению вечности дни и труды,  
Зубоскалят с ангольцами – кто там кого переверёт...

Ну а мы проследим, чей черёд поспешать в магазин.  
Говорят старожилы, здесь чачу хлестал Карамзин.  
Здесь Отечество – всем. Гагидеби!<sup>1</sup> Осушим стакан  
И махнём по весёлой дороге на Сен-Флорентан!

---

<sup>1</sup> Гагидеби (грузинск.) – С ума сойти!

\* \* \*

*Дочке Люсе*

Хорошо, что у тебя есть остров.  
Только он пока необитаем.  
И найти его совсем непросто  
Между Иллинойсом и Китаем.

Отыскать его легко, однако,  
Как деревню Ясная Поляна,  
По дорожным знакам Зодиака,  
По грошовым картам – у цыгана.

И тебе там будет всё знакомо:  
Снова к морю выйдешь спозаранку  
Выбрать сосны – для постройки дома,  
Или воздух – для починки замка.

## ДЕВЯТНАДЦАТОЕ АВГУСТА

*Как обещало, не обманывая,  
Вставало солнце утром рано...*

Б. Пастернак

На берегу холодной Роны  
Палатку ставит итальянка.  
Она готовит макароны.  
Там предстоит большая пьянка.

Все гондольеры с мандолинами  
И дровосеки с топорами  
Ушли за ножками куриными –  
Кто трезв ещё, кто – под парами...

Склонялась девочка над примусом,  
Украденным из «Эммаюса»:  
Стряпня была на двойку с минусом,  
Зато вино – на тройку с плюсом!

Как сходно всё, что в мире пенится,  
Смеётся, булькает, рождается!  
И в этом – Главное Свидетельство  
Того, кто в них и не нуждается...

А поутру, когда над Роною  
Проснулись птицы в райских кущах,  
Туман серебряной короною  
Короновал толпу идущих:

Всех дровосеков с мандолинами  
И гондольеров с топорами...  
Вставало солнце над долинами,  
Почти как месяц – над горами.

\* \* \*

Казалось, всё нам было нипочём.  
Мы были крепче танковой бригады:  
Ведь ты стояла за моим плечом,  
И детский смех врывался к нам из сада.  
И Франция цвела для нас ковром,  
И по весне к нам ласточка стучалась...

Такое не кончается добром.  
С поэтами – ни разу не случилось.

\* \* \*

Ему приснилась вдруг столовая  
На станции «Москва-Товарная»,  
Нельзя сказать, чтобы урловая,  
Но приклатнённая – весьма.  
Там подают борщи лиловые,  
В них звёзды плавают коварные.  
(Нет, не найду живого слова я,  
Ни капли страсти для письма!)

А на окне цвели бегонии.  
А во дворе собаки гавкали.  
Он не проснётся утром в номере,  
И я умолкну вместе с ним.  
Но, как индейцы с томагавками,  
Стоят путейцы за добавками  
И смотрят, как состав плутония  
Уходит в Западный Берлин...

А ну их всех! Поедем в Альпы?  
А если хочешь – в Пиренеи.  
А если хочешь – в Гималаи.  
Туда не ближе, чем сюда.  
Мы снимем шляпы, словно скальпы,  
И понесём, как ахинею,  
Которую не оправдаю  
Уже до Страшного Суда.

ИЗ ТАМБОВСКИХ ПИСЕМ<sup>2</sup>

*Играй, Адель,  
Не знай печали...*

Пушкин

*Le loup du Tambov est ton camarade*

Русская поговорка в переводе С. Т. Верховенского

Как-то раз по дороге в гарем  
Я в сугробе нашёл попугая.  
«Отвали, не то заживо съем!» –  
Угрожал он, свободу ругая.  
Поглядел на меня тяжело,  
Как товарищ Лысенко с портрета.  
И такое во мне ожило,  
Что не спрашивай лучше про это...  
Так вот горе-злосчастье, Адель,  
Накатило: с той самой минуты  
Ни подпольный обком, ни бордель  
Не прельщают меня почему-то.  
По ночам я читаю стихи  
И рассказы творца Чебурашки.  
Разбежались мои евнухи<sup>3</sup>  
По земле, как по телу – мурашки.  
А вчера на Монмартре, поверь,  
За сто франков купил гильотину.  
Что ты думаешь, пашет – как зверь!  
(Я торговке попробовал спину.)  
Но пред вами остался в долгу  
И не в силах уже расплатиться.  
Лучше б все мы помёрзли в снегу  
На эстонско-персидской границе!..

<sup>2</sup> Одно время я очень любил читать на скамейке в скверике возле мэрии одиннадцатого округа. И часто встречал там Ивана Ивановича Кузина, бывшего секретаря обкома, тамбовского магната, который купил себе скромную восьмикомнатную квартирку возле станции метро «Вольтер». Там бы он и встретил свою старость, если бы нелепая случайность не оборвала его жизнь прежде им самим намеченных сроков... После кончины И. И. Кузина осталась его переписка с близкими людьми, жёнами оставленного им в городе Тамбове гарема, числом до двухсот душ, а также с евнухами и гуманитариями из числа техобслуги. С ними он делился сокровенными мыслями о справедливом устройстве общества. Они же сообщали ему в Париж о своих горестях и радостях, часто принимая одно за другое. Переписка эта так живо напомнила мне «Персидские письма» Монтескье, что я облёк некоторые из текстов в стихотворную форму. Последнее, неотправленное письмо Ивана Ивановича адресовано «Аделине Ефремовне, жене N 124-bis (любимой)».

<sup>3</sup> И. И. Кузин произносил слово «евнух» на местный манер, с ударением на последний слог. В память о покойном я решил сохранить эту очаровательную неправильность.

Я и рад бы вернуться в Тамбов,  
Но красот его после Парижа  
Малодушно принять не готов.  
И к тому же – устал от жлобов...  
Пощади меня, жизнь, пощади же!

\* \* \*

*Лине*

Как нежно и жалобно в Меце  
журчала в канавках вода!  
Ей попросту некуда деться,  
когда б не спешить в никуда.

Ушли по домам горожане.  
Кафе опустело. И парк.  
Остался лишь памятник Жанне,  
той самой, которая – д'Арк.

А впрочем, у стен арсенала  
цветочница встретилась мне.  
И всё это напоминало  
улыбку в больничном окне.

Когда-то, когда-то, когда-то  
(давно, как пешком – на Луну)...  
Когда-то мы были солдаты.  
Солдатами – в русском плену.

Хорошие книжки листали,  
и карты кидали – не в масть,  
и всё заливала густая,  
как студень, советская власть.

И всё-таки, всё-таки, всё же  
(а может быть, даже и нет!)  
ты свет зажигала в прихожей,  
и я появлялся на свет.

Ты знаешь, на свет я – рождался  
летел на него мотыльком!  
Как будто до смерти нуждался  
в рождении – только в таком!

Его лишь запомнило сердце,  
а всё, что потом, – ерунда!..  
Так нежно и жалобно в Меце  
журчала в канавках вода...

## Владимир Жаботинский\* СИОНИЗМ И ПАЛЕСТИНА

### СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. О ТЕРРИТОРИАЛИЗМЕ<sup>1</sup>

В 10-м выпуске одесского сборника-журнала «Вопросы общественной жизни» помещена статья г-на М. Г-штейна «Спорные пункты в сионистской программе». Это – голос очень трезвого и очень прямодушного территориалиста<sup>2</sup>, который откровенно заявляет, что теория временного *Nachtsyl*<sup>3</sup> есть только позолота горькой пилюли, пустая фраза, лишенная всякого реального значения. «Ведь каждому ясно, – говорит г-н Г-штейн, – что реализация английского предложения представляет собой такую гигантскую задачу, которая должна надолго отвлечь все сионистские силы от работы для Палестины. Создание автономного государства в Африке – это долгий исторический процесс, в течение которого Палестина заселится другими народами, и тогда евреям придется довольствоваться лишь одной платонической мечтой о родном Сионе». А в другом месте сказано: «Агитируя за территорию, необходимо выдвигать ее не как паллиатив или *Nachtsyl*, потому что утверждать это – значит умышленно или бессознательно вводить массу в заблуждение. Нужно решительно и категорически заявлять, что принятие предложения, аналогичного английскому, совершенно изменяет базельскую программу». Все эти признания в устах территориалиста, конечно, очень ценны, так как худшее, самое прискорбное, что было на 6-м конгрессе, это – именно неправда, будто бы евреи могут создать два государства вместо одного, – неправда, которой никто из повторявших ее не мог верить. Эта неправда была особенно тяжела потому, что свидетельствовала о недостаточном уважении к конгрессу со стороны если не наших руководителей, то их красноречивых оруженосцев, и в то же время невольно подорвала и наше уважение к ним. Дорожа своим престижем, наши руководители, конечно, никогда больше не допустят таких неудачных уловок.

Г-н Г-штейн не хочет уловок и ведет дело начистоту. Он говорит, что Палестина, пожалуй, *caeteris paribus*<sup>4</sup>, «скорее всякой другой страны могла бы сделаться национальным центром, притягивающим к себе взоры всего еврейства диаспоры. Но таким центром *может* сделаться

---

\* Статьи планируются к публикации в четвертом томе «Полного собрания сочинений» Владимира (Зезва) Жаботинского, который готовится к выходу в свет осенью этого года. Редакция благодарит за предоставленные материалы инициатора, составителя и главного редактора издания Феликса Дектора.

<sup>1</sup> «Еврейская жизнь», № 2, февраль, 1904; № 1, январь, 1905

<sup>2</sup> Территориалист – здесь: сторонник создания автономного поселения на любой территории с еврейским большинством.

<sup>3</sup> Прибежище на ночь, ночной приют; ночлежка (нем.).

<sup>4</sup> При прочих равных [условиях] (лат.).

*и другая страна, в которой евреи будут жить свободной политической жизнью, где, освобожденная из под гнета, автономно проявится их национальная индивидуальность, широко и всесторонне разовьется национальная культура».*

Подчеркнув таким образом открыто и без прикрас коренное несходство между территориалистами и палестинцами в самом идеале, г-н Г-штейн так же трезво и бесстрашно указывает на принципиальные разногласия в тактике. Сионисты-палестинцы, говорит он, видимо, начинают тяготеть к старому палестинофильству. А вернуться к тактике Ховевей-Цион значит изменить политическому сионизму, ибо политический сионизм требует прежде всего гарантий, то есть чартера, и только потом уже допускает массовое заселение страны, тогда как палестинофильский метод, который г-н Г-штейн называет «мелким» и «жалким», согласен обойтись и без чартера, лишь бы ежегодно водворять в Палестине по несколько десятков новых еврейских семейств. Такая программа не сулит массам близкого спасения от *Judennoth*<sup>5</sup>, а потому массы к ней не примкнут, а крупное политическое движение под этим флагом невозможно. И настоящий политический сионизм должен тщательно ограничить себя от палестинофильски настроенных элементов. Вместе работать нельзя, и г-н Г-штейн твердо заявляет, что все эти наболевшие вопросы о коренных разногласиях должны быть ясно и определенно решены будущим конгрессом. «Это необходимо сделать, – говорит он, – даже если бы такая резкая и определенная постановка вопроса грозила расколоть организацию».

Эта статья, без сомнения, выражает настроение сионистских групп. Она доказывает, что связь народа с Палестиной сознается многими нашими представителями интеллигенции очень смутно, что влечение к древней родине есть, в глазах их, просто красивая прихоть, с которой, при нужде, можно и не считаться. Все это, пожалуй, наша вина. В сионистской литературе действительно меньше всего разработан вопрос о том, почему Св[ятая] земля является и должна быть краеугольным камнем нашего возрождения. Пора тем из нас, которые сознают ясно и твердо современную неразделимость сионизма и Палестины, вслух обосновать и формулировать это сознание. Течение, стремящееся сорвать с нашего герба надпись «Сион» и начертать вместо нее девиз: «Куда глаза глядят», орудует, бесспорно, весьма обдуманно и логическими доводами и в то же время настаивает, что мы в нашей приверженности к Палестине руководствуемся моментами сомнительной ценности: чувством, настроением, «историческим романтизмом». Пора выяснить, что связь сионизма и Сиона есть для нас не только неистребимо сильный инстинкт, но также и пробный, законный вывод строго позитивного размышления.

Движение может быть народным и жизнеспособным только тогда, когда оно точно соответствует народной воле. В большие поворотные исторические моменты массы бывают одушевлены одним основным желанием. У разных лиц под влиянием разных внешних давлений это желание может выражаться в разных формах, часто в исковерканном,

<sup>5</sup> Гонения на евреев (нем.; термин М. Нордау).

нечистом виде, с посторонними примесями. Но если извлечь из всей этой разноголосицы общее для всех ядро, то оно и выразит для данной эпохи истинную формулу народной воли. И для этого, чтобы данное движение было в полном смысле слова движением народа, необходимо, чтобы в основу его легла эта очищенная формула народной воли. Если идеал движения хоть немного несроден этой формуле, движение скоро или потеряет почву, каков бы ни был временно его внешний успех, или подчинится стихии и изменит свое направление, ибо стихийная масса может иметь во всякую данную эпоху только одну основную массовую волю, созданную силой вещей, и никто не властен изменить эту волю, как не властен разрушить силу вещей. Против этого положения не станет, без сомнения, спорить ни один человек, усвоивший достаточно современное научное мировоззрение и понимающий, что историю делают не вымыслы и замыслы вожаков, а стихийные процессы, независимые от нас и непосредственно влияющие на образование массовой народной воли.

Спор вызывается не сущностью этого положения, а только применением его. Действительно, как познать настоящую народную волю, ее очищенную, беспримесную суть? Кто скажет нам формулу народной воли, кто выразит точными словами, чего именно желает народ своим массовым безошибочным инстинктом? Проще всего – спросить у самого народа, но ведь это не очень легко. Иногда это невозможно, потому что массы состоят из непросвещенных личностей, которые могут быть менее всего способны точно разобраться в своих желаниях, отделить в них вечные основные элементы от мимолетных и наносных, обнажить истинную формулу народной воли.

На 6-м конгрессе кто-то выразился, что массы подобны больному, который не может сам знать, какое лекарство ему нужно, и вокруг этой фразы пошли теперь страстные споры. Многие настаивают, что высказывать такие взгляды – значит проповедовать неуважение или даже пренебрежение к народной воле. Мне кажется, что этот взгляд ничуть не колеблет громадного всерешающего значения народной воли: он только указывает на то, что народная воля иногда лежит глубже народного крика. Так бывает с человеком, у которого бельмо на глазах: искусный врач удаляет бельмо и запирает больного на два дня в темную комнату, с повязкой на глазах. И тогда больной может возмутиться и закричать: я хочу света, выпусти меня из темной комнаты! Но врач знает, что это только крик, а не истинная воля больного человека; ибо истинная воля всего его организма требует в эту минуту, чтобы слепцу вернули свет не на одно мгновение, после которого отвыкшие глаза опять ослепнут, а навсегда. И если врач, наперекор крикам больного, насильно держит его в темной комнате, пока не наступит момент полного возвращения к свету, то не значит ли это, что врач повиновался истинной органической воле своего больного?

Истинная формула народной воли не выясняется из того, что народ кричит. Иногда он кричит: «Хлеба и зрелищ!», между тем как бессознательно желает света новой религии. Зерно народной воли не обнаруживается из официального подсчета голосов. Есть только три формы обнаружения чистой воли народа. Во-первых – исторический процесс.

Он всегда подчиняется истинной воле масс, потому что только этой волей, рожденной в силу вещей в строгом соответствии со стихийными потребностями момента, только этой волей он и совершается, и отмечает, и отбрасывает своеобразным естественным подбором все то, что не совпадает с чистой волей масс. То, что диктуется волей масс, рано или поздно победит. Так раскрывается суть народной воли в самом ходе истории, и, изучая с этой точки зрения летопись наших дней, потомки могут познать истинную волю современных нам масс. Второе откровение народной воли – это чутье гениального современника. Возникают иногда из среды народа особенные люди, одаренные сверхобычной чуткостью, которой нет у других смертных; все заветное, что осколками разбросано в душе миллионов, в душе такого человека собрано воедино, спаяно в один слиток, и тогда бог народа говорит его устами и творит его рукой, и он будет избранным вождем массы с правом осуществлять ее истинную стихийную волю, хотя бы даже наперекор ее неосмысленному крику. Счастливы те народы, которым судьба дарит в надлежащее время такого предводителя.

Но есть третий способ обнаружить истинную волю народа. Он не так точен, как первые два, зато он доступнее. Этот способ – вдумчивое изучение истории народа. Прошлое прокладывает стальные рельсы для будущего: если поезд какого бы то ни было движения сойдет с этих рельсов, он потерпит крушение. Всякое новое течение в народной жизни должно быть в строгой преемственной связи со всем его прошлым; если под многообразными событиями, составляющими историю данного народа, всюду красными нитями проходят одни и те же основные стимулы, то и в новом течении должны непременно и неприкосновенно проявиться те же стимулы, иначе под новым движением нет стойкой почвы. Вдумчиво изучая прошлое, мы можем подметить такие красные нити, выяснить основные стимулы народа; мы постигнем их тем точнее, чем вдумчивее и беспристрастнее будем изучать. И тогда, познав насколько это нам удастся, главные девизы народной воли, неизменно проявившиеся в разнообразных событиях национальной истории, мы ясно увидим, соответствует ли содержание нового движения этим незыблемым девизам, то есть вытекает ли оно преемственно из предыдущего исторического процесса или хочет уклониться от предначертанного прошлым пути и сорваться с его рельсов. И отделив таким анализом те элементы народного движения, которые стихийно возникли как естественное развитие и последствие всех предшествовавших процессов, от тех элементов, которые извне нанесены давлением часто мимолетных обстоятельств, мы получили право с большей или меньшей точностью признать, что вторая категория будет рано или поздно отмечена самой историей как не имеющая корня в народной воле, тогда как первая категория и составляет для данной эпохи истинную формулу народной воли – ту формулу, которой суждено осуществиться и победить.

Вдумаемся в историю еврейского рассеяния и попытаемся раскрыть основной стимул нашей жизнедеятельности за этот огромный период.

Это вовсе не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что хотя история галута очень запутана и разбита

на множество отдельных кусков — по числу стран, где мы прятались, — но история галута далеко не является историей *нашей* жизнедеятельности. В жаргонной печати появилась в прошлом году небольшая статья г-на Иошуа Равницкого «Macht allein aiere geschichte»<sup>6</sup>, где настолько же остроумно, сколько и верно указано, что история еврейского галута повествует не о том, что делали сами евреи, а о том, что с ними делали другие. В таком-то году Испания нас выгнала, в таком-то году папы заперли нас в гетто, в таком-то году Франция дала нам равноправие. Чужие руки строили нашу историю, мы же являлись только воспринимающей, пассивной стороной. Поэтому, как богата ни была бы история нашего скитания, *наша* собственная жизнедеятельность тут ровно ни при чем. Делали многое и разнообразное над нами другие, мы же только принимали и расписывались в получении. Очень трудно установить единство в сложной истории любого другого народа, жизнедеятельность которого многообразно проявлялась и в войнах, и во внутренних переворотах, и в экспансивной колонизации; но история нашего галута в этом смысле удивительно проста и представляет вечное продолжение одного и того же мотива. Чтобы в ней установить единство, нет нужды прибегать к тонкостям сложного анализа: достаточно окинуть с птичьего полета одним внимательным взглядом всю равнину нашего рассеяния, и общая картина сразу станет ясна. Там и сям разбросаны кучки евреев, окруженные многочисленными сонмищами иноплеменников. Иноплеменники настроены враждебно и дают это чувствовать; в основании этой вражды лежит непременно какое-нибудь требование — явное или скрытое, сознательное или бессознательное, справедливое или несправедливое, которое одни по праву сильного предъявляют другим, подкрепляя свою настойчивость гнетом. Евреи молчаливо терпят, но, очевидно, не уступают, не соглашаются на требование, потому что вражда к ним не убывает, а только меняет форму. И так оно идет из века в век настолько однообразно и монотонно, что в конце концов отдельные группы как бы сливаются и получается одна общая картина: тесная кучка людей, на которую раздраженно наступают со всех сторон многочисленные недруги, очевидно добиваясь *чего-то*; маленькая кучка не поддается и, по-видимому, предпочитает хроническое мученичество, лишь бы что-то сохранить, *чего-то* не выдать врагу. Что же, в таком случае, дорого этой кучке людей? Как назвать это *что-то*, ради которого они согласны терпеть хроническое мученичество? Если история галута есть оборона кучки людей, то что же это за святыня, которую они так упорно обороняли и любовь к которой есть, очевидно, основной стимул всей истории безземельного народа?

На этот вопрос готов ходячий ответ: святыней была религия. Еврейский народ отстаивал свою Тору и страдал за Тору. Иноплеменники требовали, чтобы он отказался от Торы, а он не хотел. История галута есть летопись нашей борьбы за свое вероучение.

Добрая половина всех ходячих мнений страдает обыкновенно если не легкомысленностью, то недостатком глубины. В данном случае перед нами типичное ходячее мнение, скороспелое и поверхностное.

<sup>6</sup> Делайте сами свою историю (*идиши*).

Прежде всего бросается в глаза одна странность: ведь религия, как и всякая другая идеология, подчинена закону эволюции. В течение двух тысячелетий совершилось много общественных перемен, которых евреи были свидетелями; на глазах у них открывались новые страны, совершенствовалась техника, разрасталось в глубину и ширину естествознание; из их среды сплошь и рядом выходили врачи, постигавшие тайну науки, и банкиры, имевшие сношения с заморскими странами. Все это *должно было* расширить кругозор народа, особенно столь восприимчивого народа, и *должно было* вызвать известное брожение и в религиозной области, пробудить некоторые попытки, хотя бы робкие новшества. Христианство за этот период успело несколько раз дифференцироваться. То же самое естественно *должно было* произойти и с иудаизмом. *Должно было* – но не произошло. Факт бесспорно установленный, что с первого дня галута прекращается внутренний прогресс иудаизма как религии. Это тем более резко бросается в глаза, что до рассеяния замечалось нечто совершенно обратное: замечались попытки постоянного религиозно-этического творчества, прорывались новые слова. Все это жизненное движение сразу обрывается в момент потери национального отечества. Религиозное «творчество» галута все сводится к бесплодному толкованию толкований на толкования. Замечается даже сильный регресс: до изгнания были попытки, так сказать, либерального истолкования закона, отступления от буквы; после изгнания мелочные ограничительные постановления умножаются до невероятных пределов, преданность букве учения становится главной заботой религиозной мысли. Ни соприкосновения с внешним миром, ни обогащение высших классов, ни сравнительно частое приобщение евреев к свету положительной науки, – ничто не отзывается даже малейшей зыбью к этой стоячей воде. Иудаизм не прогрессирует, иудаизм не подчиняется закону эволюции. С тех пор как еврейский народ потерял свою землю, иудаизм перестал изменяться, развиваться и совершенствоваться. Он застыл на той своей ступени, на которой его застал разразившийся гром обезземеления. Еврейская религиозно-этическая мысль, до того усиленно создававшая новые ценности, которые подготовили возникновение христианства, с этого момента всецело устремляется на охранение старого религиозного багажа и ограждение его от каких бы то ни было новых элементов. До галута еврей холил свое религиозное сознание, как цветок, который поливают водой, чтобы он рос в высоту и в ширину; с первого дня галута еврей лишил этот цветок воздуха и воды, не давая ему расти, засушил цветок и мертвым зашил его в заветную ладанку, мертвым, лишь бы только не дать ему измениться!

Что же это значит? Разве так поступают со святыней, ради которой приносятся веками тяжелые жертвы? Если, например, мать готова на всякие муки за своего ребенка, то ведь это не для того, чтобы навеки сохранить его маленьким и неосмысленным, а для того, чтобы дать ему возможность развиваться и расти. Она не отдает его недругам, ибо она его кормит и с радостью на скорбном лице видит, как дитя увеличивается в весе и учится новым словам. Но если мать сама, бессознательно нарочно, остановила рост младенца и, быть может, задушила его, чтобы остановить рост, – и все-таки веками стоит над

маленьким трупом, терпит муки и гонения, все же не хочет отдать мертвое тельце, тогда есть только одна разгадка ее странному образу действий: это мертвое тельце, вероятно, не есть сама святыня, а только оболочка или ограда святыни.

Так омертвел иудаизм, ибо то, что не развивается, равно и подобно мертвому, даже если в глубине скрыта искра жизни. Так омертвел до-толе живой и жизнеспособный иудаизм, когда Израиль стал безземельным народом и начал свой подвиг дважды тысячелетнего мученичества за свою святыню. Если бы этой святыней был иудаизм, то народ поливал бы его живой водой и радовался бы его росту и развитию, как было до рассеяния. Но если народ добровольно заковал свое религиозное сознание в насильственные рамки, засушил его до степени полной окаменелости, сделал из живой религии как бы набальзамированный труп религии, то ясно, что не в религии была святыня, а в чем-то другом, чему эта мумия должна была служить оболочкой и оградой.

Я позволяю себе отослать читателя к брошюре М. М. Марголина «Основные течения в истории еврейского народа» (СПб, 1900), где очень обстоятельно и основательно разработан вопрос о том, является ли та постоянная оборона, которую вели и ведут евреи в изгнании, обороной религии, или религия только прикрывала и охраняла что-то другое. Указав на зарождение, рядом со школами Гилеля и Шамаа, третьего течения («универсального»), которое позднее приняло форму христианства, г-н Марголин говорит: «Едва ли можно сомневаться в том, что если бы над евреями не разразилась политическая катастрофа, если бы они сохранили свою национальную организацию в Палестине, то развитие универсального течения пошло бы иными путями, и так как национальному существованию евреев не угрожала бы никакая опасность, то к новому универсальному течению примкнул бы весь народ еврейский...» (с. 21). Иными словами, эволюция от мизантропии к профетизму и к дальнейшим стадиям иудейского религиозно-этического миропонимания совершалась бы в еврействе безостановочно своим естественным путем. Но *«ввиду крушения еврейской политической организации, национальная самозащита могла быть сделана только на почве религиозной»* (курсив автора). Для сохранения своего национального целого не было других средств, как замкнуться в себе, оградиться системой мелочных и антисоциальных запретов...»

Не религия, а *национальная индивидуальность* является той святыней, которую наш народ так упорно отстаивал и отстаивает. Для всякой народности, живущей в нормальных условиях, охраной и оградой ее национальной личности является национальная территория и национальная организация. Израиль лишился того и другого, тогда инстинкт национального самосохранения цепко ухватился за единственное, что могло сыграть роль непроницаемой стены между еврейством и другими племенами и в то же время послужить скрепляющим цементом внутри самого еврейства: за религию – и притом непременно уснащенную всякого рода ограничительными толкованиями. Инстинктом национального самосохранения народ почувствовал, что до тех пор, пока Израиль не только верит в своего Бога и молится в своих храмах, но и почти во всех других проявлениях жизни сторонится

иноплеменника, до тех пор национальная индивидуальность спасена от растворения в племенах земли. Почва, по которой мы ходим, должна быть неподвижна: землетрясение нас ужасает; поэтому, когда религия заменила нам землю, мы прежде всего сделали эту религию неподвижной. Мы превратили ее в мумию или даже растолкли и растерли в мелкий порошок, которым, как камфарой, осыпали свое сокровище – национальную индивидуальность, чтобы ее уберечь...

Все это не умаляет внутренней ценности иудаизма. Напротив, чтобы религия одна в течение стольких веков могла успешно заменить национальную территорию и национальную организацию – это должна быть поистине великая религия, богатая семенами вечной правды. Но все-таки в нашем галуте Тора сыграла роль не самого палладиума, а только его защитницы. И в высшей степени любопытно то, что именно теперь, когда религиозная вера отцов вымирает и передовое еврейство, таким образом, теряет ту броню иудаизма, которая в дедах наших ограждала их национальную индивидуальность от смешения с чужеродными элементами, – именно теперь мы начинаем громко добиваться и национальной территории, и национальной организации, то есть как раз того, суррогатом чего служила до последнего времени религия. Это знаменательное совпадение окончательно подтверждает то, что нам и требовалось доказать: *основным стимулом всей исторической жизнедеятельности безземельного Израиля было отстаивание национальной индивидуальности*. Следовательно, и теперь только то национально-еврейское движение может стать истинно народным движением и привести к победе, которое в основу своей программы поставит, без урезок и отклонений, ту же цель: обеспечить неприкосновенность еврейской национальной индивидуальности.

Мы подошли к главному спорному пункту. Что такое еврейская национальная индивидуальность?

Был целый период – теперь он, кажется, начинает проходить, – когда слово и понятие «раса» считалось совершенно лишены основания в науке. Существования племенных особенностей нельзя было отрицать за их явной очевидностью, но признавалось, что они являются отпечатками своеобразно сложившихся исторических судеб и только, а расы не причем. Выходило почти так, что если бы по воле судьбы смены социальных отношений у эскимосов и у нубийцев с незапамятных времен и до наших дней были всегда совершенно параллельны, то нубийцы и эскимосы ничем бы не отличались теперь друг от друга и даже, пожалуй, говорили бы на одном языке... Конечно, это пример карикатурный, но и в своем настоящем, не шаржированном виде такой взгляд – еще далеко не вымерший – не может совершенно претендовать на какую бы то ни было серьезную состоятельность. И физическая, и психическая природа человека – все это такие чуткие и тонкие аппараты, на которых не может не отражаться малейшее различие в окружающей естественной среде. *Немыслимо*, чтобы гористый горизонт не положил своеобразного отпечатка на психику человека, выросшего среди гор, по сравнению с психикой уроженца равнины. Так во всем, и, несомненно, если даже вся разница между двумя местностями, сходными по устройству поверхности и т. п., сводилась бы к

двум-трем градусам средней годовой температуры, то такое маленькое различие за период нескольких поколений при отсутствии взаимного смешения крови создало бы некоторое соответствующее различие между типичными представителями обеих местностей. Этот особый отпечаток мог бы даже быть неуловим для нашего глаза, но это доказывало бы только несовершенство нашего глазного аппарата. Все это давно и прекрасно выяснено еще у Бокля, и только близорукая односторонность может упускать из виду или отрицать великое влияние естественных факторов на физическую и психическую природу человека – влияние, вырабатывающее отдельные расы.

Вполне понятно, почему в ту эпоху, когда вырабатывалось материалистическое понимание истории, о расовых различиях забыли. Дело в том, что сумма естественных факторов данной местности, то есть та среда, которая, влияя в течение веков, вырабатывает расу, – эта сумма с течением времени почти не меняется. Конечно, возможны некоторые изменения в устройстве поверхности или температуре, но они всегда так незначительны и так незаметно медленны, что естественную среду, а следовательно, и расу можно принять за постоянную неизменяющуюся величину, исключая, конечно, случаи переселения или смешения с инородцами. По сравнению с этой неподвижностью естественных факторов, факторы социальные сменяются с головокружительной быстротой. Каждая смена их, конечно, отзывается так или иначе на организме и психике современников, и эти отражения социальных влияний так быстро следуют одно за другим, что невольно бросаются в глаза и заставляют забыть о неподвижном и потому незаметном расовом фоне, на котором они более или менее ярко, но все же поверхностно отпечатываются. Это можно сравнить с экраном, на который из волшебного фонаря бросают, быстро сменяя, то красные, то зеленые, то голубые лучи, так что зритель забывает, в конце концов, что цветное освещение – это только внешняя мимолетная окраска, а экран есть нечто самостоятельное, независимое, обладающее своими неизменными свойствами и даже придающее свой особенный оттенок цветным лучам, которые падают на его поверхность... Иными словами, острое влияние сменяющихся социальных факторов на человеческий организм и психику гораздо ярче и заметнее, но далеко не так глубоко и невытравимо, как медленное, постоянное, ни на миг не прекращающееся давление естественной среды – родного ландшафта, родного климата, родной растительности, родного ветра. Психика племени создается только естественными факторами; факторы социальные привносят в нее лишь одни второстепенные черты, которые легко стираются под давлением новых социальных условий. Тем, кто были рабами, дайте три поколения полной свободы – в их психике исчезнут всякие следы рабства, но никакие социальные перемены – если не будет смешения с чужой кровью – не вытравят пытливого духа предприимчивости из племени, рожденного на берегу моря, и не истребят в расе, выросшей на беспредельной равнине, влечения к удали и размаху. Но, конечно, та школа, которой предстояла задача дать истории материалистическое объяснение, имела право игнорировать влияние естественной среды и роль расы. Этой школе просто не было дела до

племенной психики и ее различий: эта школа должна была доказать, что пружины истории лежат в экономических отношениях; и задача эта была так трудна, по пути предстояло опрокинуть столько увесистых предрассудков, что Маркс поистине имел полное право устремить все свое внимание на социальные факторы и закрыть глаза на расовые. Тем более что последние, в самом деле, играют гораздо менее видную роль в истории, чем первые. Борьба интересов, которая главным образом и создает историю, возникает почти всегда на экономической почве, а не на племенной, хотя иногда и прикрывается румянами расовой вражды. Может быть, единственный случай, когда расовый момент в чистом виде вмещивается в историю как непосредственный фактор, – и есть случай безземельного народа Израиля, именно в силу этой аномалии безземельности. Обыкновенно же в истории нормально развившихся народов племенные особенности данной нации только до некоторой степени определяли ее тактику в случае тех или иных событий, но эти события были порождениями обыкновенных экономических процессов. Таким образом, было бы грешно упрекать школу исторического материализма за то, что она, занятая своей главной задачей, вычеркнула понятие расы из своего кругозора.

Мы задали себе вопрос: что такое еврейская национальная индивидуальность, что, собственно, понимаем мы под словом «настоящий еврей» в те редкие минуты, когда произносим это слово не со стыдом, а с гордостью. Есть ли это тот тип еврея, который мы встречали на каждом шагу вокруг себя? Всякий понимает, что нет, так как на этом современном еврее осело и даже въелось в него много осадков долгого нахлебничества под чужими кровлями, а ведь мы доискиваемся именно того беспримесного зерна национальной индивидуальности, которое как раз и хотел народ уберечь от этих самых осадков нахлебничества. Если мы с первого дня галута стараемся ревниво охранить какую-то сущность от всяких влияний галута, то ведь ясно, что эта сущность не может быть хотя бы даже отчасти порождением галута. Конечно, охрана не могла быть совершенно удачной, и галут порядком захватал и запятнал эту сущность своими грязными пальцами, но ведь не эта грязь, не эти наслоения, не эти, так сказать, синяки от чужих ударов на лице нашем были той святыней, которую мы ценой страданий оберегали от растворения в чужеродной среде. Святыней, ревниво оберегаемой от влияний галута, могло быть только нечто такое, что создалось *раньше галута*, что мы *уже готовым* принесли с собой в страны рассеяния и твердо решили сохранить неприкосновенным. То зерно национальной индивидуальности, которое мы инстинктивно подразумеваем, когда не со стыдом, а с гордостью произносим слово «еврей», рождено не в изгнании, а до изгнания. Следовательно – в Палестине. Все, что осело на теле и на душе у нас за века рассеяния, не может быть включено в нашу национальную индивидуальность, подобно тому, как рубец от раны или красный след от пощечины не могут быть признаны за черты физиономии. Все новые черты, которые мы, быть может, приобрели после разлуки с Сионом, – все это чужеродные, нееврейские наслоения. Истинное зерно еврейской национальной индивидуальности является созданием чисто палестинским.

До Палестины мы не были народом и не существовали. На почве Палестины возникло, из осколков разных племен, еврейское племя. Почва Палестины взрастила нас, сделала гражданами; создавая религию единого Бога, мы вдыхали ветер Палестины и, борясь за независимость и гегемонию, дышали ее воздухом и питались злаками, рожденными из ее почвы. В Палестине выросли идеологии наших пророков и прозвучала «Песнь песней». Все, что есть в нас еврейского, дано нам Палестиной; все остальное, что в нас имеется, не есть еврейское. Еврейство и Палестина – одно и то же. Там мы родились как нация и там созрели. И когда буря выбросила нас из Палестины, мы не могли расти дальше, как не может расти дальше дерево, вырванное из земли. И вся наша жизнедеятельность свелась к охране той нашей индивидуальности, которую создала Палестина. И таким образом вот, наконец, в своей окончательной форме, тот основной стимул всей истории нашего галута, стимул, из которого мы хотим познать истинную формулу народной воли: охрана и отстаивание нашей национальной, то есть *чисто и исключительно палестинской, индивидуальности*. И следовательно, делая строго логический вывод из всего того, что раньше говорилось, только то национально-еврейское движение будет истинно народным, которое поставит себе целью обеспечить неприкосновенное развитие нашей *палестинской* национальной индивидуальности.

Но неприкосновенное развитие *палестинской* индивидуальности мыслимо только на той почве и в той природной среде, которые некогда создали эту индивидуальность. Другой климат, другая флора, другие горы не могут не исковеркать организма и психики, созданных климатом, флорой и горами Палестины, ибо расовый организм и расовая психика суть только порождения определенного сочетания естественных факторов, и пересадить расовую индивидуальность в другую естественную среду – значит обречь ее на переделку под чужой лад. «Может быть, переделка послужила бы к лучшему?» – ответят иные. Может быть. Но это безразлично. Мы можем вести народ только по тому направлению, точно и неуклонно, куда угодно идти его стихийной воле. И изучая стихийную волю безземельного Израиля, мы нашли, что главным стимулом ее всегда неизменно была охрана еврейской национальной индивидуальности – сущности *чисто и исключительно палестинской*, и таким образом пришли к выводу, что единственный путь, по которому может направиться истинно народное национально-еврейское движение, есть тот, который приведет к наибольшему обеспечению неприкосновенности этой *палестинской* индивидуальности; и так как неприкосновенно-своеобразное развитие *палестинской* индивидуальности органически немислимо вне Палестины, то путь народного движения может вести только в Палестину, во что бы то ни стало.

Г-н Г-штейн говорит: «Свободное и всестороннее развитие всякой нации обуславливается степенью ее национального самоопределения. Такое самоопределение возможно тогда, когда нация, составляя на собственной территории политическое большинство, управляется автономно, то есть когда ее развитие определяется не интересами и судьбой господствующей, подчас совершенно несходной с ней, народности, а ее собственными национальными потребностями и присущей ей

национальной психикой...» Пусть г-н Г-штейн поселит, на началах самой полной автономии, колонию итальянцев в Канаде; много ли через триста лет в них останется итальянского? Чужая земля всегда чужая земля, даже при полной свободе самоопределения.

А теперь еще два слова о палестинофильской тактике и об измене политическому сионизму. Здесь опять перед нами та наша праздная склонность к пререканиям, о которой мы уже беседовали мимоходом в январской книжке. Почему-то каждому взводу в нашем лагере кажется, что он сам не может спокойно маршировать, пока не переколотит на смерть все инакомарширующие взводы. Всякая попытка своеобразной тактики сейчас же клеймится именем «измены». Культура есть «измена» фонду, привлечение мизрахов – «измена» культуре, и так далее. Я опять настаиваю, что вся эта любовь к взаимному критиканству непосредственно вытекает из склонности к безделью, ибо под шум громов легче увильнуть от настоящей работы. И настаиваю, что имени настоящей работы достойна только работа положительная и созидательная: ежели ты за культуру, то учреждай национальные школы и выпускай учебники; ежели ты за чистую политику, то устраивай вечеринки в пользу фонда, вербуй шекедательей и укрепляй организацию; и тогда вы не только не будете мешать друг другу, но даже будете друг друга дополнять и вместе, с разных сторон, подвигать вперед наше общее дело. А взаимные обвинения в «измене», постоянное старание схватить соседа за шиворот и выкинуть вон из лагеря – вся эта шумиха велеречивых указаний на «непримиримые разногласия» – не есть работа, а развлечение и безделье – самое нехорошее безделье. Ценность партии или фракции познается не в том, сколько неприятностей наговорит она другим фракциям, а в том, сколько положительного создает она в духе собственной программы.

Да простит меня г-н Г-штейн, но его нападки на тактику «палестинофилов» кажутся мне совершенно несерьезными. Сказать, как это часто делают критиканы, что метод заселения понемногу «противоречит» методу заселения *en grand*<sup>7</sup>, – значит, собственно, ничего не сказать. Если нам с г-ном Г-штейном понадобится выпрямить свернутую проволоку, то мы поступим так: он возьмется за один конец, а я за противоположный; он будет тянуть, скажем, на север, а я совсем напротив. При этом, несомненно, его тактика будет резко «противоречить» моей – но, тем не менее, обе прекрасно уживаются и ведут к одной цели. Это так ясно, так часто подтверждается на каждом шагу в обыденной жизни, что прямо-таки непостижимо, как могут толковые люди, вроде г-на Г-штейна, говорить о «непримиримости» одного метода с другим. Откуда они взяли эту непримиримость?

Впрочем, было откуда взять. В известном письме Герцля к Усышкину имелся один любопытный довод: если бы, мол, Усышкин скупил понемногу весь Екатеринослав, то все-таки ведь Екатеринослав принадлежал бы не Усышкину, а России. Герцль настолько умный человек, что ему, когда он написал эту фразу, самому, без сомнения, пришло в голову возражение: да, Екатеринослав будет принадлежать России, но

<sup>7</sup> Здесь: в крупных размерах (*фр.*).

Усышкин будет тогда пользоваться огромным влиянием в Екатеринославе, что, собственно, и требуется... Это возражение, конечно, пришло в голову Герцлю, и он оставил свою фразу, очевидно, только ради красоты слога. Наши почитаемые руководители – замечу в скобках – часто проявляют эту любовь к стилистике: Макс Нордау, например, на последнем конгрессе, ратуя за ночлежный приют, выразился так: «Вы говорите, что вам дорого еврейство, а не евреи. При таких понятиях вам место не на базельском конгрессе, а в спиритическом сеансе!» Если бы мы хоть на миг поверили, что эти слова действительно выражают убеждения г-на Нордау, нам пришлось бы ответить ему: кому дороги евреи, а не еврейство, тому место в заседании благотворительного общества, а не на конгрессе возрождения... Мы этого, однако, не скажем, так как ясно видим, что фраза была выпущена ради красоты слога и не может идти в счет. Но те мысли, которые для самих авторов являются только риторическими украшениями, тем менее должны превращаться в символ веры для других людей. Обмолвка на Герцля в письме, написанном в минуту справедливого раздражения, не может стать девизом для руководства сионистских работников.

Будем учиться у Англии, которая, несомненно, очень опытна в искусстве захвата земли. Когда ей понравится чужая область, Англия прежде всего наводняет ее своими людьми: техниками, торговцами, агрономами, учителями и даже колонистами. Англия, прежде всего старается мало-помалу приобрести влияние среди местного населения. Это, так сказать, ее «палестинофильство». А затем – Англия выжидает, пока созреет момент, когда при помощи искусного дипломатического хода или политического акта можно будет и окончательно захватить область в свои руки. Это, так сказать, ее «политический сионизм». Одно другому не мешает, одно только подготавливает и помогает другому.

Не со вчерашнего дня все настойчивее раздаются голоса о необходимости немедленной работы в Палестине. Там теперь на 600 тысяч населения – 60 тысяч евреев. Если бы это были в большинстве не попрошайки, а грамотные, толковые и самостоятельные работники, они и теперь бы пользовались преобладающим влиянием среди остального населения.

В Палестине нужны школы и мастерские, чтобы тамошние евреи поголовно стали развитыми и самостоятельными работниками.

Светская культура распространяется все шире, и рано или поздно она должна будет коснуться и палестинских инородцев – арабов и других. Пусть это сделают евреи, а не германцы и не французы. Евреи должны стать учителями туземных инородцев; это – лучшее средство укрепить свое влияние в стране.

Палестины рано или поздно коснется процесс индустриализации. Фабрика дойдет и до Св[ятой] земли. Пусть это сделают евреи на еврейские капиталы. Тогда к Палестине будет привлечена часть той индустриальной эмиграции, которая теперь направляется в Америку и в Англию.

И надо покупать землю, чтобы ее не раскупили другие. Покупать землю, дешево или дорого, большими участками или малыми, но постоянно покупать и постоянно заселять. У какого-то писателя было на

стене начертано: каждый день хоть по строчке. У нас должно быть начертано: каждый день хоть по дунаму.

Для всего этого нужно снять запрещение евреям русско- и румынско-подданным селиться в Палестине. Отмены надо добиться во что бы то ни стало, и можно добиться. Известно, что запрет был вызван недо-разумением: он состоялся в начале 80-х годов, когда возникли слухи, будто приток переселенцев несет с собой какие-то заразные болезни. Надо хлопотать об отмене запрета, совершенно независимо от хлопот о публично-правовых гарантиях. Если этого не сделают наши официальные представители, это должны сделать другие сионисты.

Если все наше движение не есть игра взрослых людей, то скоро закипит живая работа в Палестине и для Палестины. Мы создадим стройную программу упрочения нашего влияния в нашей ирредентной земле и будем осуществлять эту программу день за днем, шаг за шагом, упорно и неотступно. Это не будет «мелкая» работа, как выражаются территориалисты, полагающие, как кажется, что сидеть у моря, грызться друг с другом и ждать, пока Герцль выхлопочет, – не жалко и не мелко. Я же полагаю, что живая работа для живой земли и на живой земле даст и нам оживление. Мы тогда во всякий миг будем чувствовать, что недаром живем, что энергия уходит на дело, а не в пустоту, и что каждый день нашими усилиями создается новая ступенька. За работой неохота будет пререкаться о выеденном яйце. Работа для Палестины воскресит в нас исконную органическую связь с дорогой маленькой родиной великого племени, и снова полюбят ее даже те из нас, которые ныне записались в чин не помнящих родства. Это единственный путь к объединению рассеянных элементов: ничто не может объединить, кроме живой работы над живым и родным сердцу делом. И пусть одновременно крепнет и наша сионистская организация вне Палестины, и пусть наши вожди по-прежнему подготавливают и стерегут минуту искусного заключительного дипломатического акта.

Если вдуматься, нам нечего винить себя за то, что до сих пор работы в Палестине почти не было. Это вполне понятно: нужно было раньше создать ту силу, которая могла бы уверенно взяться за огромное и трудное дело. Ведь против так называемой «мелкой» (?) колонизации часто выдвигается тот довод, что Ховевей-Цион работают на этом поприще вот уже двадцать лет, и им, однако, почти ничего не удалось. Да и не могло удаться, прибавим мы, и их неудача нисколько не может поколебать наши намерения. Напротив, она должна укрепит их. Часто видим мы, как возникают здесь и там газеты, иногда и недурные по направлению и содержанию, – возникают и через некоторое время погибают. А между тем существуют же газеты, приносящие миллионные доходы и составляющие даже «седьмую державу». И секрет успеха и неуспеха в том, с какими силами начато издание.

Если у издателя мало денег, то газета лопнет; чтобы создать большую газету, надо иметь большие средства. Если в газетном мире возможны иногда случайные исключения из этого правила, то по отношению к вопросу о сознательно организованном заселении целой страны никаких уклонений от этого закона быть не может: чтобы правильно вести огромное дело, нужны огромные силы. Тут не в одних деньгах

дело: тут необходимо и огромное влияние, и точная осведомленность, и вообще все те преимущества, которые могут быть даны только крупной политической организацией. Одесский комитет был очень симпатичным учреждением, но не был и не мог быть политической организацией; в его силах, поэтому, было создать десяток-другой колоний, но для систематического культурного завоевания страны по разносторонне составленному плану необходим крупный и влиятельный политический организм. Чтобы вполне владеть Индией, англичане создали не простое акционерное общество, хотя бы и с колоссальными денежными средствами, а Chartered Company – то есть политическую, почти государственную единицу. То же самое необходимо было и нам. И если мы на создание этой политической организации употребили только семь лет и даже забросили на это время всякую другую работу, то ведь это все-таки довольно скоро и доказывает с нашей стороны значительную способность творческого напряжения. Но теперь, когда учреждение, способное взять на себя и довести до конца огромное и сложное дело, уже готово, – пора начинать и само дело. И все это еще раз доказывает, что в нашем движении методы, «политический» и «палестинофильский», одинаково ценны, одинаково необходимы: второй *немыслим* без первого, первый неполон и неустойчив без второго, и предпочесть один в ущерб другому значит ослабить и подорвать наше дело.

Не знаю, убедил ли я кого-нибудь, но думаю, что одно мне удалось доказать: что наша вера в Палестину не есть слепое полумистическое чувство, а вывод из бесстрастного изучения всей сущности нашей истории и нашего движения. И после этого я охотно сознаюсь, что я, действительно, все-таки *верю*. Чем больше вдумываюсь, тем тверже верю. Это для меня, скорее, даже не вера, а нечто иное. Разве вы верите, что после февраля будет март? Вы это *знаете*, потому что иначе быть не может. Так неопровержимо для меня то, что в силу сочетания непреодолимых стихийных процессов Израиль стянется для возрождения к родной Палестине и мои дети или внуки там будут подавать голос в избирательном собрании. И если вы тоже хотите верить, то засучим рукава и будем стыдиться вечера, в который нам пришлось бы сказать: я не работал сегодня...

## СТАТЬЯ ВТОРАЯ

### I

Первая моя статья под этим заглавием встретила возражения с довольно неожиданной стороны. Отозвались на нее не угандисты и не территориалисты, а лица, к сионизму вовсе не причастные: обозреватель печати из «Хроники Восхода» в первом номере ее по возобновлении, и, еще в летние месяцы, г-н М. Г. Моргулис («О сионизме») в одесском журнале «Южные записки»). Я не ответил ни на ту, ни на другую, так как в заметке «Хроники Восхода» нет решительно никаких доводов, а доводы статьи г-на Моргулиса настолько слабы и дышат такой наивностью не от мира сего, что мне тут решительно не о чем и

не на что возражать. Единственное, ради чего могу призвать на эти два опыта мимолетное внимание читателя, есть та авторская психология, которая в обоих сквозит и которая, действительно, любопытна. Оба автора не хотят казаться ассимиляторами и потому должны доказать свое радение о дальнейшем преуспевании еврейской культуры. Отсюда неизбежно вытекает необходимость доказывать, что еврейский дух наиболее пышно развился не в Палестине, а в галуте. Для этого, конечно, превозвеличивается Талмуд, а Библия совершенно игнорируется. Приступив сравнительно недавно к изучению Талмуда, я самым почтительным образом удивляюсь глубине мудрости, заложенной в страницах этого памятника, но в то же время я вижу совершенно ясно, что весь он является только развитием вечных этических начал, данных Пятикнижием и пророками, то есть Палестиной, если только господа возражатели не разобьют меня наголову тем победоносным доводом, что Пятикнижие, по точному смыслу библейского сказания, написано еще в пустыне... В конце концов, даже странно было бы настаивать на таком бесспорном канонизированном общем месте, как то, что Талмуд есть обширное толкование к Библии, а Библия есть основа Талмуда. Я и не настаиваю, а только указываю мимоходом на психологию людей, которым приходится всячески выдвигать Раши и Рамбама и всячески затирать Моисея, пророков, Гилеля и ту форму, в которой этические начала иудаизма завоевали весь цивилизованный мир и которая тоже, грешным делом, возникла на почве Палестины. Все ради того, чтобы, с одной стороны, не спасовать по части национального самосознания, но, с другой стороны, не прегрешить по части сионизма. Как единственный вывод из этого скажу: тяжело сидеть между двумя стульями.

Должен еще заметить: из некоторых личных бесед я убедился, что в первой статье «Сионизм и Палестина» мне, очевидно, не удалось достаточно выяснить или, вернее, подчеркнуть основную свою точку зрения в ее приложении к политическому сионизму. Собеседники мои вынесли то впечатление, будто я доказываю, что евреи, как раса палестинская, могут вполне (то есть «вполне по-еврейски») развиваться только в Палестине, а потому всякий территориализм еретичен. Это не совсем так. Я, конечно, признаю, что полноценное национальное развитие палестинской расы возможно только в Палестине, но не этим чересчур отвлеченным и неосязательным доводом пытался я переубедить наших реально мыслящих территориалистов. Я говорил и говорю, что вся история галута субъективно сводится к охране нашей палестинской индивидуальности. Это не предрешает вопроса о том, насколько нам удалось или не удалось сохранить в неприкосновенности нашу палестинскую индивидуальность: это значит только, что охрана ее была центральным нервом, основной красной нитью, главным, так сказать, *рельсовым путем* нашей истории на всем протяжении галута. С того момента, как возник «еврейский вопрос», он бессознательно и естественно поставлен именно в этой форме: найти способ для сохранения еврейской палестинской индивидуальности. Следовательно, сионизм, если ему предстоит дать окончательное решение «еврейского вопроса», должен дать его непременно в этой же форме: найти лучший способ для сохранения и развития еврейской палестинской индивидуальности,

то есть переселить нас в Палестину. Без Палестины сионизм не то что «еретичен», а просто неосуществим, так как завершение нашего галута должно двинуться по тому же рельсовому пути, по которому двигался и весь исторический поезд галута: поезд, сошедший со своих рельс, неминуемо терпит крушение. Уганда в моих глазах не тем плоха, что из нее в конечном итоге выйдет не палестинско-еврейское, а угандо-еврейское государство: она тем плоха, что из нее в конечном итоге никакого государства не выйдет и не может выйти, ибо длительное массовое национальное напряжение («hachlata leumith<sup>8</sup>» Ахад-ха-Ама), необходимое для осуществления еврейского государства, может создаваться и поддерживаться только на почве того принципа во всей полноте, который является разгадкой всей нашей исторической национальной самообороны: гарантии сохранения палестинской индивидуальности. Такая гарантия, по указанным в первой статье естественно-антропологическим причинам, может быть связана только с Палестиной. Всякий другой проект, будь это Уганда, Конго или что угодно, не представляя этой гарантии, не может создать длительного массового национального напряжения и потому осужден вырождаться, в лучшем случае, в незначительное и совершенно неполитическое предприятие, вроде Аргентины.

Вот та мысль, которую в первой статье я старался вывести *a priori*<sup>9</sup>. Теперь я попытаюсь несколько развить ее и подкрепить соображениями более практического свойства. Цель будет все та же: обосновать отрицательное отношение к территориализму не тем, что он недостаточно «национален», а тем, что он неосуществим. Неосуществим не сам по себе, а потому, что его осуществление, по сравнению с осуществлением сионизма палестинского, является бесконечно более затруднительным. Между тем и возникло-то все территориалистическое движение под тем предлогом, будто создать еврейское государство вне Палестины будет «легче»...

Но прежде чем перейти к самому разбору территориализма, надо выделить настоящий территориализм из-под двух его наслоений. Я считаю настоящим территориализмом тот, который согласен отказаться от Палестины только потому, что Палестина ему кажется недостижимой. Территориалисты этого толка (и они в своем лагере составляют, кажется, большинство) принципиально заявляют, что будь Палестина достижима, они при равных условиях не только ничего бы не имели против нее, но даже по многим причинам предпочли бы ее другой стране. Но территориализм, при всей своей юности, уже успел курьезным образом повторить в малом объеме судьбу еврейского народа: он породил и своих шовинистов, и своих ассимиляторов. Шовинисты провозглашают: «Все, кроме Палестины, а Палестину и даром не возьмем!» Ассимиляторы, положа руку на сердце, уверяют самым искренним тоном *à-la* поляк Моисеева закона: «Мы – самые настоящие палестинцы, только, так сказать, угандистского исповедания. Уганда не есть отказ от Сиона, а, напротив, путь к Сиону»...

<sup>8</sup> Национальное решение (*ивр.*).

<sup>9</sup> Априори, независимо от предыдущего опыта (*лат.*).

Подолгу останавливаться на этих курьезных разветвлениях территориализма не стоит, и я уделю им только по несколько строк. Если фактический возглас: «только не Палестина!» опирается на то, что почва нашей старой отчизны будто бы неплодородна («dos gerêgerte land»<sup>10</sup>), то на это можно возразить целым десятком доводов. Во-первых, такие утверждения можно делать только после всестороннего изучения страны, а Палестина еще не изучена. Во-вторых, трудно допустить, чтобы почва, плодородие которой некогда вошло в пословицу, могла потерять его за две тысячи лет, в течение которых она не только не истощалась неумеренной эксплуатацией, но и совсем была заброшена. Ведь не могли же в ней за 2000 лет вырасти камни или чернозем претвориться в песок: геология не знает таких скорых превращений. Тут, по-видимому, вся разгадка именно во многовековой запущенности и в прекращении искусственного орошения. В-третьих, даже на самой неплодородной почве искусственное удобрение и канализация делают чудеса. В-четвертых, если бы Палестина и оказалась малопригодной для земледелия, то она в высшей степени удобна для торговли и не менее любой другой страны приспособлена для индустрии<sup>11</sup>; значит, весь вопрос только в том, будут ли евреи в Палестине производителями сырья или обработанных продуктов, а не в том, грозит ли им там голодная смерть. В-пятых, было бы нелепо думать, что Палестина вечно останется незаселенной: капиталистический процесс не может оставить без эксплуатации страну, лежащую на торговом пути между Средиземным морем и пробуждающейся Азией; не мы, так другие заселят ее, а если могут там прокормиться другие, то можем, очевидно, и мы. В-шестых, если есть сомневающиеся, «вместит ли Палестина», то по простой аналогии с другими, даже не особенно густо заселенными странами ясно, что Палестина с прилежащими к ней округами Сирии и вادي Эль-Ариш способна вместить целиком, если понадобится, все 10 миллионов еврейского народа и что теперь все эти местности не заселены даже на 10% своей емкости. И так далее, до бесконечности.

Что же касается тех господ, которые выражают опасение, что «в Палестину мы унесли бы с собою слишком много старых предрассудков», то им, право, даже отвечать не хочется. Нельзя же серьезно спорить о том, будет или не будет наша интеллигенция в Палестине носить пейсы и арбаканфот. Все это – извиняюсь за резкость – просто глупо. Новообразовавшееся государство постоянно прогрессивнее старых стран: таков социологический закон, до сих пор всегда подтверждавшийся, и только хасиды могут полагать, что для евреев Господь Бог его отменит. Где бы ни создался, в конце концов, наш самостоятельный центр, он обгонит Европу, а нам тут говорят о пейсах... И любопытнее всего то, что эти пейсы нелепы даже с точки зрения философии нашей религии. Усиление внешней обрядовой стороны как искусственный изолятор против смешения с инородцами явилось именно следствием утраты естественного изолятора – национальной

<sup>10</sup> Гиблая, мертвая земля (*идиш*).

<sup>11</sup> Любопытно, что одной энергии Иордана достаточно для электрического освещения всей Палестины. (Примечание Жаботинского).

территории. Об этом я уже подробно говорил в первой статье. Поэтому ясно, что возвращение на национальную территорию само по себе уже сделало бы ненужною, даже для набожной массы народа, большую часть нашей устарелой обрядности, и она даже без внешних толчков неминуемо понемногу бы отпала. Если хотите конкретного примера, то вспомните один из рассказов Лескова, где говорится, будто набожному еврею полагается спать лицом к востоку, ибо там Сион и храм. Каюсь в своем невежестве – я не знаю, есть ли такой обычай, но если есть, то ведь именно в Палестине он сам собою должен исчезнуть... Вот наглядный пример судьбы, которая неминуемо острижет в Палестине все наши телесные и духовные пейсы. Ежели вы скажете, что это довод несерьезный, то я отвечу, что на несерьезные возражения иначе и отвечать не приходится...

Переходя к «ассимиляторам территориализма», то есть угандистам из секты «ночлежного приюта» (разновидности гораздо более многочисленной, чем шовинисты-антипалестинцы), я говорить о них особо не стану, а просто приведу выдержку из одесского циркуляра «Ответ угандистам». В нем, правда, рассмотрены доводы только одесских угандистов, но эти доводы вполне типичны для всего угандистского течения. Вот эта выдержка:

Как образец, мы предлагаем беспристрастным сионистам разобратъся вместе с нами в недавнем циркуляре «одесского комитета союза политических сионистов в России». В этом циркуляре заявляется, что еврейский народ гибнет и вырождается, и поэтому «ему важно уйти от смерти, от мук, от пытки, ему важно найти страну, где он был бы в большинстве, где он мог бы стать в нормальные условия жизни... И если такой территорией окажется Уганда, то кто может и смеет отказаться от нее? ... Ведь то, что мы не можем *теперь* пойти в Палестину и идем пока в другую страну, *не значит отказываться от Палестины*» (с. 5). «Территория на автономных началах *по пути к Сиону* есть *лучший путь к Сиону*» (с. 6). Одним словом, типичное повторение теории «ночлежного приюта», изложенной Максом Нордау на 6-м конгрессе. Уганда, по этой теории, совсем не есть радикальный переворот базельской программы. Сионизм по-прежнему ведет в Палестину, но Палестины можно и подождать, а пока мимоходом создать колоссальное временное убежище. Уганда не есть замена Палестины. Уганда – просто необходимый паллиатив...

В том же циркуляре на первой странице говорится, что в сионизме до сих пор особенно выдавались две группы: «одна – стоявшая за чистый политический сионизм, не признающая никаких паллиативов, ни культурных, ни экономических; другая – хотя тоже заявляющая себя политическими сионистами, но готовая на всевозможные паллиативы, начиная с культуры и кончая мелкой колонизацией». Циркуляр подписан именем «союза *политических* сионистов: значит, это именно те, которые до сих пор «не признавали никаких паллиативов». Когда им говорили, что еврейский народ для осуществления трудной задачи сионизма должен быть прежде всего культурным и сознательным, они отвечали, что культура, то есть народное просвещение в национальном духе, есть паллиатив, а потому сионизм не может ею заняться. Когда им говорили, что еврейский народ голодает и вырождается, а потому необходим сейчас же экономический подъем еврейской бедноты, они отвечали, что экономика есть паллиатив, а

потому сионизм не может ею заняться. Они уверяли, что эти паллиативы отвлекут наши силы от главной цели – от Сиона. И теперь они же отстаивают Уганду, то есть грандиознейший из всех паллиативов, ибо ведь сознание «временного еврейского государства» действительно поглотит целиком все силы на множество лет, и сами громко заявляют, что это не измена Сиону, нет, а только паллиатив, и потому сионизм... должен им заняться. Всякий понимает, что только ребенок может искренно запутаться в таких явных противоречиях. Авторы циркуляра – люди зрелые, и потому одно из двух: или они сами не понимают, что говорят, или в душе давно решили отречься навсегда от Палестины, но боятся высказать это вслух.

Еще типичнее другое противоречие. На с. 6 угандисты приглашают нас спастись в Уганду, «сохранив в своей груди любовь и стремление к Палестине. И кому ее (Палестины) легче будет добиваться: еврею ли изгнаннику, зависящему от чужой воли, находящемуся под чужой властью, или свободному гражданину автономной территории, живущему среди своих братьев». И в том же циркуляре, но несколько раньше, на с. 2 и 3, говорится буквально следующее: «Эта любовь к Палестине заставляла наших отцов ездить туда умирать, заставляла плакать наших поэтов, заставляла нас молиться ей, но эта любовь не могла *довести* нас к Сиону. Для того, чтобы народ захотел действительно *пойти в Сион*, нужны были еще причины, а именно внешние: необходимы были гонения, экономическое и моральное вырождение... Словом, одни идейные стремления, не опирающиеся на реальные причины, никогда не в состоянии вызвать движение народа...» И вот, после всех этих рассуждений, оказывается, что именно из Уганды, где народ, как надеются угандисты, не будет уже вырождаться ни морально, ни экономически и не будет терпеть никаких гонений, именно оттуда евреи в конце концов уйдут в Палестину, так как «сохранят в своей груди любовь и стремление», то самое «стремление», которое, по словам того же циркуляра, «никогда не в состоянии вызвать движение народа». Опять вопиющее противоречие, которое не может быть примерено и только подтверждает то, что мы выше сказали: или угандисты сами не понимают своих же слов, или, наоборот, очень хорошо понимают, что Уганда есть *полное отречение навсегда от Палестины*, и только стараются это скрыть лицемерными поклонами в сторону нашей старой родины.

Или Уганда, или Палестина. «Если трудно создать одно государство, то для облегчения создайте себе два» – так не могут рассуждать серьезные и добросовестные люди. Часть угандистов давно это поняла и прямолинейно заявила, что она готова отречься от Палестины навсегда. Эти *территориалисты*, по крайней мере, искренни. Рано или поздно и нашим угандистам останется одно из двух: раз навсегда порвать или с Угандой, или с Палестиной.

Формула настоящего, не фанатического и не лицемерного территориализма гласит: еврейский народ страдает, ему некогда ждать. Если бы возможно было получить Палестину сейчас, это было бы лучше всего, но если Палестины не дают, а вместо нее дают другую, во всех, допустим, отношениях удобную территорию, то нельзя ставить на карту всю будущность еврейского народа и не принять предложенный земли, упорно поджидая Палестины, ибо тогда можно, в конце концов, ничего не дожидаясь. Если не в Палестине, то уж лучше где-нибудь, чем нигде. А если так, то нам не приходится, конечно, пассивно ждать, пока нам другие вздумают предложить территорию: выяснив, что

Палестина теперь недостижима, надо самим начать сознательно добиваться чартера на какую-нибудь другую подходящую страну. Если Уганда не подойдет, надо, значит, организовать новые изыскания, найти другую незаселенную область, изучить ее, выхлопотать чартер и начать планомерное заселение... Таким образом, центр тяжести территориализма, если разобраться, сводится к двум положениям: первое – что еврейскому народу нужна *безотлагательная помощь*, и второе – что на другой территории можно создать *Judenstaat*<sup>12</sup> *легче и скорее*, чем в Палестине. Иначе, если бы народу не нужна была скорая помощь, нечего было бы и торопиться, и можно было бы еще много лет продолжать настойчивые хлопоты о Палестине; с другой стороны, если бы «территория» не казалась легче и скорее осуществимой, чем «Сион», то есть первая и вторая являлись бы одинаково достижимыми, то при таких равных условиях всякий трезвый территориалист предпочел бы Палестину как страну более популярную среди еврейских масс. Все дело, таким образом, в этих двух соображениях: нужна скорая помощь, и «территория» может дать ее скорее и вернее, чем «Сион»; и не будь этих двух соображений, не было бы и территориализма...

Мне уже приходилось указывать в «Еврейской Жизни» на одно характерное явление: сионистская программа только теперь, собственно говоря, начинает правильно дифференцироваться и развиваться. Я говорю не о том фракционировании по «направлениям», которое началось у нас, по еврейской привычке, со второго же дня: я говорю о дифференцировании и развитии нашей *практической* программы, нашего плана осуществления. До последнего времени вопрос о том, *как* мы намерены взяться за исполнение колоссального предприятия, да и вообще сам вопрос о «сионистской работе» в настоящем смысле слова даже еще не был как следует поставлен. И вполне понятно, почему: вся история истекшего столетия вела нас к необходимости организации, и последние восемь лет пошли именно на создание этой организации – на постройку той машины, которая должна будет вершить нашу национальную работу. Ясное дело, что пока строилась машина, до тех пор сама работа и ее подробности были на заднем плане. Об этой работе, конечно, говорилось, но говорилось в общих чертах: отдельные стороны ее намечались в эскизной, примитивной, часто даже наивной форме. Так было и с важнейшим вопросом сионистской программы: *как* создать на данной территории, хотя бы уже с чартером в руках, еврейское большинство, то есть – *как* переселить туда еврейские массы. На этот вопрос, хотя с враждебной стороны его нам задавали часто и насмешливо, мы почти совсем не отвечали, а как-то отмахивались, мысленно отговариваясь тем, что прежде, мол, дайте получить чартер, а там уже как-нибудь... «перевезем». Но в последние годы, когда первый период политического сионизма – период создания организации или, вернее, создания того зачатка, из которого должна развиться обширная национально-политическая организация, стал подходить к концу, – громче и яснее заговорило общее стремление выяснить, наконец, все основные стороны сионистской тактики и практики и, в том числе, и этот важный во-

<sup>12</sup> Еврейское государство (нем.).

прос. Стоило только попристальнее вникнуть в него – и становилось ясно, что одним неопределенным «перевезем» тут не отделаешься. «Пустая территория, – говорится в том же циркуляре Ционей-Цион, – не может быть заселена сразу». Только фантазеры могут мечтать, что, получив чартер, они сейчас посадят миллионы людей на пароходы и перевезут на новые места. На это не хватило бы никаких богатств, и неподготовленная страна не могла бы прокормить даже сотой доли таких переселенцев. Массовую колонизацию нельзя вести искусственно: надо так *подготовить* территорию, чтобы она сама *естественно* привлекала к себе массы эмигрантов, как привлекает их Америка. Почему столько бедняков едет в Америку? Потому, что в Америке есть богатый спрос на рабочие руки. А богатый спрос на рабочие руки существует только в промышленно развитых странах. Следовательно, прежде всего надо подготовить страну для промышленного развития, то есть индустриализировать страну». Пополню от себя: всесторонне индустриализировать не только в тесном смысле промышленность обрабатывающую, но и добывающую и променивающую. Чтобы вызвать массовый приток переселенцев, то есть чтобы создать магнит для иммиграции, нужно привести в движение все экономические функции, к каким только способна данная территория по своим природным условиям. Единственный видный теоретик сионистской колонизации проф. Оппенгеймер в докладе, прочитанном на 6-ом конгрессе, исходил приблизительно из той же точки зрения и предложил даже особый разработанный план такой индустриализации. С частностями плана можно и не соглашаться, но основа его неоспорима для всякого мыслящего человека: подготовку территории нельзя предоставить стихийному, неорганизованному, беспорядочному приливу первых поселенцев. При стихийном наплыве иммигранты будут, как водится, охотнее селиться друг подле друга, чтобы создать скопление масс в одних местах и пустоту в других; большинство будет набрасываться на одну какую-нибудь наиболее выгодную или привычную профессию, и таким образом не окажется никакой равномерности в заселении разных мест и развитии разных промышленных отраслей. А между тем только эта равномерность и может привести «к скорейшему всестороннему промышленному подъему страны и создать сильный «магнит». Тот же циркуляр дальше говорит: «Эту индустриализацию – поясняет Оппенгеймер – надо вести осторожно, по строгому плану, наподобие того, как плетут большие рыбацьи сети: сначала намечаются основные узлы, потом промежуточные, потом первые большие клетки, потом поменьше, потом еще помельче и т. д. Всей этой работой должна руководить организация, посылая каждый раз определенное и строго ограниченное число работников и только постепенно увеличивая это число, то есть *ведя мелкую колонизацию*. Таким образом, и тут на первых порах никак не может быть речи о «массах» еврейской бедноты. Эти массы должны будут по-прежнему оставаться на старых местах до того дня, пока не станет возможной массовая иммиграция, то есть пока страна не станет настолько индустриализованной, чтобы для всех нашелся заработок... На это уйдет не пять и не десять лет, а приблизительно промежуток целой человеческой жизни». И долгой жизни, прибавлю я от себя. Приобретение чартера может

быть делом нескольких лет или, при удаче, даже делом одного счастливого момента, но заселение территории есть в полном смысле слова длительный процесс, и было бы в высшей степени легкомысленно об этом забывать.

А если это помнить, то прежде всего отпадает сердобольная теория безотлагательной помощи. Насущная эмиграционная нужда восточно-европейского еврейства громадна и растет не по дням, а по часам, но удовлетворить эту нужду сейчас не в силах ни Уганда, ни другое пустопорожнее место, как бы оно ни было обширно и плодородно и какой бы широкой автономии ни сулило нам оно в придачу. Эта эмиграция есть одно из проявлений *Judennoth*'а, и прекратится она тогда, когда исчезнет *Judennoth*. И надо помнить, что задача сионизма не в прикладывании «безотлагательных» пластырей к той или к другой язве галута, а в искоренении самого галута. Цель огромная, и срок для нее нужен большой. Это должны признать и палестинцы, и территориалисты. На какой бы стране мы в конце концов ни остановились – будь это Сион или (допустим на мгновение) Уганда или Конго, мы этим обещали бы народу вовсе не «скорую помощь», а радикальную помощь, раз навсегда.

Тем и различаются между собою сердобольная благотворительность и разумная самопомощь, что первая стремится наскоро заткнуть наружные прорехи, между тем как вторая бесстрашно предпринимает, если нужно, основательную перестройку всего здания, не считаясь ни с жертвами, ни со временем. Как бы ни суждено было называться той территории, на которой создано будет еврейское государство, но при выборе ее и во время работы над ее подготовкой сионизм может руководствоваться только своей основной целью: дать Израилю прочное отечество, а не побочным желанием дать его поскорее. Наш девиз «навсегда», а не «наскоро». Даже ярый территориалист должен будет из нескольких территорий выбрать не ту, которая сейчас под рукою, а ту, на которой с наибольшим вероятием можно создать *Judenstaat*. Весь вопрос именно в том: *как называется та территория, на которой с наибольшим вероятием можно предпринять и довести до конца постройку еврейского государства.*

Если вы хотите обидеть разумного территориалиста, скажите ему, что территориализм порожден Угандой. Он запротестует и ответит, что Уганда – случайность, а территориализм – мировоззрение. И он прав, в том смысле, что провал Уганды на предстоящем гаагском конгрессе еще не будет означать теоретического поражения территориализма. Пусть Уганда окажется неприемлемой, но у территориалистов и тогда останется возможность требовать, чтобы наша деятельность не ограничилась хлопотами о Палестине, а вела бы вообще к получению чартера на какую угодно местность, лишь бы подходящую. Поэтому в обоснование территориализма Уганда не может входить как довод ни «за», ни «против». Отсюда ясный вывод: кто хочет принципиально доказывать преимущества территориализма, тот не может ссылаться на то, что «страна уже имеется». Сегодня есть (?), а завтра может не стать: тут можно рассуждать только вообще, и вопрос должен быть поставлен только в такой форме: что с большим вероятием осуществимо для по-

литического сионизма – приобретение Палестины или приобретение какой-нибудь другой подходящей территории?

В статье «Наброски» я писал, между прочим, что для осуществления своих целей территориалисты могут рассчитывать только на дипломатию. После этого я имел возможность ближе познакомиться с очень многими представителями территориализма и выслушал от них возражение или, вернее, поправку: не только дипломатия в тесном смысле, но вообще самое широкое влияние на европейское общественное мнение и на правящие круги, путем митингов, печати и даже парламентского воздействия. Но больше ничего. Имея в виду *свою* цель, оказывать давление на *других* – вот тактика территориализма. Палестинцы почти единогласно говорят о необходимости реальной работы в Палестине сейчас же, до чартера, но территориалисты ничего подобного, конечно, не могут предложить, потому что у них и страна еще не намечена, да и не может быть намечена. Следовательно, их тактика сводится вот к чему: укреплять, расширять и усиливать сионистскую организацию, пока она не станет влиятельным международно-политическим фактором, а тогда, выждав удобный момент, добиться у одной державы или у концерна держав уступки нам одной какой-нибудь из подходящих незаселенных территорий. Хватит ли у нас на это влияния? – спрашивают скептики. Да, – отвечают территориалисты, – еврейство и теперь обладает крупными силами, финансовыми и интеллектуальными, которые способны оказывать значительное влияние на международные дела, но если эти силы собрать, организовать и направить на чисто еврейские цели, то их удельный вес удесятерится, и им, несомненно, удастся добиться территории, тем более что ненормальное положение евреев не только им одним невыгодно.

Полагаю, что нельзя в этом не согласиться с территориалистами. Создать большую и сильную организацию – значит, несомненно, обеспечить себе, так сказать, крупный шанс на получение территории. Но вообразите на мгновение, что в тот же день, когда будущие представители этой территориалистической организации выступят со своим требованием перед державами, рядом предстанут и делегаты другой организации, тоже еврейской и тоже стремящейся к созданию *Judenstaat*'а. Первые заявят: «За нами – влиятельная организация, которая требует от держав, во имя интересов справедливости и ради нашего собственного спокойствия, предоставления нам какой-нибудь подходящей территории». В то же время вторые заявят: «У нас также влиятельная организация, и мы тоже ссылаемся на интересы справедливости и на собственную выгоду цивилизованных государств, но, кроме того, мы еще указываем на определенную территорию, которую мы заранее наметили, индустриализировали, подготовили к заселению и на которой мы уже пользуемся крупным влиянием; эту страну вы и должны уступить нам». Сравнивая положение обоих претендентов, мы видим, что и первый, и второй в одинаковой мере располагают одним «шансом» – влиятельной организацией, но у второго есть еще другой «шанс», которого нет у первого – заранее намеченная, подготовленная и уже отчасти экономически захваченная территория. Кто скорее добьется? Рассуждая абсолютно, есть, конечно, возможность, чтобы ни тот, ни другой не

добились, но с большей вероятностью, во всяком случае, добьется тот, у кого не один, а два «шанса». Это математически ясно. Если же оставить область абсолюта и математики и взять мерку обычных земных отношений, то надо сказать, что второе *несомненно* добьется своей цели. Первому могут вовсе не дать территории, если все имеющиеся пустыри уже облюбованы сильными мира сего; или, если дадут, то уж представят себе самим право выбора территории, то есть предложат народу принять в качестве «отечества» страну, выбранную не по его вкусу. Но воспротивиться требованию второго будет не так легко и просто. Ведь никто не воспротивится только ради того, чтобы данная местность навеки осталась незаселенной: воспротивиться могла бы та держава, которая сама имела бы виды на данную местность. Иметь виды на местность – значит рассчитывать на ее эксплуатацию, и притом, конечно, выгодную эксплуатацию. Выгодная же эксплуатация есть та, которая может дать наибольшие барыши при наименьших затратах: иными словами, основное условие для выгодной эксплуатации местности – это отсутствие или незначительность «трения», всякого рода препятствий для использования богатств края; каменистая почва, недостаток удобных гаваней, сильное и строптивное местное население – все это понижает «меновую ценность» края, так как все это создает затруднения для эксплуатации, обуславливает большие затраты и меньшие выгоды. Но в ряду таких препятствий для эксплуатации одним из самых сильных является именно упрочившееся на данной территории чужое влияние. Если другие пустили уже корни в ее почве, то в высшей степени трудным делом было бы выкорчевать их и заменить своими. Чужое влияние есть самое действительное «трение», самый значительный камень в почве, на устранение которого понадобится столько затрат, что эксплуатация этой почвы, по простому коммерческому расчету, уже никому не может показаться заманчиво выгодной. Капиталистические государства при захвате чужих земель руководствуются и могут руководствоваться только соображениями выгоды, а не идейными или принципиальными побуждениями, и всегда стремятся к захвату только таких стран, использование которых обещает большую прибыль и требует малых затрат. Или вернее: только *единовременных* затрат. Богатая держава ничего не имеет против того, чтобы выбросить сразу уйму денег на экспедиции, на изучение территории, на оборудование гаваней и городов, потому что все это затраты производительные, которые после окупятся. Но захват таких территорий, на которых в течение неопределенного времени придется вести борьбу с туземцами или с укоренившимся чужим влиянием, то есть сыпать деньги в хроническую прорву совершенно непроизводительных затрат, – такой захват всюду признается безусловно невыгодным предприятием, политической авантюрой, которая никогда не может окупиться. Это не исключает, конечно, возможности, чтобы такая авантюра все-таки совершилась и какая-нибудь из держав облюбовала для себя ту местность, на которую мы приобрели уже экономическое и культурное влияние. Но в этом случае, чем сильнее будет наше влияние, тем труднее и дороже обойдется тому предполагаемому сопернику борьба с ним. Борьба эта не должна быть непременно кулачной: это

будет борьба орудием экономического вытеснения и культурного преобладания, а при такой борьбе всегда в более выгодных условиях оказывается тот, кто раньше успел упрочить в данном крае свое культурно-экономическое влияние. Вся задача в том, чтобы успеть создать это влияние, прочное, сильное и доброкачественное: раз оно уже имеется, то никакая борьба не опасна, ибо есть возможность постоянного несокрушимого сопротивления, которое в конце концов должно привести противника к признанию чисто коммерческой невыгодности предприятия. Если же кроме влияния на месте учесть еще влияние крупной международной национально-еврейской организации, которая будет своим давлением извне поддерживать это сопротивление и ставить те или иные препятствия сопернику, то вопрос об успехе становится только вопросом времени и жертв. Но если вообще кто-нибудь из нас надеется проделать весь путь сионизма верхом на палочке в три часа с минутами и без огромных усилий и жертв, он сильно ошибается, да и не думаю, чтобы среди нас действительно имелись такие простаки.

Вывод из сказанного таков: как бы ни называлась страна будущего *Judenstaat*'а, но если мы вообще хотим получить какую-нибудь территорию, мы должны ее заранее наметить и подготовить. Не наметив заранее территории и не упрочив на ней нашего влияния, мы, во-первых, предоставим *чужой воле* право выбора *нашего отечества*, что является, если вдуматься, чудовищным абсурдом, и, во-вторых, сами себя лишим ровно половины (если не более) шансов на успех. Все сионистское движение построено на принципе, который мы не устанем повторять как некое новое «Шма Исраэль»: делайте сами свою историю, — и было бы вопиющим противоречием этому основному принципу, если бы существеннейший момент всего движения, выбор той страны, где должна быть совершена колоссальная работа воссоздания еврейского государства, где еврейский народ должен будет обрести вечную пристань, мы сознательно предоставили такой случайности, как желание или расположение европейских дипломатов. Достаточно вникнуть в эту мысль, чтобы понять, может ли серьезное народное движение строить свои надежды на таких основах. Территория должна быть намечена заранее нами. Но наметить еще мало: можно наметить и получить отказ. Чтобы действовать с уверенностью, надо вести захват намеченной территории одновременно с двух сторон, изнутри и снаружи, по строгому плану и в строгой организации дела. Так прорубаются туннели в горах: инженер дает точный план, и затем рабочие в один и тот же день начинают врезываться в гору с противоположных сторон, пока не встретятся, и тогда путь открыт.

Раз создана и усвоена необходимость наметить территорию заранее, остается выяснить, какая территория должна быть избрана для этой цели. Несомненно, та, на которой еврейское влияние, экономическое и культурное, может быть упрочено с наибольшей легкостью, если только вообще уместно произнести слово «легкость» в применении к движению, которое, как всякое национальное освобождение, потребует еще огромных усилий и тяжелых жертв. Здесь выражение «с наибольшей легкостью» значит только то, что эти усилия и жертвы должны пасть на ту почву, которая для них наиболее благоприятна и плодород-

на. Что же это за «почва», и каким условиям должна она удовлетворять? Есть, конечно, люди, которые на этот вопрос ответят: «Прежде всего, нам должны позволить работать на этой почве. Это есть первое условие». Не будучи вовсе поклонником прошибания лбом каменной стены, я, однако, нахожу безусловно невозможным считаться с таким доводом. Где народ делает свою историю, там не может играть руководящей роли чужое согласие или несогласие. Иначе мы должны бы заключить, что если нам вообще «не дозволят» работать ни на какой территории, то мы смиримся и совсем откажемся от мысли добиваться для себя земли? Допустить, что при выборе территории мы можем принципиально считаться с чужим согласием, значит опять, в конце концов, предоставить чужому вкусу выбор нашего отечества. Несомненно, в зависимости от того, «позволят» нам или не позволят, должна будет измениться наша *тактика*, работа может пойти быстрее или тише, тайно или открыто, но такой кардинальный, основной момент движения, как выбор территории, должен и может быть только чисто принципиальным. Условия, необходимые для того, чтобы данная территория была нами избрана и намечена, должны соответствовать *нашему* активно национальному настроению, ибо если этого не будет, то никакое позволение не даст нам силы вести организованную работу. Надо, к тому же, вспомнить, что никогда захват влияния на какой бы то ни было территории не совершался и не мог совершиться с разрешения начальства, а всегда наперекор его сопротивлению. Для этого только нужны определенные условия: извне – сильная и влиятельная, как уже говорилось, организация с крупными денежными и идейными средствами и с непоколебимой волей к овладению раз намеченной территорией, несмотря ни на какие временные неудачи, во что бы то ни стало, изнутри же – крупная армия «своих людей», достаточно культурных, экономически самостоятельных, организованных и твердо преданных национальному делу, – людей, которые взяли бы на себя роль проводников и укрепителей нашего всестороннего влияния в остальном некультурном населении страны.

Здесь будет уже излишним в десятый раз повторять, что единственной страной, способной ответить всем этим условиям, является Палестина. Пришлось бы снова указывать на то, что в Палестине живет около 80 тысяч евреев и что это составляет около 11 процентов всего тамошнего населения, то есть больше, нежели в какой угодно другой стране, что эти 80 тысяч теперь невежественны и экономически беспомощны, но школа и организация трудовой помощи в течение десяти лет способны коренным образом перевоспитать все молодое поколение этой массы; что местное арабское население совершенно некультурно, и потому евреи, которые и в самых просвещенных странах, будучи горсточкой, умеют достигать известного влияния, особенно легко приобретут его здесь, тем более что по магометанскому преданию Палестина должна принадлежать Израилю; что в Палестине у нас уже есть, как-никак, тридцать колоний, банк с отделениями, частные земли в разных местах и даже кое-какие промышленные предприятия; что, наконец, имеется в народе исконное тяготение к Палестине, наличности которого не отрицают и территориалисты, и которое способно дать

нашей работе над организованным захватом Св[ятой] земли прочную устойчивость, создавая противовес приливам уныния при временных неудачах. Повторять это подробно было бы скучно. Мне вообще представляется неоспоримым, что стоит только хорошо вникнуть в мысль о необходимости заранее наметить и подготовить территорию, как Палестина сама собою выступает в качестве единственной возможности. Вести упорный, настойчивый, планомерный захват какой-либо другой территории, которой «не отдадут», и добиваться таким путем чартера на нее, – эту перспективу любой территориалист признает совершенно дикой. Ведь «при равных условиях» и территориалист предпочел бы Палестину, а тут именно и создается это равенство условий. Ежели все равно брать борьбой, «без разрешения», то уже само собою Палестину, потому что при этом положении дела совершенно немыслимо пренебречь таким полюсом, как психический фактор неоспоримой, хотя бы и «романтической», связи народа с Палестиной. Территориализм, по самой своей сущности, немыслим без дозволения подлежащего начальства. Не думаю, чтобы нашелся добросовестный территориалист, который стал бы оспаривать эту истину. А между тем, из этой истины следует, что ежели бы, не дай Господи, дозволения в конце концов все-таки не получилось, территориализм был бы с огорчением вынужден отказаться от решения еврейского вопроса. Вся надежда на чужую добрую волю – и это называется народная самостоятельность! Территориалисты вольны обижаться, когда им говорят, что их родила Уганда, но правда остается правдой: пусть только развеется этот призрак уже готового «дозволения» – и любопытно будет посмотреть, что за реальный остаток останется от новомодного Давидова щита с надписью «Эрец».

Но допустим на минуту и Уганду. Допустим, что на 7-м конгрессе Уганда оказывается подходящей во всех отношениях, английское правительство дает самую широкую автономию, ИКА предлагает нам все свои миллионы, и мы единогласно постановляем: *Judenstaat* будет создан в Восточной Африке. Начинается работа. Процесс, как уже выяснено, длительный. Я не пессимист и не исчисляю продолжительность его столетиями: напротив, я оптимист и считаю на десятилетия. В Либерии за 80 лет стеклось около двух миллионов негров, в Новую Зеландию за 60 лет переселилось 750 тысяч эмигрантов, а в Австралию за 100 лет – целых 4 миллиона. Я не предreshаю вопроса о том, сколько миллионов евреев переедут в *Judenstaat*, но лет в 50, полагаю, постройка его будет закончена в том смысле, что создастся достаточно развитая промышленная жизнь, которая позволит туда переселяться всем нуждающимся в эмиграции евреям галута. Но в течение этих 50 лет надо будет, как уже говорилось выше, систематически и всесторонне индустриализировать совершенно неподготовленную страну – иными словами «посылать каждый раз определенное и строго ограниченное число работников и только постепенно увеличивать это число, то есть вести мелкую колонизацию... Массы должны будут по-прежнему оставаться на старых местах до того дня, пока не станет возможною массовая иммиграция, то есть пока страна не станет настолько индустриализованной, чтобы для всех нашелся заработок... На это уйдет не пять и

не десять лет, а приблизительно промежуток целой человеческой жизни». В течение всего этого долгого времени должна будет, значит, действовать сильная политическая организация, то есть объединенный еврейский народ. Духовная жизнь народа в каждый данный период не может не быть отражением его реальной жизнедеятельности; если еврейский народ в течение 50 лет будет напряженно и сознательно работать над постройкой своего национального будущего, то и настроение его, соответственно этому, не может не быть ярко национальным. Будет все расти и расти самосознание, самоуглубление, самоизучение. На первый план в воспитании народной психики выдвинется национальная история и история национальной культуры – выдвинется совершенно неизбежно, в силу исторического закона: духовные переживания отражают реальную потребность. Примеры всех народов это подтверждают: в эпохи национального самоосвобождения проявляется особый интерес к историческому и культурному прошлому нации. За полвека назреет, считая на русский лад – по десятилетиям, пять поколений. Эти поколения будут воспитываться в национальной атмосфере и будут, поэтому, на каждом шагу слышать и склонять имя Палестины. Они сроднятся с той научной истиной, что еврейская психика сложилась в Палестине. Они затвердят, что история еврейского народа начинается и кончается Палестиной, а все дальнейшее есть только история того, что другие народы проделывали над евреями. Они всосут с молоком матери сознание, что величайшие этические ценности, вошедшие в сознание всего цивилизованного мира, созданы были нами в Палестине, а вне Палестины мы только записывали, разъясняли да ремонтировали старое, палестинское, или вовсе уходили обрабатывать чужие виноградники. Они узнают и шаг за шагом проследят, как на всем своем долгом пути сквозь строй галута еврейский народ повторял имя Палестины, словно заклинание против вражьей силы, сделал из нее щит национальной индивидуальности и само сохранение этой индивидуальности рисовал себе в виде возврата некогда в Палестину. Национальное воспитание неотделимо от Палестины, как слова Торы неотделимы от ее пергамента, огонь – от очага, и нельзя читать Писание, не видя пергамента, или греться у огня, не приблизившись к очагу. Атмосфера национального воспитания пропитана Палестиной, и в этой атмосфере наши поколения будут вырастать и будут затем приносить свои силы на работу для восстановления и обновления того, что было в Палестине. Эта Палестина ведь не исчезнет тогда с лица земли: она будет тут же, на географической карте, определенная и осязательная, и они будут знать, что она заброшена и пустынна, а еврейский народ строит себе новый дом в другой стране, потому что султан не пускает... Вдумайтесь, и вы поймете, что это был бы за диссонанс. Если бы заселение Уганды можно было совершить залпом, сразу, то, конечно, за шумом массового переезда о диссонансе можно было бы и не вспоминать. Но при длительном постепенном процессе, требующем выдержки и вдумчивости, этот хронический диссонанс изо дня в день вносил бы разлад в общее настроение, ослаблял бы напряженность воли и работы; ибо невозможно, чтобы при таких условиях, когда внимание народа должно быть сосредоточено в течение десятилетий

на систематическом восстановлении палестинского прошлого, у работников этого дела не возникал неотвязный вопрос: почему же не в Палестине? почему не уломали этого упрямого султана? или, может быть, еще и теперь не поздно?

Есть, конечно, многие, для которых все это «романтика». Они, пожалуй, согласятся, что процесс создания Judenstaat'a повысит национальное самоулубление и что при этом слово «Палестина» будет часто склоняться, но отсюда еще не вытекает, по их мнению, ни диссонанс, ни разлад. Будут читать о Палестине, а работать в Уганде – ну, что же за беда? Мне знакомы такие взгляды, и на меня они всегда производят впечатление большого легкомыслия. «Социальное воспитание», то есть сумма впечатлений, воспринимаемых каждым индивидуумом из данной среды, есть могущественный исторический фактор; каждый из элементов этого социального воспитания впитывается в сознании масс как нечто неискоренимое и становится для них как бы стихийным гипнозом, «психологией толпы». Вообще легкомысленно думать, что народ, социальное воспитание которого в течение 1800 лет укореняло в его психике связь с Палестиной, может освободиться от этой связи через два поколения только потому, что эти поколения читали немецкие и русские книги. Вся жизнь иначе бы шла на земле, если бы так легко улетучивались психические пережитки. Этого не бывает. Можно а priori поручиться за то, что химический анализ психики любого даже из наших ассимиляторов, будь возможен такой анализ, обнаружил бы и в ней сильные корешки этой связи с Палестиной, – конечно, заглушенные, придавленные посторонними налетами, ослабленные оторванностью от еврейской среды. Наследственность тысячелетий может быть искоренена только веками – и забывать об этом, ссылаясь на то, что я, Хаим или Мендель, никакой такой связи не чувствую, значит полагать в истолкование истории не массовые факторы, а свое обывательское настроение. Но тем более в процессе напряженной и сознательной национальной работы такой яркий элемент социального воспитания в духе народности, как Палестина, не может не вызвать массовой психической связи между национальным настроением и идеей Палестины. И если эта связь на практике будет хронически опровергаться, ибо дело, ведущееся, так сказать, во имя Палестины, будет создаваться на другой территории, то этот диссонанс явится вполне осязательной, вполне реальной помехой работе, раздваивая и понижая активное настроение.

Но любопытнее всего следующее. Вообразите на мгновение, что прошло 10 лет с того дня, как 7-й конгресс принял Уганду и там уже кое-что сделано, – и вдруг... султан согласен. Является великий визирь и докладывает, что падишах согласен. В этом нет ничего несбыточного: может вступить на престол новый султан или просто подействует пример Англии, которая нашла же выгодным для себя приютить Judenstaat... Как быть тогда? Брать или не брать? С одной стороны, жаль бросать начатое в Уганде: затратили деньги и усилия, а теперь все другим достанется. Но, с другой стороны, при таком казусе уже неизбежен целый взрыв исконной еврейской любви к Палестине – и против этого ничего не может иметь ни один территориалист, ибо тогда ведь это

будет с дозволения начальства. Трудно не понять, что при наличии этого позволения уж наверное нельзя будет удерживать народную волю на Уганде и по-прежнему игнорировать Палестину. Кое-кто вспомнит тогда славные времена теории Nachtasyl'я и предложит, поплевав на руки, взять да учинить два государства, но могу безошибочно предсказать, что «этот номер не пройдет». Делать нечего: придется бросить начатое в Уганде и приняться за Палестину. Однако ежели через три года султан передумает и возьмет свое позволение обратно? Вещь, опять-таки, вполне возможная в турецком климате. Что тогда? Ясное дело, снова придется бросить Палестину и вернуться к Уганде. Но что как англичане тогда уже не захотят вторично отдать нам Уганду? В высшей степени, как видите, запутанное положение...

Впрочем, возможно и еще более запутанное положение. Нет никаких причин для того, чтобы примеру Англии никто не последовал. Напротив, если выгодно для англичан, то почему не выгодно для немцев, итальянцев, французов, бельгийцев или даже для русских? У всех у них, кажется, есть обширные пустыри под разными широтами: возни много, а заселить нечем. Сплошь и рядом правительства зазывают переселенцев на такие земли, предлагая всякие вольности и льготы. Можно почти наверняка побиться об заклад, что если бы мы только приняли Уганду и начали в ней серьезно работать, к нам стали бы поступать и другие предложения. Не потому, чтобы мы были всюду особенно желанными гостями, а потому, что все-таки лучше заполнить пустырь хотя бы жидами, чем оставить его втуне. Как же быть, ежели на второй или третий год нам не то что прямо предложат, а дипломатически дадут понять, что не прочь были бы предоставить нам чартер на какую-нибудь Уганду-2. И если притом еще будет доподлинно известно, что эта вторая Уганда удобнее первой: климат, допустим, более умеренный, туземцы менее свирепые и к морю гораздо ближе? Случись такое событие, мы не имели бы решительно никакого основания и права отказать от детального рассмотрения этого нового проекта. В самом деле: почему мы предпочли Уганду Палестине? Потому, что Уганда по сумме природных, политических и т.п. условий была признана более удобной и выгодной. Но вот перед нами третья территория, еще более удобная и выгодная. Правда, в Уганде-1 мы уже затратили два-три года усилий, но, может быть, преимущества Уганды-2 так велики, что гораздо выгоднее бросить начатое и взяться за новую страну, чем остаться при первой Уганде? Раз только допущен принцип выбора территории по сравнительной выгодности, тут уже нельзя останавливаться: сколько бы ни представлялось новых комбинаций, надо все их серьезно рассматривать и немедленно бросать одну, если другая настолько выгодна, что обещает покрыть даже издержки по первой и дать еврейскому народу еще более удобное и плодородное отечество. Раз мы взялись раздобыть себе родину приятную во всех отношениях, то уж прямой наш долг перед народом требует, чтобы мы выбрали самую что ни на есть приятную. Тут нельзя считаться с такими мелочами, как два, три или пять лет уже затраченной работы: ведь территория нам нужна не на срок, а навеки, а что такое пять лет в сравнении с вечностью? Если выбирать, то уж выбирать до конца. Я говорю это со-

вершено серьезно, потому что это прямой естественный вывод из основного абсурда – из нелепого положения народа, который «выбирает» себе родину в зависимости не от своего исторического тяготения, а от настроения богдыханов и дипломатов...

Так не ведут серьезного народного движения. Абдул-Гамид сегодня не согласен, а завтра может захотеть. Надо быть ослепленными, надо растерять всякое чутье и понимание хода и смысл истории, чтобы придать таким посторонним и совершенно случайным комбинациям значение *решающего момента* в стихийном народном движении, джашемся под разными формами почти двадцать столетий. Только в самом себе, в своих основных признаках и элементах может народное движение черпать себе направление и руководство. Путь нашего скитания, пройденный во имя Палестины, с первого шага до последнего полный культа Палестины, может завершиться только в Палестине. Свернуть с этого пути – значит выйти из исторической колеи, сбиться с дороги и заблудиться. Пока мы пассивно переживали историю, мы не ответственны за свои шаги и шли туда, куда нас толкала чужая воля, но с того мгновения, как мы начали новую эру самодеятельности, мы не можем больше руководиться чужими толчками – мы должны творить свою историю сами во всем и до конца, ибо нет и не может быть иного исхода.

Мне хочется ответить еще на два сомнения, которые, быть может, возникнут у читателя. Первое из них то, что в Уганде, как-никак, можно было бы сейчас приступить к «индустриализации», то есть немедленно дать заработок хоть небольшим группам еврейской бедноты, а в Палестине прежде придется «упрочить влияние» и только потом можно будет начать привлечение еврейских работников для промышленного оживления страны. Дело в том, что разница эта кажущаяся. «Влияние» предполагает те же приемы, какие нужны и для подъема промышленной жизни: закупку и обработку земли, учреждение ферм, колоний, мастерских, фабрик, торговых заведений и (последнее по месту, но не по важности) школ – сначала для еврейского, а потом, быть может, и для арабского населения. Для всего этого понадобятся еврейские рабочие руки сейчас же, как только начнется долгожданная реальная работа в Палестине. Конечно, благодаря тамошним политическим условиям придется вести эту работу не в таких размерах и не так быстро, как бы хотелось: кроме того, и работников придется привлекать не столько из диаспоры, сколько из коренного палестинского еврейства, но главное то, что попутно с ростом нашего влияния будет само собою расти и промышленное оживление Палестины, и нам вовсе не придется, покончив с первой задачей, начинать вторую с азов.

Другое сомнение – относительно того, можно ли вообще работать в Палестине при нынешних условиях, то есть гарантированы ли мы, что сделанное или приобретенное там не будет у нас по первому капризу отнято. Я полагаю, что устранить это сомнение вполне будет зависеть от нас. Раз у нас есть организация, то она должна добиться на первых порах хотя бы отмены иммиграционного запрета и предоставления нашему банку некоторых концессионных льгот. Это не так трудно: мы видим, что державам и посильнее Турции приходится, по настоянию

извне, отменять запреты въезда иностранным евреям. Такие наши ходатайства в Константинополе всегда охотно поддержат Англия и Америка, которые ради собственной пользы будут рады открыть новое, хотя бы маленькое русло для еврейской эмиграции. Пусть это будет первым шагом к хартеру. Где нельзя получить конституцию сразу, там ее вырывают по частям... Но и до того нет никакого сомнения, что сидеть сложа руки не приходится. В Палестине трудно действовать, но *трудно* не значит *нельзя*. «Трудно» значит только то, что каждый шаг будет обставлен препятствиями, затруднениями, сетью формальностей: это все только замедлит наше дело, но не убьет его, и то, что будет нами приобретено или устроено с соблюдением всех формальностей, уже не может быть у нас отнято, тем более, что и теперь уже все операции совершаются на имя банка, обеспеченного покровительством Англии. Полагать, что у нас вдруг отнимут, например, земли, на которые у банка имеется законная купчая крепость, немыслимо: этого ни одна великая держава себе не позволит, не то что Турция, и британское правительство ради собственного престижа не потерпело бы такой обиды учреждению под английской фирмой. Столько же можно было возразить против пугающей многих в будущем опасности турецких погромов, если бы мне вообще не казалось странным и неуместным говорить о гарантиях. Гарантий вообще не может быть нигде – даже в Уганде. Чем мы «гарантированы», что Англия через десять лет не скажет нам «стоп», если, например, в Уганде будут найдены такие же золотые россыпи, как в Трансваале? Чем мы «гарантированы», что через пятнадцать лет другая держава не победит Англию и не отберет у нее Уганды, как отобрала Германия у Франции Эльзас. Все это вполне возможно, и все это снова напоминает и повторяет нам ту же заповедь: делайте сами свою историю, надейтесь на себя и не ждите никаких гарантий, ибо единственную гарантию нашего будущего можем дать себе только мы сами.

## II. Работа в Палестине

Я не буду здесь говорить о той организованной работе в Палестине, которой начало, мы надеемся, положит VII конгресс. Тогда в Палестине начнутся закупки земли, будут командироваться туда особые агенты, учредятся бюро, устроятся фабрики и т. д. Все это – дело VII конгресса, то есть, вернее, дело нашей подготовки к VII конгрессу. Если мы хотим, чтобы реальная работа началась, мы создадим большие массы избирателей, которые этого желают, и пошлем в Базель делегатов, которые это постановят.

Но теперь я хочу говорить не о работе конгресса, а о работе отдельных личностей. Вообще, я далеко не стою за то, чтобы право на участие в движении принадлежало только тем, которые пламенно и беззаветно преданы: напротив, всегда найдется дело и для «тепловатых». Но здесь я пишу для отборных из отборных, для тех, которые готовы на все страдания, на все опасности и жертвы. Нас укоряли долго за то, что наше движение будто еще не освящено ни одним мученичеством. Однажды в Берне, было собрание, в котором противники сионизма повторили этот укор и гордились перед нами количест-

вом своих страдальцев. Тогда поэт-сионист Бертольд Фейвел рассказал этим противникам повесть, полную без конца мук и лишений, героизма и самопожертвования, и наши противники слушали его, затаив дыхание, забывая шевельнуться. Это была история билуйцев. Надо повторить эту историю, и настала пора создать новое Билу<sup>13</sup>.

Не будь политического сионизма, не было бы ни смысла, ни нужды в новых билуйцах. Но для того, чтобы политический сионизм завоевал евреям Палестину, евреи должны полить ее своим потом. Так поступают все культурные народы, когда хотят укрепиться на данной территории: они наводняют ее своими работниками. То же сделаем теперь и мы, если отборные нашей молодежи не побоятся труда и лишений ради Палестины и возрождения. Что не побоятся, видно уже и сейчас: поход сам собою начался, из разных мест доходят слухи о группах молодежи, собирающихся или уехавших в Палестину. Это не туристы, а бедняки: они едут оживить нашу землю работой. Одни там устроятся, другие, промаявшись несколько лет, вернуться назад, – но за эти несколько лет они сделают свое дело, отбудут свою народную военную повинность.

Это – военная повинность. Много веков уже не было у еврейского народа собственных солдат, теперь им подошло время. Кто идет в солдаты в военное время, тот, если любит родину, не задает вопросов, будет ли ему в походе сытно и тепло. У нас тоже военное время, и пусть наши ратники будут готовы на тяжелый труд, и на голод и холод. Тем более, что найдутся такие, которым нечего терять; а надрываться под тяжестью и молоть зубами черствый хлеб все таки лучше в Палестине, чем где бы то ни было. Но я верю, что мы найдем не только таких, кому нечего терять. Пойдут и из уютных домов, ускользнут и от прибыльной карьеры, найдутся и девушки, и тоже не побоятся. Да и чего бояться? Разве сотни еврейской студенческой молодежи не голодают и не зябнут по разным чердакам университетской Европы? И разве телесный труд и чистый воздух поля не нужны нам, малокровным, тонконогим, узкогрудым? Многие вернуться назад бодрыми, сильными, здоровыми, какими никогда не бывали. И ничего, что вернуться назад: они принесут с собою любовь к Палестине и привьют ее другим, а сами, когда настанет день, снова появятся там, на местах своей юношеской работы; ибо невозможно, чтобы тот человек, который посеял зерна, не пришел ко дню жатвы. Пусть только будет у нас закон: три года молодости каждый из нас должен отдать на «военную службу» еврейскому народу в Палестине.

Что там делать – это выяснится не мною. Будут созданы справочные и организационные бюро, завяжется обильная и систематическая переписка с палестинским еврейством, которая принесет нашему делу двойную пользу. Чем больше внимания с нашей стороны увидит

---

<sup>13</sup> Билу – организация еврейской молодежи в России, аббревиатура из начальных букв слов библейского стиха «*Бет Яаков леху ве-нелха*» («Дом Иакова! Вставайте и пойдем!»), *Шмот*. 2:5), послужившего призывом к переселению в Эрец-Исраэль.

Билу возникла в 1882 года как реакция на погромы 1881 года на юге России.

тамошняя молодежь, чем яснее почувствует она единство между собою и нами, тем громче заговорит в ней и национальное, и человеческое самосознание, стремление к просвещению и самодеятельности. Мы же, благодаря этой переписке, незаметно и почти без труда накопим очень ценный статистический материал. Мы получим сведения о настроении тамошнего населения, об отношениях между отдельными его слоями, между евреями и неевреями, об умственном развитии, о грамотности; узнаем, на что они надеются, чего хотят, в чем нуждаются, довольны ли своими школами и чем в них, собственно, недовольны, как относятся к нашему движению, что читают; мы, наконец, приобретем там в разных пунктах знакомства, так что переселяющиеся туда будут знать, к кому на месте обращаться, и вообще будут являться туда уже с некоторым знанием страны и среды. Выяснятся все подробности, о которых я теперь мог бы говорить только в общих чертах. Надо ехать туда, а работа найдется; но это будет работа тяжелая и скупая, и надо быть готовыми на все.

Мне теперь ясно только то, что вся эта работа потечет по двум главным руслам, сообразно двум основным задачам. Первая из них – создать в Палестине местное национально активное поколение, самостоятельное, сплоченное и культурное. Это, собственно, важнее всего; но велика и другая задача – добиться, чтобы все, строящееся в Палестине для еврейских целей, строилось еврейскими руками. В Палестине грозит повториться обычная история: еврей вкладывает ум, а физический труд приносят другие, и понятие «еврей» сливается с понятием «эксплуататор». Надо идти отдавать самих себя под ярмо этой эксплуатации, чтобы еврейские виноградники и поля возделывались еврейским, а не арабским трудом. Если мы верим, что ядром нации является ее рабочий, мы не можем допустить, чтобы у еврейского народа в Палестине не было этого ядра. В XII книжке нашего журнала (1904 г.), в статье г-на Усышкина, вы найдете подробные сведения об этой стороне будущей работы – суровой и тяжелой работы за ничтожную плату. Но и такой работы хватит не больше, как на девять или десять месяцев в году. В августе и сентябре, когда полевых занятий нет, придется перебиваться как-нибудь иначе, и тут, несомненно, случится недоедать. Но за это время, кочуя в поисках заработка, вы ознакомитесь с краем, а это очень важно. Посмотрите, в чем одно из главных преимуществ японцев: они раньше изучили через своих эмиссаров решительно все – все мелочи топографии, состав населения, разные языки, обычаи и настроения того края, с которым теперь им пришлось иметь дело. Это важно не только для грубой физической войны: в культурном завоевании, которое предстоит нам, победа останется за тем, кто приобретет больше влияния в крае, а получить влияние – значит раньше до тонкости изучить все стороны характера страны и населения.

Но высшей и важнейшей из наших задач в Палестине будет первая: добиться, чтобы тамошнее наше население из невежественного, экономически зависимого, разрозненного и малосознательного – стало просвещенным, приобрело трудовую самостоятельность и объединилось прочным национальным самосознанием. Тогда оно среди малокультурных остальных групп местного населения получит первенство и силу.

Отсюда вытекает сущность основной нашей миссии в Палестине: учить. Мы должны заполнить и переполнить, за самую ничтожную плату, все города, деревни и закоулки Палестины, где только есть евреи, молодыми и толковыми учителями и учительницами. Надо фактически ввести у тамошних евреев всеобщее обязательное обучение, которое всегда было и будет главным условием национальной непобедимости. Кто только чувствует себя годным к учительству, девушки и юноши, пусть готовятся к этому виду нашей военной службы: надо овладеть хорошо еврейским языком, изучить фребелевские руководства, разработать нормальную программу начального школьного образования в национальном и общечеловеческом духе. Надо насытить и пресытить еврейскую Палестину школами: если невежественное гетто будет сначала чуждаться наших учителей, надо усилить предложение, чтобы вызвать наружу существующий, но искусственно подавленный спрос на школы; надо довести предложение учительского труда до такой степени, чтобы школа проникла во все поры населения, чтобы наконец действительно не стало школьников для новых школ. Надо идти напролом, очертя голову, как азиаты на приступ, как саранча на огонь: принести в жертву без всякой жалости первые ряды, чтобы через тысячи неудач все-таки дойти до нашей цели и дать Палестине через несколько лет сильное, культурное, сознательное, образцово сплоченное молодое еврейство, которое сыграет тогда для политического сионизма роль отборного передового отряда – уже внутри той самой крепости, которую мы задумали взять правильной планомерной осадой.

Идите в Палестину и не шумите об этом: не твердите об успехах, когда будут успехи, не кричите о планах. Но о самой стране, о ее покинутой и родной красоте говорите евреям горячо и много, чтобы они вспомнили. Если многим из вас после трех лет «военной службы» придется вернуться назад, пусть они заразят окружающих своей любовью, пусть рассказывают о Палестине умирающим старикам и малым детям в колыбели. Пусть не останется того еврея и того дня, когда бы этот еврей не слышал о Палестине и не думал о Палестине. Тогда вы получите громадные результаты. Вы увидите, как еврейские толстосумы поплывут в Палестину искать той наживы, за которой они до сих пор гнались по чужим землям. Пусть. Это нужно. Вы увидите, как наша ассимилированная молодежь, те агрономы и техники, что теперь, окончив курс, разбредаются для практического усовершенствования Бог знает куда, постучатся за практикой у ворот Палестины. Вы увидите, как туда нахлынут евреи-туристы, просто посмотреть, как Швейцарию, или провести лето, как на курортах Ривьеры, и даже свадебные путешествия буржуазных еврейских парочек изменят Венеции для Яффы. Пусть, это все нужно. Каждая песчинка золотой пыли, которую оставят на том берегу эти сытые люди, будет увеличивать оживление края, призывать новые рабочие руки, усиливать и укреплять ваше влияние. Так вы снова свяжете и сродните две разрубленные, вечно друг о друге тоскующие доли одного живого целого: дом Иакова, и землю Израиля.

«В дорогу, дом Иакова! И мы пошли».

*В. Акс*

### *ВЕНИАМИН КЛЕЦЕЛЬ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ*

Вернувшись на историческую родину, статистически средний еврей движется по наезженной колее: Бен-Гурион – матнас – ульпан. В аэропорту он (или она, неважно) получает свои первые израильские документы, в центре культуры, молодежи и спорта его ставят на соответствующий учет и дают направление на учебу, а в учебном центре его начинают знакомить с основами иврита. Там же он приучается отзываться на кличку *оле*, употребляемую обычно во множественном числе – *олим*. В свободное от учебы время *олим* группами и поодиночке знакомятся с новым ПМЖ и пытаются оглядеться-освоиться-обжиться, используя весь имеющийся в их распоряжении багаж знаний. Не тех знаний, которые они получили в среднем (или выше среднего) учебном заведении, а тех, что почерпнуты в нежном детстве, у бабушек-дедушек. Имеются в виду азы идиша (на уровне *гей авек* и *киш*... ну, скажем, свою тетю) или основы обычаев и обыкновений (ну, насчет варки козленка в молоке и рецептов приготовления рыбы *фиш*). Каждый прожитый в Израиле день только убеждает *олим* в том, сколь (увы!) скудны их еврейские знания и насколько неотложна задача их пополнения. Одни с этой целью записываются на образовательные курсы, другие колесят по стране в рамках однодневных автобусных экскурсий, оплаченных различными фондами и учреждениями, третьи... да что там считать, много их, способов вернуться к еврейским корням и истокам.

Рекомендую, причем убедительно рекомендую, еще один способ, который можно назвать следующим образом: «Как обрести утраченное было еврейство и при этом получить максимальное удовольствие». Включаем компьютер и заходим по адресу: <http://www.antho.net/museum/kletzel/>. И запоминаем фамилию художника: Вениамин Клецель. Художник еврейский в не меньшей степени, чем Марк Шагал. И при этом наш современник.

Клецель – художник загадочный. Одно лишь перечисление его загадок может занять весь номер журнала. Вот одна, которая вроде бы первой бросается в глаза. Эстетика ИЖа ограничивает публикации художественного раздела черно-белой графикой. Почему же рисунки Клецеля видятся столь же празднично красочными (или красочно праздничными), как и его картины? Картины, неповторимая палитра которых – предмет рассмотрения многих искусствоведов. Как он исхитряется достигнуть этого?

Одно умное слово – «полихромия» – тянет за собой другое, родственное ему, – «полифония». При взгляде на работы Клецеля слышатся все звуки Маханэ-Йеуда, главного рынка Иерусалима, симфония, равную которой трудно найти на свете. Вот вам и еще загадка. Мне могут возразить: это как раз и неудивительно:

мастерская художника находится в двух шагах от рынка. Да, известно, что Клецель – человек музыкальный, но как передать музыку на бумаге – не на бумаге, расчерченной в пять линеек и с помощью соответствующих нотных знаков, а на обычной, формата А4, линиями и штрихами?

Евреи Клецеля по большей части рисованы с натуры, а точнее, взяты из жизни – уточним, из нашей иерусалимской жизни. Так и кажется, что вот этого, несущего рыбину под мышкой, ты только что видел – как, впрочем, и этого, который тащит связанных за лапки двух кур (или курей? или куриц?). Клецель лаконичен, он не расписывает, не разрисовывает дальнейший процесс...

Лаконичны его портреты, столь же лаконичны и жанровые сцены (я бы назвал их, к ужасу искусствоведов, групповыми портретами). К примеру, эпизод на том же рынке накануне Йом-Кипур: богобоязненные соплеменники покупают птицу для ритуала *капарот*, чтобы потом, вращая над головой петуха или курицу, символически перенести на них бедствия, сужденные человеку за его грехи.

Глядя на героев Клецеля, ловишь себя на мысли, что привычных, что называется, с детства (благообразные бороды, округлые жесты, мягкие манеры – ну что я вам буду рассказывать про наших с вами родственников), так вот, таких ашкеназских евреев у художника немного. Вот один – за шабатным столом, закутанный в талит и читающий Книгу Книг. Чем-то похожий на моего прадеда, кстати сказать (есть у меня соответствующая семейная фотография).

Ведь еще что интересно: практически все герои Клецеля, формально выходя сепардами, несут на себе неизгладимый отпечаток ашкеназизма. Вот, к примеру, очередной рыбак, с устрашающего вида ножом, потрошащий рыбину по заказу покупательницы; здоровенный такой мужик, про которого, кажется, и сказана та классическая фраза из «Искателей счастья»: «Посмотрите на него! Разве это еврей? Это же махновец!» («махновец» в хорошем, что называется, смысле этого слова, то есть не мозгляк какой-нибудь). А заставьте этого рыбака снять резиновый фартук, пусть он наденет пиджак из приличного магазина (галстук, впрочем, и необязательно), вложите ему в руку вместо ножа кисть или хотя бы курительную трубку... И вот увидите, что получится.

Как это выходит у Клецеля? Это еще одна загадка художника. Потому, быть может, что рисует-то он людей, со всеми их недостатками и странностями, а перед его внутренним взором неизменно стоит образ еврея вообще, просто еврея? Рискну сказать: идеального еврея, на которого хотелось бы посмотреть хотя бы одним глазком. Ну так в чем же дело? Адрес (электронный) я вам назвал – включайте компьютер.

И помните: работы Клецеля – лучший путь возвращения к еврейству. А их эффективность много выше разных лекций по самоидентификации и самосознанию, читаемых сохнутковскими лекторами с сомнительной дикцией.

Вот почему значимость его творчества для всех нас много выше всех и всяческих госучреждений, которые только и делают вид, что борются за сохранение и продвижение еврейской традиции. А Клецель не тратит время и силы на борьбу – он рисует. И дай ему Бог!..

В наших с вами, между прочим, интересах.



BR-2000  
Mada'in



Belvedere  
B. Amador.



500168  
Franka





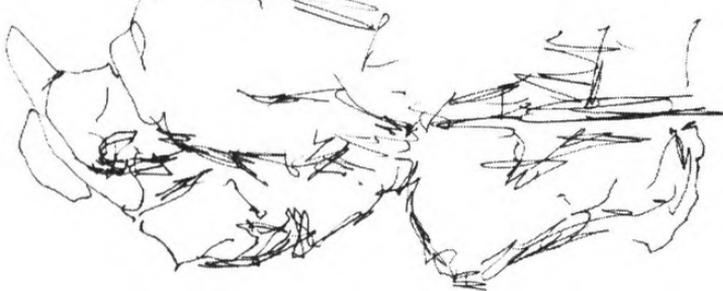
Blaney-05





37-2000







B. K. K.

27.10.05



### *ПРОЩАЙ, ПАША...*

#### БОЛЬШЕ НЕ ЗАЗВОНИТ ТЕЛЕФОН

Очень трудно писать о Павле, вернее, о Паше Хмаре: невозможно понять, что его больше нет, невозможно говорить о нем «был». Но писать о Паше и легко тоже, потому что человек он был необыкновенный.

Встретив Павла Хмару, когда мне было около шестидесяти и когда уже давно не очаровываешься людьми, я снова поверила книжкам, в которых говорилось, что люди бывают милосердными, бескорыстными, верными и абсолютно надежными.

...Когда-то, совсем молодой, я пришла в «Литературную газету» в «Клуб 12 стульев» и принесла юмористические рассказы болгарских писателей, которые тогда переводила. Редактор отдела Павел Хмара встретил меня доброжелательно, при мне посмотрел рассказы и пообещал кое-что из них напечатать. И, представьте, действительно напечатал, хотя я пришла, что называется, «с улицы»... С тех пор, встречаясь в редакциях или в ЦДЛ, мы здоровались, улыбались друг другу – и всё.

Лет через двадцать я уехала в Израиль и ни разу не вспомнила ни о «Литературке», ни о ее редакторе. Каково же было мое удивление, когда один из иерусалимских знакомых сказал, что видел мои стихи в «Клубе 12 стульев». Я отыскала газету – редактором отдела был все тот же Павел Хмара. И написала ему письмо – поблагодарила за публикацию и пообещала, что, если мы когда-нибудь пересечемся в Москве или в Иерусалиме, я обязательно подарю ему книжку, на что получила ответ, что пересечься можно только в Москве, потому что в Израиле он не бывает.

На мое вежливое «так приезжайте» Хмара ответил, что у него в Израиле много друзей и все говорят «приезжай», но при этом не сообщают своего адреса. Естественно, следующее письмо я начала с адреса, уже всерьез пригласила в гости и спустя несколько недель встречала своего корреспондента в аэропорту Бен-Гурион.

Через день-два мы уже испытывали такую приязнь, такую симпатию друг к другу, что стало понятно: отношения наши не кончатся с его отъездом, они – навсегда.

В Израиле Паша пробыл две недели, он был нарасхват, а поскольку друзья у нас с ним были общие, каждый день и каждый вечер мы с кем-то встречались, к кому-то ходили в гости. Когда же он уходил без меня, то, вернувшись поздно вечером, гордо, ожидая похвалы, говорил: «Предлагали остаться ночевать, но я отказался!» И я, конечно, его хвалила.

Он оказался на редкость тактичным, необременительным и приятным гостем, мгновенно подружился с моим мужем, и наши ужины втроем нередко кончались за полночь – говорили о литературе, читали друг другу стихи; он ведь был и прекрасным лирическим поэтом

(хотя больше был известен как остроумнейший пародист), и великолепным рассказчиком – мы умирали от смеха, когда он рассказывал о своей жизни в ту пору, когда был военным летчиком и его называли «лучшим поэтом среди летчиков и лучшим летчиком среди поэтов».

А потом были бесконечные письма, а когда появился скайп – чуть ли не ежедневные разговоры.

Он был щедр и писал стихи всем друзьям, их близким и даже моим внукам. И не было у меня дня рождения, не было Нового года, чтобы он не прислал стихотворного шуточного поздравления.

Последние два года были для Паши тяжелыми: больницы, операции, ухудшающееся зрение. И все-таки он писал стихи. Разные – и шуточные, и грустные, и трагические:

*Как мало, как мало, как мало  
Осталось: совсем ерунда!  
А раньше казалось, бывало,  
Что жизнь – на века, навсегда!*

*Казалось, что кайф этот вечен –  
Любовь и волнение в груди,  
И жизненный путь – бесконечен,  
И счастье – всегда впереди,*

*Что жизнь есть удача и сладость,  
Лишь руку вперед протяни!  
Кто ж знал, что навалится слабость  
И радость померкнет в тени...*

Трудно поверить, что я больше я не получу стихов от моего друга. Не зазвонит телефон, и я не услышу: «Привет, подружка! Как жисть?»

*Лорина Дымова*

## **МЫ ВСЁ ЖЕ СВИДЕЛИСЬ В СТРАНЕ ОБЕТОВАННОЙ...**

В конце девяностых годов Паша был в Израиле. Я взял на работе отпуск на один день, чтобы показать ему хоть что-то в стране, которую, конечно, за такой срок не объехать, хотя на глобусе ее можно разглядеть разве что с помощью лупы.

...Пообедав в Кирьят-Шмона, мы поехали привычным путем – вдоль границы. Постепенно мне стало ясно, что происходит нечто странное: асфальтовая дорога сменилась грунтовой. Не успел я осознать, в чем дело, как перед нами возникли танк и бронетранспортер, из которых посыпались на землю солдаты. Окружив машину, они потребовали у меня документы.

– Но как же так? Я много раз ездил в Рош-а-Никра этой дорогой! – недоумевал я.

– Сейчас проезда вдоль границы нет, – ответили мне. – Возвращайтесь, доедете до Рош-Пины и там свернете к морю.

В своих воспоминаниях о поездке в Израиль «Уступите, пожалуйста, дорогу леопарду!»<sup>1</sup>, Паша описывает наше путешествие на север страны так: «А от ливанской границы нас отвернули выскочившие из неожиданно появившихся на дороге танка и бронетранспортера израильские автоматчики, которые, впрочем, вполне дружелюбно объяснили нам, что сегодня на границе напряженка в связи с убийством экстремистами двух ливанцев из числа израильских союзников. Поэтому к морю нужно ехать не вдоль границы, а по дороге километрах в тридцати от нее. Маленькое боевое крещение. Рядовой инцидент в этих местах». Я же в двухтысячном году откликнулся на этот эпизод песенкой на мотив «На Дерибасовской открылася пивная»:

*Спасибо, Паша, за сердечные приветы,  
За то, что вспомнил обо мне в своей Москве ты.  
Твоё посланье через Дымову Лорину  
Я получил – и налоринился в дымину.*

*Мой друг! Тебя мне четверть века не хватает,  
И льдинка памяти в Израиле не тает.  
Я пашкинист, и я большой пашляк, конечно,  
Поскольку, Паша, отношусь к тебе я нежно.*

*Мы всё же свиделись в Стране обетованной  
И пили сок лозы, закусывая манной.  
А после, Паша, к обоюдному восторгу,  
Я покатал тебя по Ближнему Востоку.*

*Прорвались мы в Ливан на старенькой «Сузуки»,  
Но пограничники вели себя как суки,  
И если б танками не припугнули круто,  
Дошли бы мы с тобой до самого Бейрута.*

*...Твоим стихам внимало всё застолье наше.  
Они понравились и Оре, и Абраше,  
Андрею, Зине, Боре, Игорю, Лорине.  
Читал их вслух Камянов-Хмаровоз.*

...Павел Хмара был одним из самых красивых людей, внешне и внутренне, которых я встречал. Кто-то познакомил нас в кафе Дома литераторов, и он пригласил меня за свой столик. Паша был строен, подтянут и моложав; на нем была форма летчика с майорскими погонами. Оказалось, что он знал мои офонаризмы. Выпив за знакомство, мы стали обмениваться шутками, без чего, как оказалось, общение с ним не обходилось. Он шутил очень удачно и необидно и, как это часто бывает, «завел» и меня. Одну из тогдашних моих шуток он запомнил и впоследствии часто ее цитировал: «Плох тот хмайор, который не хочет стать генераскиным» (Александр Раскин был знаменитым советским юмористом). По-моему, шутка так себе, но ему почему-то понравилась...

**Борис Камянов**

<sup>1</sup> <http://www.proza.ru/2006/06/02-284>

**«ПЛЫЛ ПО НЕБУ САМОЛЕТ...»<sup>2</sup>**

Он был талантлив. Умен. Красив. Мужчина. Во всем и всегда. В молодости – военный летчик-истребитель, настоящий полковник, между прочим. Поэт. Всю жизнь. Тонкий, ироничный, с прекрасным чувством юмора, сформулировавший в одном из своих стихотворений: «Человек, который не смеется, может, и совсем не человек». Он был настоящим Другом, то есть мог не просто посочувствовать в беде, но и отвести эту самую беду, а для этого нужны были поступки, а не слова.

После него остались сотни стихов, собранных в так и не увидевшую свет книгу «На посошок», – веселых, лирических, грустных, гражданственных, персональных стихотворных посланий и, конечно, пародий и эпиграмм, которые и сделали его знаменитым поэтом. Может быть, именно в этих самых пародиях и эпиграммах больше, чем где либо, и отразились его доброта и умение дружить.

Никогда и никого он не пытался пригвоздить, размазать. Пародии были дружескими, добрыми. Не поэтому ли некоторые из пародируемых авторов вместо привычного суесловия предисловий и послесловий к своим книгам использовали его эпиграммы.

Много лет он был главным администратором еще того, легендарного клуба «ДС». Хмурого Хмару как огня боялись графоманы и просто непорядочные авторы, но как же он радовался и весь светился, когда находил новые таланты, звонил им, чтобы предупредить о публикации их опусов и, более того – сообщал, когда будут выдавать гонорар; по нынешним временам в это даже поверить трудно; многие авторы и сегодня считают себя «выкормышами» Хмары.

Когда-то он написал песню, которую знала вся страна, правда, мало кто знал ее автора. «Двести лет цыганка мне жизни нагадала». Обманула гадалка.

8 апреля 2011 года прекрасного Поэта и Человека Павла Феликсовича Хмары не стало.

Но самолету Павлы Хмары еще долго-долго плыть по небу по-луночи.

Светлая тебе память, Паша!

*Борис Крутиер*

---

<sup>2</sup> Из стихов Павла Хмары.

## *Тригорий Трестман*

### *В ОДИНОЧКУ*

Майя Каганская оставалась яростной девчонкой и после семидесяти. Когда она шла на свой индивидуальный костер (а это случилось ежечасно), не боялась наступать зрителям на больные мозоли. Она бытовала на духовном Эвересте и не позволяла никому из допущенных к ней небожителей «пасть ниже ее колен». Не всякий безумец мог выдержать градус общения, предлагаемый ею. Ее снайперские реплики нередко били собеседника по самолюбию, диалог с ней был подобен дуэли. На моей памяти не было смельчака, кто бы вышел победителем из подобного поединка.

Она не самоутверждалась, она жаждала большего: ей необходим был Идеал. Реальный человек, которому выпадала далеко не всегда завидная роль Идеала – сбегал от Майи: если не к подножью Олимпа, то в могилу. Ее искрометный талант, парадоксальное мышление и потустороннее зрение – на близком расстоянии – выдерживали разве что избранные.

Она – последняя из плеяды великих старух, таких, как Евгения Гинзбург, Надежда Мандельштам, Лилианна Лунгина...

Она до последнего вздоха тщетно искала, кому передать эстафету.

Люди тянулись к ней и тяготились ею. В конце жизни около Майи остались единицы. Когда Майя решила скончаться, я со всей болью осознал, что незаменимые люди существуют.

Ниша, оставленная Майей Каганской в современной культуре, – невосполнима.

\* \* \*

*«Живи я не на первом этаже,  
я из окна бы выбросилась»...*

Спичка

взлетала к сигарете по привычке...

*«Я собралась повеситься уже,  
да руки не дошли»...*

Как в решето,

она смотрела в зеркало без рамы,

словно читала руны амальгамы:

*«Мы живы между адом и “ничто”».*

И завтра, и сегодня, и вчера

она сводила в гибельную точку:

*«Я обживаю ужас в одиночку.*

*Не “почему”, не “как”...*

*Пришла пора»...*

*Михаил Копелович*

## *СМЕРТЬ МАЙИ КАГАНСКОЙ*

Умерла Майя Каганская, литературовед, культуролог, мыслитель. Мощный профессионал и – вольный стрелок. Всегда *вольный*. Презирующий всё *насильственное*. Обе выделенных дефиниции принадлежат Майе. «Вольные мысли» – так называлось её большое эссе, опубликованное в еженедельнике «Окна» в апреле 1996 года, ровно за пятнадцать лет до смерти. А слово «насильственный», наряду с другими: «волен», «собственный», «навязанный», – ключевое в её послесловии «Смерть поэта» к однотомнику Ильи Рубина, написанном ещё двумя десятилетиями ранее.

Эти слова появляются в очень характерном для М. Каганской и сегодня воспринимаемом как пророчество контексте: *«Человек не только волен жить собственной жизнью – он и умирать должен собственной смертью. "Собственной" не обязательно означает естественной. И естественная смерть, когда твоё же тело тебя подвело, выдало, предало, – насильственна. <...> Но даже насильственная смерть бывает "своей", сопричастной, родственной жизни, а бывает и чужой, навязанной».*

Две главные особенности дискурса, реализованного Каганской в её текстах независимо от того, к какому роду эссеистики они принадлежали, – *страстность и полемичность*.

В интервью, которое Майя дала А. Гольдштейну в 1994-м, она признавалась: *«Для меня полемика – из всех видов диалога – самый естественный. Это единственная ситуация, в которой я могу нечто сказать, быть услышанной и вызвать негативную реакцию – на такой тип реакции я сейчас больше всего рассчитываю».*

Случилось и мне негативно откликнуться на один текст Каганской – посвящённый проблемам алии-90 (и самой алии, и Израиля при его «соударении» с нею) – в ежеквартальнике «Страницы» Института Ван-Лир. Меня, принадлежащего к этой волне репатриации, обидели представления автора о физиономии «сборного» репатрианта-90, далёкие от действительности. В глазах Каганской образца 1992 года это – высоколобый культуроман, для которого «желательная норма – как раз аутсайдерство, неприкаянность, непричастность... Отщепенство – это честь, достоинство, избранность, которые ни в коем случае нельзя продать за чечевичную похлёбку причастности. Ибо причастность – это скука, однообразие, принуждение и нивелировка». В том же эссе Каганская изобрела такое «пугало», как *фанатизм культуры*. Вот, в самом сжатом виде, суть её концепции: *«Русские евреи, точно так же как в своё время выходцы из восточных общин, предлагают свой абсолют, свою высшую ценность, свою религию. Их религия называется культура. Израильтяне сталкиваются сегодня с совершенно неизвестным и непонятым им видом религиозного фанатизма – фанатизмом культуры».*

Короче говоря, в ту пору Каганская склонялась к выводу о преимущественно негативном влиянии выходцев из России на интеллектуальную жизнь, какой она сформировалась в Израиле за его короткую, но бурную историю.

И вот фраза, особенно меня уязвившая: *«Русские евреи хотят от Израиля не новой причастности, а старого отщепенства, тех привилегий, которые у них экспроприировала горбачёвская революция».*

Я запальчиво возразил публицистке в том смысле, что никаких таких отрицательных (не говоря уже о «положительных») привилегий я лично никогда не имел, – стало быть, и нечего было у меня экспроприировать. И тем более не помышлял я о продолжении в Израиле какого-то *старого отщепенства*. Напротив, я очень хотел найти себя и своё место в новой стране, алкал как раз новой причастности. Обрёл ли я её – это вопрос, разбираться в котором здесь не место.

К чести Каганской, в упоминавшемся интервью А. Гольдштейну она во многом пересмотрела свои взгляды двухгодичной давности. Цитирую: *«... Единственный тип человека, который по сей день мне близок и вызывает у меня любопытство, – это русские евреи. При этом мне совершенно безразлично, в каком году их сюда занесло. Это единственные люди, с которыми я могу говорить, чтобы быть услышанной, и которых мне самой интересно услышать. Более того, мои представления изменились коренным и печальным для меня образом: если ещё два-три года тому назад любой разговор о русскоязычной культуре в Израиле казался мне чудовищным, невозможным, и речь, на мой взгляд, должна была идти исключительно об интеграционных процессах, о пересечении и контактах с культурой израильской, то в нынешней ситуации я приветствую любое самоструктурирование русско-еврейской общины».* Думаю, дело не столько в изменении ситуации, сколько в том, что прежние страхи и предубеждения писательницы оказались неоправданными.

Торжественную тональность посвящённого И. Рубину эссе во многом определил факт трагической – притом ранней – смерти выдающегося поэта, он же «свой брат» – эссеист. Это реквием, но реквием, состоящий не из одних поминальных суперлативов, собственно, почти без них обходящийся. Согласно представлениям Пушкина, проза (в том числе, полагаю, и критическая) «требует мыслей и мыслей, без них блестящие выражения ни к чему не служат». Этому требованию целиком удовлетворяет «Смерть поэта» Майи Каганской.

Творчество Рубина, очень близкого ей и по проблематике, и по судьбе (оба – репатрианты одного «призыва») литератора, вдохновило Каганскую на глубокие общие размышления о жизни и смерти, свободе и насилии, миссии поэзии и степени её автономности от отражающихся в ней, хотим мы того или не хотим, жизненных реалий.

В немногих словах Каганской удалось сказать и о поэзии Рубина, его специфически еврейской любви к России, и о самой России, и об Израиле: *« Стихи Ильи Рубина могут быть по справедливости оценены лишь в контексте тёмной и запутанной стилистики русской жизни минувших 10-15 лет (то есть 60-70-х годов XX века. – М. К.), в памятной конкретности её хитросплетений, непрочных реставра-*

ций культурных традиций и яростной бесповоротности провалов; в незабвенном уюте интеллигентского отщепенства (вот здесь понятие отщепенства на месте! – М. К.), в поэтике ночных бдений с водкой, чаем и стихами, в скудости домашнего быта и роскоши домашних библиотек, папиросном шуришани "самиздата" и обмирании от поздних или неожиданных звонков в дверь – словом, во всём том, что, на первый взгляд, не имеет прямого отношения к ценности самих стихов и даже как бы и не "отражено" в них).

Превосходна эта поэтика ночных бдений! И установление взаимосвязи между той жизнью, где всего хватало: и скудости быта, и роскоши библиотек, и шуришания самиздата, и обмирания от неожиданных звонков в дверь, – и стихами, выросшими из этого «сора» окружающей действительности, который в них (стихах) даже как бы и не отражается. Подчёркнутые мною оговорки и обиняки исчерпывающе выражают особенности взаимодействия лирической поэзии с прозаической реальностью и демонстрируют диалектику отражения одной в другой при сохранении автономности поэзии.

И ещё одна цитата: «Читая стихи Ильи Рубина, невозможно представить себе, как он мог уехать из России, как мог расстаться с ней. Наверно, так любить Россию способен только русский еврей: русские по происхождению, а не по культуре, как-то спокойнее, благообразней, вальяжней в своём чувстве к ней. Они – мужья при нордовистой жене, а не отвергнутые влюблённые».

...Боюсь, никому не под силу одновременно принять столь противоположные высказывания Каганской в послесловии к книге стихов Генделева «Лёгкая музыка» (2004), как: «Поэзия Генделева есть поэзия теологическая» и «Он, на самом деле, находится по ту сторону веры и неверия...». Однако и в этом эссе есть блестящие мыслечувства и стиливые всплески. К примеру: «Еврейская смерть – полиглотка, сегодня она продирается сквозь горловую сушь арабской речи, вчера изъяснялась на сыром наречии Гёте и Гейне».

...О сравнительной ценности жизни как биологического существования («способа существования белковых тел»), в равной степени присущего людям и прочим земным тварям, и Жизни Человека, осознаваемой как священнодействие, как мистерия (а не только как местопребывание), Каганская писала по разным поводам и в разной тональности. Торжественно-проникновенно – в связи со смертью поэта Ильи Рубина (1977). Запальчиво-полюемически – в «Вольных мыслях» (1996). Объективно-аналитически – в булгаковских штудиях (2002)<sup>1</sup>.

Что главное для Каганской в этой проблематике? Что жизнь получает свою ценность только в свете (правильнее, конечно, сказать: в тени) неизбежности её завершения смертью. А во-вторых, эссеистку постоянно занимает – нет, беспокоит! – антиномия смерти естественной и насильственной, своей и чужой (чужой не в смысле: чьей-то, а навязанной самому индивиду).

В «Смерти поэта» своей названа смерть солдата в бою (хотя, понятно, она и не является естественной). Чужой – гибель любого частного

<sup>1</sup> «Операция на открытом сердце, или Анатомия мозга».

лица в концлагере или в газовой камере. Потому что первая – в порядке вещей, как он изначально установлен в мире людей (увы-увы!). А вторая, напоминая войну по массовости и нередко анонимности жертв, представляет собой, употребляя булгаковское словечко, *дьяволиаду*.

Развивая в том же эссе тему чужой, навязанной смерти, Каганская пишет: *«XX век одарил нас глубоким опытом не только навязанного образа жизни, но и навязанного образа смерти. И надо вот так расшибиться, разбиться, раскричаться об эту внезапную, разбойничью, неслыханную смерть, чтобы понять: покидая Россию и выбирая жизнь на еврейской земле, мы выбираем одновременно и еврейскую смерть, в каком бы облике она нас ни настигла – войной, взрывом, сгустившимся комком крови...»*

Для Каганской самое существенное, самое ценное в жизни то, что придаёт жизни единственно высокую цену, – возможность свободного выбора как образа жизни, так и образа смерти. И это правильно! Ещё и потому, что зачем-то же наделили нас свободой выбора, без которой мы не были бы тем, что мы есть, – людьми. Видимо, Тому, Кто нас сотворил такими, существа, обладающие свободой выбора, так же необходимы, как бесплотные ангелы, запрограммированные исключительно на добродетельность. (Вы таких встречали? Я – нет!) Атеистка Каганская всем своим человеческим и творческим содержанием отвечает этой Божественной надобе.

В эссе «Вольные мысли» выбор жизни и смерти на еврейской земле, тот выбор, которые сделали в 70-х Илья Рубин и она сама, выступает как исходная точка рассуждений о смысле этих понятий уже в бытийном и политическом контексте 90-х. *«Смерть размывает Израиль, как море – отмель»*, – с болью констатирует Каганская.

Она объявляет вредной утопией девиз «Человеческая жизнь – высшая ценность», исповедуемый множеством людей (часто бездумно, по инерции), просчётом, который глупей социального (социалистических утопий) и грубей экологического (утопий безостановочного прогресса). *«Никогда и нигде, – продолжает эссеистка, – не существовало такого человеческого сообщества – от первобытного племени до высокоразвитых наций, – где абсолютной, высшей ценностью почиталась бы жизнь»*.

Хочется вступить в спор. Но стоит продолжить знакомство с вольными мыслями человека, чьи мнения действительно независимы и вольны, как вольна луна в монологе Старика – отца Земфиры в пушкинских «Цыганах»: *«Кто место в небе ей укажет, / Примолвя: там остановись»*.

Каганская переходит к ещё более фундаментальному вопросу: *«что такое человеческая жизнь? С её точки зрения, «жизнь есть данность, но не ценность. Данности вполне хватает, чтобы цепляться за неё всеми конечностями в немом ужасе перед бездной уничтожения, которая подстерегает любое существование – человеческое, животное, растительное...»* И человек *«научается смотреть в лицо смерти»*, – факт, по Каганской, всемирно-исторической важности, скачок, скачок «из сонных сумерек животной одури», коему – а отнюдь не Божественной или эволюционной «трудотерапии» – обязан человек

своим происхождением. Жизнь человеческая, сама по себе лишённая ценности, приобретает её «в тени смерти». Аукцион, на котором определяется цена жизни, — это готовность человека пожертвовать жизнью. И люди действительно отдают свои жизни во имя любых целей и вследствие любых неурядиц. Разумно это или нет, но *«вся наша мораль, пусть всё с большим трудом, почти изнемогая, держится лишь на признании ценностей ценнее жизни»*. Каганская принимает подобное мироустройство, а иногда и находит резоны им восхититься (например, тем, что средневековые евреи отвергали вероотступничество в обмен на жизнь, руководствуясь принципом: *«Нельзя покупать жизнь ценою смысла жизни»*).

А вот евреи нынешние (израильтяне), убеждена Каганская, смысл жизни видят как раз в утверждении жизни без опоры на какой бы то ни было смысл. Тогда как — и тут она переходит на политический язык — палестинцы готовы отдать свои жизни — за что? *«...Стройные шеренги хамасовских самоубийц (в ту пору, когда писались "Вольные мысли", они в самом деле пёрли шеренгами! — М. К.), со взрывчаткой на животе, Кораном в кармане и ненавистью в сердце, единодушно гаркнули: "Прекрасное есть смерть!" Имеется в виду, понятно, наша смерть, но абсолютная ценность её столь велика, что не жалко отдать за неё и собственные жизни»*. Тут парадокс, но парадокс достаточно содержательный, чтобы не отвергать его с порога, а вступать с ним во взаимодействие, хоть бы даже и в режиме контрверзы.

Эссеистка вплотную приблизилась к цели своего дискурса. Она винит тех, кто видит высшую ценность в человеческой жизни, не больше и не меньше в том, что они всех нас хотят обречь на *«больничный режим выживания»*. Таким образом, вводится новое понятие, которое требует немедленного объяснения. По Каганской, выживание — *«больше всего похоже на жизнь, но не она»*. Про жизнь можно сказать много дурного и горького. *«Но про выживание не скажешь и этого. Про него вообще ничего нельзя сказать, оно — провал речи, трещина, заполненная подкорковым страхом»*.

В последнее время Израиль поражён, как злокачественной опухолью, идеологией мягкой уступчивости, благородного расшаркивания (всё равно перед кем), апелляцией к здравому смыслу тех, у кого он не отличается особым здравием. Вот что по этому поводу писала Каганская в «Вольных мыслях»:

*«О чём нас на всех местных наречиях — от арабского до динамитного — честно извещают со времени великой ирано-исламской революции? Услышано ли предупреждение? Какое там! Если у тебя есть уши, заткни их. Ведь мастера, подмастерья, подрядчики и строители "мирного процесса" — это высшее и лучшее достижение израильской интеллигенции, выкроенное по антикварным лекалам революционной утопии»*.

Сегодня эти сарказмы ещё уместней, чем пятнадцать лет назад. Ко всем титулам Майи Каганской, которые я перечислил в начале своих заметок, можно добавить ещё один: *«пророк»*.

Да будет ей пухом еврейская земля, которую она добровольно избрала в качестве места для жизни. И для смерти.

## ИМЕНА

---

**Марк АЗОВ (Айзенштадт)** родился в Харькове в 1925 году. В 1943-1945 гг. воевал на фронте, был командиром взвода Советской армии. Дошел до Берлина. Преподавал литературу в школе. Много лет жил в Москве. Писал миниатюры для театра Аркадия Райкина. Автор поэтических сборников, книг прозы, пьес и киносценариев. Репатриировался в 1994 году. Живет в Нацрат-Илите. В 2003 году вышла книга «И смех, и проза, и любовь», в 2009-м – «И обрушатся горы. Книга откровений и фантазмов». В «ИЖ» рассказы и эссе М. А. опубликованы в № № 8, 13, 30, 31, 32, 34.

**Александр БАРАШ** родился в 1960 году в Москве. По образованию филолог. В 1985-89 годах издавал (совместно с Н. Байтовым) альманах «Эпсилон-Салон», был участником клуба «Поэзия». Репатриировался в 1989 году. Автор книг стихотворений «Оптический фокус» (1992), «Панический полдень» (1996), «Средиземноморская нота» (2002), «Итинерарий» (2009), романа «Счастливое детство» (2006). Стихи А. Б. включены в антологии «Строфы века», «Самиздат», «Crossing Centuries» и др. Лауреат премии Тель-Авивского фонда литературы и искусства (2002). Живет в Иерусалиме. Работает на радио.

**Александр БАРАКИН** родился в 1954 году в Саранске. Окончил Мордовский госуниверситет им. Н. П. Огарева, работал инженером во Владимире, Ташкенте. В 1992-1997 гг. – завлит, затем директор Кинешемского драмтеатра им. А. Н. Островского. Автор книг стихотворений «Глотатель шпэг» (1988), «Городской пейзаж» (1989), «Тряпичная кукла» (1990). Художественную прозу публиковал в сборниках и альманахах. Автор научно-популярных и исторических книг – «Тайны археологии», «Тайны НЛО», «Тайны планеты Земля», «Розенкрейцеры – рыцари Розы и Креста», «Артефакты российской истории» (книга «Тевтоны и тевтонцы» пока не издана), а также полтора десятков книг, обучающих работе на компьютере, часть из которых вышла под псевдонимами (наиболее известный – А. Шапошников). Живет в Кинешме. В «ИЖ» № 31 опубликованы воспоминания А. В. о З. Тумановой и А. Файнберге.

**Амирам ГРИГОРОВ** родился в 1969 году в Баку. Окончил Азербайджанский госуниверситет, 2-й Московский мединститут, аспирантуру Медицинского университета им. Сеченова, где и преподаёт биофизику и математику. Учился в Литинституте им. Горького (на семинаре поэзии) и в Академии «Торат Хаим». Автор сборника стихов «Звезда ЧелоВега» (2009). С 1993 года живет в Москве.

**Лорина ДЫМОВА** родилась в Свердловске, жила в Москве. Репатриировалась в 1992 году. Автор нескольких книг стихов и прозы. За переводы болгарской поэзии награждена орденом Кирилла и Мефодия. Лауреат премии «Золотой теленок» (2000), премии Союза русскоязычных писателей Израиля (2006) и поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2009). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы рассказы Л. Д. (№№ 2, 34); переводы из А. Гилеля и Н. Зархи (№ 7), заметки о Л. Черкасском (№ 18), подборки стихов «Золотое наважденье» (№ 12), «Няня на поляне» (№ 20-21), «Тот самый мотив» (№ 27), «Притаившаяся память» (№ 30).

**Владимир (Зезв) ЖАБОТИНСКИЙ** (1880, Одесса – 1940, Нью-Йорк). Поэт, прозаик, драматург, переводчик и публицист, основатель ревизионистского течения в сионизме. В 1898-1901 гг. корреспондент одесских газет в Бёрне и в Риме. Перевёл на русский «Сказание о погроме» Х.-Н. Бялика (1904). В 1911 году основал издательство «Тургеман», выпускавшее на иврите произведения мировой литературы. В 1917-1918 гг. служил в созданном по его инициативе Еврейском легионе в составе британской армии. Один из редакторов русскоязычного журнала «Рассвет», редактор выходившей на иврите газеты «Давар а-йом». Автор романов «Самсон Назарей» (1926) и «Пятеро» (1936). Перевел на иврит произведения Данте, Гёте, Ростана, Э. По. В 1964 году, согласно завещанию В. Ж., его останки перезахоронены на горе Герцля в Иерусалиме. Именем Жаботинского названа одна из центральных улиц столицы. В «ИЖ» (№ 34, 36) впервые после газетных публикаций 1902-1904 гг. опубликованы его избранные сочинения тех лет.

**Алексей ЗАЙЦЕВ** родился в 1958-м году в Улан-Удэ. Учился в Московском театральном-художественном училище, в музыкально-педагогическом, в Литинституте им. Горького. Теологию изучал в институте St. Serge в Париже, кулинарию – в Дижонской кулинарной школе, в Chevigny-Saint-Sauveur. До «перестройки» работал пастухом, учителем, художником, лесорубом и взрывником; с середины 80-х – журналистом, редактором. С 1991-го живёт во Франции, последние семь лет – в Rueil-Malmaison, где продолжает заниматься французской кулинарией и русской поэзией.

**Майя КАГАНСКАЯ** (1938, Киев – 2011, Иерусалим). Литературный критик, эссеист, журналист, один из интеллектуальных лидеров русскоязычной алии 70-х. Окончила филфак Киевского университета (1962). До Шестидневной войны 1967 года работала в газете «Комсомольское знамя». Репатрировалась в 1976 году. Публиковалась в журналах «Сион», «Время и мы», «22», еженедельнике «Окна», в парижском «Синтаксисе» и др. Эссе М. К. также публиковались в ивритских изданиях. Автор книг «Мастер Гамбс и Маргарита» (1984, в соавторстве с Зезвом Бар-Селлой), «Вчерашнее завтра: Книга о русской и не русской фантастике» (2004, в соавторстве с З. Бар-Селлой и Иланой Гомель), «Сумерки богов» (2004, на иврите). Автор послесловий к переводам на иврит произведений М. Булгакова и В. Набокова. Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. премии имени Розы Эттингер (1982).

**Борис КАМЯНОВ (Барух Авни)** родился в Москве в 1945 году. Репатрировался в 1976 году. Автор поэтических книг и юмористических сборников; в его переводе (в соавторстве с Н.-З. Рапопортом) вышла в свет «Песнь песней» с комментариями. Стихи и переводы включены в антологии «Строфы века» и «Строфы века – 2». Лауреат нескольких литературных премий. Основатель и руководитель объединения израильских русскоязычных писателей «Столица». Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы стихи Б. К. и его переводы из У. Ц. Гринберга (№№ 12, 13, 24-25, 32), а также воспоминания «"Знамя строителя" и его знаменосцы» (№ 16).

**Феликс КАНДЕЛЬ** родился в 1932 году в Москве. По образованию – авиаконструктор. В 1963–73 гг. под псевдонимом **Феликс Камов** публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Крокодил», в «Литературной газете». В 1965–67 гг. – редактор сатирического киножурнала «Фитиль». Писал сценарии документальных и мультипликационных фильмов (один из авторов сериала «Ну, погоди!»). Публиковал рассказы и эссе в журналах еврейского самиздата «Евреи в СССР» и «Тарбут» (редактор в 1975–77 гг.), выпустил в самиздате сборник эссе «Я от вас отключаюсь» (1977). Репатриировался в 1977 году. Автор многих книг прозы и шеститомной истории российского еврейства «Книга времен и событий». Лауреат трех израильских литературных премий. Произведения переведены на иврит, французский и немецкий. Живет в Иерусалиме. Главы из романов **Ф. К.** опубликованы в «ИЖ» в №№ 7 и 26.

**Юлий КИМ** родился в 1936 году в Москве. Автор более пятисот песен, десятков пьес, сценариев и книг. Лауреат российской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2000). В 1998 году переехал в Израиль. Живет в Иерусалиме, а в последнее время – и в Москве. В «ИЖ» опубликованы заметки **Ю. К.** о Венечке Ерофееве (№ 7), подборки стихов и песен «Из иерусалимской тетради» (№ 1), «Я всё время шёл к тебе» (№ 6), «Любовь на все лады» (№ 11), «Тема любви» (№14-15), «Читающие Тору» (№ 31), эссе о Михаиле Щербачеве и повесть «Однажды Михайлов с Ковалем» (№ 17), зонги из рок-оперы «Время складывать камни» (№ 24-25), «Рассказы из Иерусалимской тетради» (№ 28), повесть «Путешествие к маяку» (№ 3). Книга с одноименным названием, куда вошли стихи, проза и пьесы, издана в 2000 году в «Библиотеке ИЖ».

**Вениамин КЛЕЦЕЛЬ** родился в 1932 году в Первомайске (Одесская область). После службы в Советской армии окончил Ташкентское Художественное училище и художественное отделение Ташкентского театрального института им. А. Островского (1967). Жил и работал в Куйбышеве. Репатриировался в 1990 году. Картины находятся в музеях и частных коллекциях многих стран мира. Живёт в Иерусалиме. В 1975 году выпустил альбом избранных работ. Рисунки художника публиковались в «ИЖ» (№№ 1, 11, 30). Книги **В. К.** и Зинаиды Палвановой «Иерусалимские картинки» (1, 2) вышли в «Библиотеке ИЖ» в 2000 и 2004 годах.

**Даниэль КЛУГЕР** родился в 1951 году в Симферополе). По образованию физик. Репатриировался в 1994 году. Поэтические переводы **Д. К.** из Франсуа Вийона вошли в антологию «Строфы века». Автор многих книг, выходящих в российских и израильских издательствах («Жесткое солнце», «Молчаливый гость», «Мушкетер», «Разбойничья ночь» и др.). Записал пять CD своих баллад и песен. Живет в Реховоте.

**Михаил КОПЕЛИОВИЧ** родился в 1937 году в Харькове. По образованию инженер. Репатриировался в 1990 году. Автор книг о современной русской литературе и об израильской литературе на русском языке «В погоне за бегущим днем» (2002), «Литература и кино» (2006), «Рецензия – любовь моя» (2006). Живет в Маале-Адумим.

В «ИЖ» опубликованы рецензии М. К. на книги Бориса Голлера (№ 6), С. Шенбрунн (№ 7), Э. Шехтмана (№ 13), Г. Беззубова (№ 23), Ф. Лясса (№ 26), Е. Аксельрод, И. Рувинской (№ 30), П. Полонского (№ 32); эссе «Три оды Богу» (№ 29).

**Борис КРУТИЕР** родился в 1940 году в Одессе. Окончил Хабаровский мединститут. Работал кардиологом и иглотерапевтом. Автор нескольких сборников афоризмов, составитель антологии «Парадоксальные мысли отечественных афористов» (2009). Живет в Москве. В «ИЖ» опубликованы подборки Б. К. «Новые крутые афоризмы» (№ 24-25), «Правда всегда побеждает...» (№ 27), «Тем больше выбор выражений» (№ 33), «Когда идеи овладевают массами» (№ 36).

**Леонид ЛЕВИНЗОН** родился в 1958 году в Новоград-Волынске. Окончил мединститут в Ленинграде. Репатриировался в 1991 году. Автор книги прозы «Ленинград–Иерусалим» (1997). Лауреат «Русской премии» (2011). Живет в Иерусалиме. Работает в медицинском центре «Адасса». В «ИЖ» опубликованы рассказы Л. Л. «Полет» и «Одуванчик» (№ 1), эссе «И вот я увидел» (№ 11); подборки рассказов «Штука сложная и неправильная» (№ 14-15), «Наш выход» (№ 24-25), «Путешествия и приключения» (№ 29), повесть «Проект» (№ 6), заметки о Г. Кановиче (№ 30) и В. Александрове (№ 31).

**Ирина РУВИНСКАЯ** родилась в Кирсанове (Тамбовская обл.). Окончила факультет романо-германской филологии Воронежского Госуниверситета. Работала библиотекарем, переводчиком, журналистом. Репатриировалась в 1996 году. Автор книг стихов и переводов «Коммуналка» (1995) и «Пока» (1996). Стихи вошли в «Антологию современной русской поэзии Украины» (1998). Лауреат конкурса на лучшие переводы эстонской поэзии (1984) и Фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2007). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы подборки «Из Иерусалимской тетради» (№ 16), «Наперечёт» (№ 20-21), «Другое слово» (№ 23), «Между войной и войной» (№ 26), «И никакая не любовь» (№ 31). В 2009 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов И. Р. «Наперечёт».

**Григорий ТРЕСТМАН** родился в 1947 году в Минске, окончил Белорусский Политехнический институт, редакторский курс Московского полиграфического института, работал в издательстве «Высшая школа». Репатриировался в 1990 году. Автор книг «Перешедший реку» (1996), «Голем, или Проклятие Фауста» (2007), «Большая история маленькой страны» (2008, 2011). Живет в Иерусалиме.

**Марк ХАРИТОНОВ** родился в 1937 году в Житомире. Окончил МГПИ. Работал учителем, ответсекретарем в многотиражке, редактором в издательстве. Переводил с немецкого (Г. Гессе, С. Цвейг, Э. Канетти, Ф. Кафка и др.). Дебютировал как прозаик повестью «День в феврале» в журнале «Новый мир» (1976, предисловие Д. Самойлова). Автор нескольких книг прозы. Лауреат Букеровской премии («Линия Судьбы, или Сундучок Милашевича», 1992). Живет в Москве. В «ИЖ» опубликована проза М. Х. «Проект «Одиночество»» (№ 12), подборки стихов «Тому, кто услышит» (№ 17), «Дверь, открытая в вечность» (№ 24-25).

**Павел ХМАРА (Хмара-Миронов; 1929, Струнино Ивановской области – 2011, Москва).** В своей автобиографии Павел Феликсович писал: «27 лет в армии (училище, летчик-истребитель, академия им. Жуковского, военный инженер) и 27 лет – в журналистике (полтора года в "Крокодиле", 25 с половиной – в "Клубе 12 стульев" "Литературной газеты", в которой стал публиковаться с № 1 1963 года). Первые 19 лет ушли на детство (рождение, детский сад, войну), отрочество и юность. После ухода из "Литгазеты" на относительно свободную в 2003 году – на относительно свободных хлебах. Вот и вся жизнь».

В «ИЖ» опубликована его подборка стихов «Если мы только не все обалдели» (№ 8), заметки о книгах Л. Дымовой (№№ 6, 14-15).

**София ШЕГЕЛЬ (Шегельман)** родилась на Украине, выросла в Литве. Окончила Вильнюсский университет. Переводит с литовского и славянских языков. Работала в издательствах «Вышэйшая школа» (Белоруссия) и «Минтис» (Литва). Репатрировалась в 1989 году. Живет в Ашдоде.

В «ИЖ» опубликованы рассказы С. Ш. (№№ 17, 28, 33), эссе «Знает и помнит» (№ 24-25), а также переводы рассказов Ицхокаса Мераса (№№ 14-15, 18, 20-21, 26).

**Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ** родился в 1954 году в Подмоскowie, жил в Саратове. Репатрировался в 1993 году. Женат, отец двоих детей. Публикуется в литературной периодике. Работает инженером-электронщиком. Живет в Ришон ле-Ционе.

В «ИЖ» опубликована подборка его стихов «Ключ от города» (№ 24-25), «Одиноко стоящее дерево» (№ 31).

**Михаил ЩЕРБАКОВ** родился в 1963 году в Обнинске (Калужская область). Окончил филфак МГУ им. Ломоносова. Автор книг «Филалковый букет» (1988); «Ковчег неутомимый» (1988); «После Ковчега» (1992); «Вишневое варенье» (1990), «Нет и не было яда» (1992), «Другая жизнь» (1997), «Тринадцать дисков» (2007). Песни в авторском исполнении записаны на диски «Вишневое варенье», «Балаган 2», «Город Город», «Другая жизнь», «Это должно случиться», «Заклинание», «Воздвиг я памятник», «Целое лето», «Ложный шаг», «Шансон», «Ковчег неутомимый» (1, 2), «Избранное» (1, 2), «Deja», «Опсе», «Российские барды. Михаил Щербаков», «Если», «Пешком с востока», «Предположим», «Райцентр», «Чужая музыка и не только». Живет в Москве.

В «ИЖ» опубликованы подборки текстов песен М. Щ. «Инициалы» (№ 1), «Не подводя черты» (№ 13), «Если» (№ 17), «Райцентр» (№ 20-21).

מחלקת הספרים  
 תאריך: 20.11.2014  
 9883

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

ИРИНА РУВИНСКАЯ. Состраданья неместная скрипка. <i>Стихи</i> .....	3
ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ. Может, оно и так... <i>Главы из романа</i> ...	7
АЛЕКСАНДР БАРАШ. Три стихотворения .....	75
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН. Сказочник. <i>Главы из романа</i> .....	77

### ЯФФСКИЕ ВОРОТА

РАФАЭЛЬ ШУСТЕРОВИЧ. Тем временем. <i>Стихи</i> .....	125
СОФИЯ ШЕГЕЛЬ. Прошлое не отпускает. <i>Рассказы</i> .....	132

### ПАРК САКЕР

ЮЛИЙ КИМ. Сказочные песенки .....	142
МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ. Тогда и там. <i>Тексты песен</i> .....	148
ДАНИЭЛЬ КЛУГЕР. Вернется ли ветер? <i>Еврейские баллады</i> .....	152

### УЛИЦА ГАЛИЛЕИ

МАРК АЗОВ. Фира и Фриц. <i>Рассказ</i> .....	156
--	-----

### РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

АЛЕКСАНДР ВАРАКИН. Поэма Леса .....	165
АМИРАМ ГРИГОРОВ. Южная моя родина. <i>Рассказы</i> ....	193
МАРК ХАРИТОНОВ. Из верлибров 2009 года .....	214

### ФРАНЦУЗСКАЯ ПЛОЩАДЬ

АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВ. Физика вагантов. <i>Стихи</i> .....	216
---	-----

### УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО 36

ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ. Сионизм и Палестина <i>Из сочинений 1904 года</i> .....	221
---	-----

### УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

В. АКС. Вениамин Клецель как важнейшее государственное учреждение .....	257
ВЕНИАМИН КЛЕЦЕЛЬ. Рисунки .....	259

### ХОЛМ ПАМЯТИ

ЛОРИНА ДЫМОВА. Больше не зазвонит телефон... ....	269
БОРИС КАМЯНОВ. Мы всё же свиделись в Стране обетованной... ..	270
БОРИС КРУТИЕР. «Плыл по небу самолёт...» .....	272
ГРИГОРИЙ ТРЕСТМАН. В одиночку .....	273
МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ. Смерть Майи Каганской .....	274

### ИМЕНА

Авторы и персонажи .....	279
--------------------------	-----

**Erratum:** Автор опубликованной в 35-ом номере «Иерусалимского журнала» статьи «Экспертиза» Д. Сухарев приносит свои извинения редакции «ИЖ» и лично А. Пурину за непроверенное цитирование его статьи из «Нового мира» (№ 6, 1996). Редакция «ИЖ» ниже просит прощения у своих читателей и у поэта Алексея Пурин за то, что в нашей публикации ему были приписаны не принадлежащие ему высказывания, что вызвало естественное возмущение поэта.

Подписку на журнал можно оформить,  
прислав обычной (не заказной) почтой свои координаты  
и чек на имя

***Jerusalem Anthologia***

по адресу:

***Jerusalem Literary Review,***

***P. O. Box 32297, Jerusalem 91322***

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 160 шекелей, включая пересылку

В других странах – \$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

В Израиле – 45 шекелей, включая пересылку.

В других странах – \$18 США, включая пересылку

(Справки по тел. 972-72-2822551; E-mail: olvic1@012.net.il )

**«Иерусалимская Антология» благодарит**

Татьяну Аزاز-Лившиц (Мевасерет-Цион), Андрея Анпилова (Москва), Михаэля Бар-Шалева (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Андрея Грицмана (Нью-Йорк), Андрея Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Феликса Дектора (Москва), Александра Дова (Петях-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петях-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Леонида Кациса (Москва), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петях-Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зезва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Москва), Ирину Хвостову (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петях-Тиква), Ехизля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Шуламит Шалит (Тель-Авив) Наума Шаца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)

за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования  
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим  
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

## ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2011 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;

Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);

Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;

Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,  
«Авангардист на крышу вышел»;

Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,

«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»;  
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);

Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме»; Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка»;

Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;

Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,  
«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;

Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»;

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;

Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;

Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),

«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;

Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;

Эли БАР-ЯЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;

Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»;

Илан РИСС «У разбитого горячего камня»; Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»;

Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;

Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;

НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин»; Лена ШТЕРН «Спустя три года»

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)

*Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведенко), Юлии КИМА,  
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

### ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

новые книги Владимира ДРУКА, Григория КАНОВИЧА, Феликса КРИВИНА,  
Виктора ЛОЗИНСКОГО, Ицхокаса МЕРАСА, Евгения МИНИНА

**JERUSALEM ANTHOLOGIA – [www.antho.net/index.html](http://www.antho.net/index.html)**

***Музей современных израильских художников***

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

## CONTENTS

### LION GATE

IRINA RUVINSKAYA. Compassion of an alien violin. *Poems*

FELIX KANDEL. Maybe, it is so... *Chapters from the novel*

ALEXANDER BARASH. Three poems

LEONID LEVINSOHN. Tale-teller. *Chapters from the novel*

### JAFFA GATE

RAPHAEL SHUSTEROVICH. Meanwhile. *Poems*

SOPHIA SHEGEL. My past does not let me go. *Short stories*

### SAKER GARDEN

YULI KIM. Fairy songs

MICHAEL SHCHERBAKOV. Then and there. *Lyrics*

DANIEL KLUGER. Is the wind returning on its course? *Jewish ballads*

### GALILEE STREET

MARC AZOV. Fira and Fritz. *Short story*

### RUSSIAN COMPOUND

ALEXANDER VARAKIN. The Poem of the Forest

AMIRAM GRIGOROV. My southern Motherland. *Short stories*

MARC KHARITONOV. Vers libres of 2009

### FRENCH SQUARE

ALEXEY ZAYTSEV. Physics of the Goliards. *Poems*

### ZHABOTINSKY STREET

VLADIMIR (ZEEV) ZHABOTINSKY. Zionism and Palestine.

*Works of 1904*

### BETZALEL STREET

V. AKS. Benjamin Kletzel as an extremely significant public service

BENJAMIN KLETZEL. Drawings

### MEMORY HILL

LORINA DYMOVA. No phone rings any more

BORIS KAMYANOV. Nonetheless, we've met in the Promised Land...

BORIS KRUTIER. "An airplane was floating in the sky..."

GREGORY TRESTMAN. Alone

MICHAEL KOPELIOVICH. The death of Maya Kaganskaya

### NAMES

Authors and Characters

**JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 37, 2011**

*MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN*

Internet versions: [antho.net/jr/](http://antho.net/jr/) & [magazines.russ.ru/ier/](http://magazines.russ.ru/ier/)

Israel Union of Writers in Russian

**Jerusalem Anthologia** Association

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: [jerusalemreview@gmail.com](mailto:jerusalemreview@gmail.com)

Phone: 972-2-9960302, 972-54-4745322, 972-2-6451288

© 2011 Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

## **תוכן העניינים:**

### **שער אריות**

אירינה רובינסקאיה. כינור לא מקומי של רחמים – שירים  
פליקס קנדל. אולי זה כך – פרקים מרומן  
אלכסנדר ברש. שלושה שירים  
לאוניד לוינזון. מספר האגדות – פרקים מרומן

### **שער יפו**

רפאל שוסטרוביץ'. בזמן ההוא – שירים  
סופיה שגל. העבר אינו עוזב – סיפורים

### **גן סאקר**

יולי קים. שירים ממחזמר  
מיכאיל שירבקוב. אז ושם – סיפורים שירונים  
דניאל קלוגר. התשוב הרוח? – בלדות יהודיות

### **רחוב הגליל**

מרק אזוב. פירה ופריץ – סיפור

### **מגרש הרוסים**

אלכסנדר וורקין. פואמת היער  
עמירם גריגורוב. מולדתי הדרומית – סיפורים  
מרק חריטונוב. משירים של שנת 2009

### **כיכר צרפת**

פיסיקה של ווגאנטים – שירים

### **רחוב ז'בוטינסקי**

וולדימיר (זאב) ז'בוטינסקי. ציונות ופלשתינה – מכתבי שנת 1904

### **רחוב בצלאל**

וו. אקס. בנימין קלצל כמוסד לאומי חשוב ביותר  
בנימין קלצל. ציורים

### **הר הזיכרון**

לורינה דימובה. הטלפון לא יצלצל עוד  
בוריס קמיאנוב. ובכול זאת התראינו בארץ המובטחת...  
בוריס קרוטיאר. "שט מטוס בשמיים..."  
גריגורי טרסטמן. בבידוד  
מיכאיל קופליוביץ'. מותה של מאיה קגנסקאיה

### **שמות**

דמויות ויוצרים

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל  
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי),

הלנה איגנטובה, אלכס טארן, רומן טימנצ'יק, יולי קים,  
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון

מזכיר – יבגני מינין

ציירת – סוסנה צירנוברובה

עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק

עריכה והגהה – בינה סמחובה, לובה ליבזון

תמיכה לוגיסטית וטכנית – אולגה אקסיוטינה, דניאל בורשטיין, בוריס ברושטיין,  
אינה וויניארסקי, ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, סבטלנה מויבר, אילן ריס

הדפסה: דמוס "צור-אות"

בתמיכת



קונגרס יהודי רוסי



קרן רוסקי מיר



משרד התרבות והספורט  
מנהל התרבות, המחלקה לספרות



מועצת הפיס  
לתרבות ולאמנות



עריית ירושלים



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2011 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת.ד. 32297, ירושלים 91322  
טל. 02-9960827, 0544-745322, 02-9960302, 02-5361947

E-mail: [jerusalemreview@gmail.com](mailto:jerusalemreview@gmail.com)

